This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG
3470
Z34
K5
1906

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Изданіе Вятскаго Товарищества
„НАРОДНАЯ БИБЛІОТЕКА“.

П. В. Засодимскій-Вологдинъ.

Хроника села Смурина.

Изъ жизни русскаго крестьянина.

№ 55.

Цѣна 35 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Паровая Типо-Литографія, Н. Л. Пыркина. 7 рота, д. № 13.
1906.

Хроника села Смурина.

(Изъ жизни русскаго крестьянина).

Книга первая.

I.

Кулакъ.

Смурино—большое село. Въ немъ, по послѣдней ревизіи, значилось около 300 душъ съ чѣмъ-то, а теперь всѣхъ жителей насчитается, пожалуй, до 700 человѣкъ. Двѣсти смуринскихъ дворовъ расположено по обоимъ берегамъ рѣки Вожицы, черезъ которую въ самомъ селеньи перекинутъ мостъ, утвержденный на огромныхъ сѣрыхъ камняхъ и устланный сверху соломой и прутьями. Лѣвый берегъ, густо застроенный, покрытъ почернѣлыми, низкими, на бокъ скривившимися избами съ соломенными кровами. На противоположномъ берегу красуется рядъ новыхъ, высокихъ, двухэтажныхъ домовъ съ тесовыми, красными кровлями,—и межъ ними, словно ненарокомъ, замѣшались лишь три или четыре грязныя хатки съ дырявыми, корзиночными трубами. Эта часть села называется Закручье. Около сотни маленькихъ закоптѣлыхъ кузницъ лѣпится по лѣвому обрывистому берегу Вожицы. На одномъ концѣ селенья шумитъ водяная мельница. Въ Смуринѣ есть волостное правленіе, два кабака, лавка, въ полуверстѣ—церковь, между селомъ и церковью—хлѣбный магазинъ, а еще далѣе, у лѣсной опушки—погостъ. На лѣвомъ берегу поля и луга переходятъ въ топкія болота, поросшія мелкимъ вересомъ и олешнякомъ; на правомъ же почва холмиста, и горизонтъ замыкается сосновымъ темнымъ боромъ.

Была весна 1871 года. Тихій и ясный майскій вечеръ догоралъ надъ Смуринымъ, надъ его тесовыми и соломенными стрехами, надъ его озимыми полями, отливавшими изумрудомъ, надъ его лугами, лѣсами и болотами.

Красноватые солнечные лучи ударяли и въ свѣтлыя окна одного большого, двухэтажнаго дома въ Закручьи.

Тамъ, въ просторной комнатѣ, оклеенной дешевыми сѣренькими обоями и уставленной на половину красными, деревянными стульями и на половину скамьями, сидѣлъ въ переднемъ углу, за простымъ, бѣлымъ столомъ, высокій, тучный мужикъ—лѣтъ подъ 50—и пилъ чай, усердно подувая въ блюдце. Его сѣрые, позаплывшіе глазки уставились на громадный, пузатый самоваръ, гдѣ въ расплывшемся и приплюснутомъ видѣ рисовалась ему его собственная физіономія. Хотя толстякъ былъ въ одной пестрой, ситцевой рубахѣ, да въ потертыхъ плисовыхъ штанахъ, запущенныхъ въ сапоги, но, все-таки, потъ крупными каплями проступалъ на его широкомъ, лоснящемся лицѣ. Невозмутимое спокойствіе и довольство отражалось въ ту пору на этой жирной, красной рожѣ, изъ которой, казалось, при малѣйшемъ давленіи, сало такъ и готово было брызнуть. На лавкѣ, у окна, женщина пряла шерсть и сильно напоминала собой сказочную Бабу-Ягу. Она сидѣла, наклонивъ голову, и сердито исподлобья оглядывалась по сторонамъ. Въ глазахъ ея свѣтилось недовольство; сухія, тонкія губы крѣпко сжимались; сѣдыя брови понахмурились; по лбу складки прошли... И все ея осунувшееся, желтое лицо дышало злостью, какъ у истой Яги-Бабы. Веретено въ ея костлявой рукѣ, жужжа, быстро опускалось почти вплоть до пола и вновь, быстро подскакивая, поднималось вверхъ; шерстяная нить тянулась и тянулась безъ конца. Поодаль, въ углу, куда не падалъ солнеч-

ный лучъ, пригорюнившись, помѣстилась молодая дѣвушка. Ея черные волосы и смуглое лицо казались еще чернѣе и смуглѣе отъ свѣтлаго платья, красиво сидѣвшаго на ней и прикрытаго спереди чернымъ фартучкомъ. Ея большіе, темно-каріе глаза были заплаканы и смотрѣли грустно. Дѣвушка сидѣла, тяжело дыша, и то закрывала рукой свое горѣвшее лицо, то принималась съ силой дергать кончикъ носового платка, зажатаго въ другой рукѣ. На полу, середи комнаты, валялся на брюхѣ мальчуганъ лѣтъ 5-ти и, засучивъ рубашенку чуть не по плеча, съ великимъ наслажденіемъ сосалъ обломокъ сухого кренделя. Его пухлое личико было все въ грязи, а въ свѣтлыхъ, льняныхъ волосенкахъ набилось много всякаго сору. Толстый, жирный, черный котъ, растянувшись, лежалъ на стулѣ.

Весеннее солнышко мягкимъ, кроткимъ свѣтомъ озаряло всю эту живую картину. Матовымъ блескомъ отливалъ его яркій лучъ, скользя по серебрянымъ окладамъ образовъ, и свѣтлымъ пятномъ падалъ на запыленное и подернутое паутиной стекло старыхъ стѣнныхъ часовъ, покоившихся въ длинномъ футлярѣ. Пробѣгая же по суздальскимъ картинамъ, украшавшимъ стѣны, солнечный лучъ переливался, положительно всѣми цвѣтами радуги...

Григорій Ивановичъ Прокудовъ—благополучный хозяинъ этихъ тесовыхъ хоромовъ—слылъ на Смуринѣ за богача. У него, говорятъ, было тысячъ до 15 капиталу. Отъ отца въ наслѣдство ему досталась едва лишь треть этой суммы. Большею же частью своихъ богатствъ онъ былъ обязанъ самому себѣ—своей совѣсти, не сознававшей неудобства упрековъ. Онъ, казалось, и жилъ лишь для того, чтобъ наживаться. И нужно правду сказать: въ дѣлѣ наживы онъ до того набилъ руку, что копейка у него родила рубль. Прокудовъ не зарылъ въ землю своего таланта, сумѣлъ ловко всѣмъ воспользоваться—и отцовскими деньжками, и добрыми и злыми чувствами, и добродѣтелью и порокомъ, людскою глупостью и нуждою. И вотъ, онъ набилъ себѣ мошну туго, выстроилъ новый домъ, завелъ при домѣ молочную лавку и складъ желѣза. Лавочная торговля давала рубли на рубли; желѣзо, розданное смуринскимъ кузнецамъ, [illegible] не менѣе [illegible] скуки, [illegible] смуринцами, и [illegible] [illegible] [illegible]

манеромъ бралъ копеечку сдачи. Убогому и странному изъ окна его дома всегда подавали, „ради Христа“, ломтикъ хлѣба или грошъ. Въ храмовой праздникъ—въ Ильинъ день—Прокудовъ угощалъ духовенство и гостей на славу. Духовенство, сельскія и городскія власти крѣпко пожимали ему руку и водили съ нимъ хлѣбъ-соль, а міряне ломали передъ нимъ шапки.

Сегодня — суббота, канунъ Николина дня. Сегодня Прокудовъ много пораспродалъ желѣза, выгодно накупилъ гвоздей и шпилей, свелъ лавочные счеты и въ итогѣ прихода вышла очень почтенная цифра. На одномъ обвѣсѣ и обмѣрѣ рубликовъ 12 слишкомъ перепало... Вотъ отчего въ этотъ тихій майскій вечеръ Прокудовъ сидитъ въ своей свѣтелкѣ, спокойный и довольный, и съ чувствомъ попиваетъ чаекъ.

— Ухъ, важно... Не хошь-ли? Цей!—обратился онъ къ женѣ, опрокидывая чашку и проводя рукой по лбу, по бородѣ и распуская поясъ.

— Поштуй лучше питерячку-то!—рѣзко промолвила та и едва не оборвала тонкой шерстяной нити.

— Ну! Ты хошь?—спросилъ онъ дѣвушку.

— Благодарствуйте!—послышался изъ угла глухой, дрожащій голосъ.

— Чего „благодарствуйте“! Ты губы-то не дуй, добро... слышь?—огрызнулся Григорій Ивановичъ.—Нечего глаза-то тереть! Поругали только... Вѣдь тебя, тоись, пальцемъ не тронули...

— То-то вотъ и худо!—перебила пряха, не отрываясь отъ работы.—Поругать-то мало... Всѣ вы баловники, потатчики!

Пряха метнула на дѣвушку такой сердитый взглядъ, что, словно, хотѣла имъ сжечь ее.

— Притянуть бы ее къ столу-то за косы,—благо вишь длинны,—да арапникомъ... Вотъ тѣ и охвицеры! Всю бы дурь вышибло... Ой, да я бы!...—закончила пряха, стискивая зубы и со злостью стуча по скамьѣ веретеномъ.

Дѣвушка уже не плакала; глаза ея были сухи, губы сжались, румянецъ спадалъ съ лица. Вся поза ея выражала отчаяніе и испугъ...

Исторія Евгешиной жизни не долга. Восьми лѣтъ она осталась сиротой безъ отца—безъ матери и жила у Прокудова, приходившагося ей дядей по отцу. Три года тому назадъ, когда Евгеніи едва минуло 17 лѣтъ, Прокудовы послали ее въ Питеръ изъ боязни, какъ говорили на деревнѣ, чтобы красивая дѣвка не отбивала жениховъ у ихъ рябой и золотушной Груни. Въ Питерѣ нашлись знакомые, пообѣщались поставить Евгенію „на мѣсто“. И вотъ, въ одно холодное и сырое октябрьское утро, съ узелкомъ подъ мышкой, Евгенія ушла „на машину“, а на другой день вечеромъ укатила въ Питеръ. Но недавно въ семьѣ Прокудовыхъ произошла убыль: Григорія Ивановича сподобилъ Богъ выдать свою Груню за смуринскаго богача, Антона Кудряшева, и въ домѣ, такимъ образомъ, не стало работницы. А изъ Питера той порой стали, будто бы, доходить до Прокудовыхъ дурныя вѣсти объ Евгешѣ. По слухамъ выходило, что дѣвка живетъ не „на мѣстѣ“, а въ любовницахъ у какого-то офицера и ходитъ въ бархатѣ и въ шелку. Правду-ли, ложь-ли говорили слухи; жила-ли Евгенія въ любовницахъ, или нѣтъ, до того Прокудовымъ не было дѣла. Имъ нужна была работница и, слѣдовательно, Евгешу надо было заручить восвояси. Дядя уже дважды отписывалъ ей, чтобы она побывала домой; но дѣвушка не слушалась, ссылаясь на хорошее мѣсто, на то, что ее господа „любятъ и жалуютъ“, что барыня ее грамотѣ научила и проч. Дядя отписалъ построже, но Евгенія выслала ему при письмѣ лишь 3 рубля денегъ, а о себѣ ни гугу. Наконецъ Прокудовъ, по наущенію своей Матрены Дмитріевны, рѣшился прибѣгнуть къ крутымъ мѣрамъ, попросивъ въ волостномъ правленіи не высылать дѣвкѣ паспорта, а паспортныя деньги призадержать и вручить ему. Евгенія вынуждена была возвратиться въ деревню и явилась туда наканунѣ того дня, какъ начинается нашъ разсказъ. Хотя Евгеша ни шелковъ, ни бархатовъ, ни денегъ изъ Питера съ собой не принесла, кромѣ книжки да нѣсколькихъ платьевъ; хотя ничего предосудительнаго замѣчено въ ней не было, но Матрена Дмитріевна, все-таки, предлагала маленько проучить дѣвку для того, по ея словамъ, чтобы той „легше было опосля питерскихъ порядковъ за работу стать“. Но Прокудовъ, вообще не долюбливавшій въ своемъ домѣ ни шуму, ни гаму и никакихъ скандаловъ, на проучку не согласился.

II.

Кошка и мышка.

Въ ту минуту, какъ пряха вымѣщала свою злобу на веретенѣ, дверь отворилась, и въ комнату съ поклономъ вступ-

пилъ мужикъ въ истрепаномъ азямѣ и безъ шапки.

— Чай да сахаръ!—проговорилъ онъ, неуклюже пожимая руку, лѣниво протянутую ему хозяиномъ, и косясь исподлобья на бабъ.

— Садись!—сказалъ хозяинъ, указывая гостю на лавку у противоположнаго конца стола.—Что скажешь?

— Да что...—протянулъ тотъ, усаживаясь и запахиваясь азямомъ.

— Чаю не хошь ли?—предложилъ хозяинъ.

— Благодарю покорно! Отчего же... Можно.

Гость ухмыльнулся и осмотрѣлся по сторонамъ. На видъ онъ былъ невзраченъ. Сухіе, сполщенные, свѣтлорусые волосы и немного потемнѣе всклокоченная борода оттѣняли его худощавое, загорѣлое лицо; сѣрые глаза его выглядѣли робко, недовѣрчиво, а голова сидѣла на плечахъ съ такимъ жалкимъ видомъ, словно бы обладатель ея ежеминутно ожидалъ получить затрещину. Изъ-подъ изодраннаго коричневаго азяма видѣнъ былъ воротъ грязной рубахи; грубые, холстинные штаны висѣли снизу клочьями и далеко не доходили до босыхъ, до крови наколотыхъ, ногъ.

— Къ намъ, Евгешинька, пожаловали? Знать, соскучились въ Питерѣ-то?—промолвилъ гость, посмотрѣвъ искоса на дѣвушку.

Та прошептала что-то въ отвѣтъ, а на губахъ пряхи мелькнула кривая усмѣшечка. Хозяинъ, межъ тѣмъ, нацѣдилъ изъ самовара въ чайникъ воды, ополоснулъ и воду съ чаинками вылилъ въ чашку, затѣмъ чашку придвинулъ къ гостю и положилъ передъ нимъ кусочекъ сахару. Все это дѣлалось съ самымъ добродѣтельнымъ видомъ и съ чувствомъ полнѣйшаго самодовольства, словно Прокудовъ, дѣйствительно, оказывалъ гостю великое благодѣяніе и ласку, нацѣживая ему теплой водицы.

— Пей!—угощалъ хозяинъ.

— Благодарю покорно! — отозвался гость, придвигаясь къ столу.—А я, Григорій Иванычъ, къ твоей милости... насчетъ сѣмянъ-то... Ужъ, удружи!

— Это овса-то? Гм! Овса-то у меня у самого развѣ только на посѣвъ хватитъ...—со вздохомъ проговорилъ хозяинъ.—Лонись овсецомъ-то, самъ знаешь, Богъ пообидилъ...

— Такъ-то такъ,—согласился гость нехотя, видно предчувствуя, что кулаку пришла охота поломаться.—Да вѣдь мнѣ, Григорій Иванычъ, немного и надо. Не о возахъ рѣчь...

— Исшо бы о возахъ!—вставилъ хозяинъ.

— Самую малость не хватило,—продолжалъ гость, какъ бы не дослышавъ словъ хозяина.—Осминку дашь—и ладно! Выручи, заставь Бога молить!..

— Экой вы—народецъ чудной! Выручи! Легко сказать!—завздыхалъ хозяинъ.—Радъ бы я радостью весь міръ выручить, да выручка-то во-о!—И Прокудовъ выразительно постукалъ себя по затылку кулакомъ.—Выручать-то нонече не того, не съ руки. Выручи вашего брата, а вы же потомъ на насъ жалитесь... Вонъ братецъ-то твой единоутробный что поговариваетъ, слыхалъ, поди? Живодеры мы и такіе-сякіе, и въ аду-то про насъ, почитай, мѣстовъ не хватитъ! Гм! Народъ-то нонече сталъ неблагодаренъ; потому избаловался, Бога забылъ, отцовъ не почитаетъ...

— А я, Григорій Иванычъ... Вотъ-тѣ Христосъ, хошь съ мѣста не встать...—заговорилъ гость, какъ-то вдругъ неестественно оживляясь:—опричъ добраго слова, николи о тебѣ не скажу, потому не за что! Да безъ тебя мы всѣ пропадомъ пропадемъ, какъ червь! Потому у тебя и совѣтъ, и разумъ... и помочь ежели... все!

— Я, Василій, оченно хорошо это чувствую!—снисходительно замѣтилъ Григорій Ивановичъ.—Коли бы всѣ ваши деревенскіе такъ-то вотъ, какъ ты, ну тогда извѣстное дѣло... А теперича что? Хоть бы братецъ твой, примѣромъ сказать! Какъ ужъ онъ ни коститъ меня на всѣхъ перекресткахъ! Срамота! А мнѣ-то развѣ это не обидно? Ты какъ своимъ умомъ-то смекашь? Тоже, вонъ, племянникъ родной... Выкормилъ, выпоилъ, отъ моей земли и таперь кормится, въ моей хаткѣ живетъ, а глядитъ на меня волкомъ, ровно съѣсть хочетъ. А братецъ твой любезный! Ну! Ужъ точно, что воронъ, воронье горлышко! Закаркаетъ, такъ святыхъ вонъ неси... Кассу теперича заводить началъ. Ну, и заводи, коли охота! А для чего этакъ-то говорить, что будто эфтой самой кассой богачамъ крылья обломать можно? Дѣло онъ говоритъ это, а?

— А-ахъ, Григорій Иванычъ, ей Богу, право!—промычалъ гость, покачивая головой и строя кислую гримасу.—Ты мнѣ вотъ все братомъ тычешь, а я ей-Богу ничего, какъ есть... потому наше дѣло—сторона.

— Ну и что жъ, и заводи!—продолжалъ кулакъ.—А до насъ ему все-таки

не дохватить стать,—такъ полагать надо. Свою-то шкуру лучше бы поберегалъ: исшо того гляди самому крылья сперво-на-перво оборвутъ. Вотъ что!

Съ минуту помолчали.

— Вотъ опять выборы,—началъ хозяинъ.—Прямое дѣло—посадить Семена Васильева! Мужикъ зажиточный, грамотѣ ученъ, и въ городѣ знакомство есть, съ мировымъ и со всякимъ поговоритъ. Одно слово—человѣкъ! А твой братъ ужъ вѣрно противъ него... Аггушка нашъ тоже... Хошь и не говоритъ, а по глазамъ вижу! А ужъ другого такого волостного намъ не найти, хошь весь околотокъ выверни!

— А ты, Василій, какъ насчетъ эфтого?—наливая гостю еще чашку ополосковъ, спросилъ, немного погодя, хозяинъ, какъ бы мимоходомъ, но глазки его пристально глянули на азямъ.

— Это что? Насчетъ выборовъ-то?—нерѣшительно протянулъ гость.—Да какъ тебѣ... противъ міра, знамо, не пойдешь.

— Да ужъ твой братецъ мути-не мути, а міръ хочетъ Семена Васильева,—вотъ тѣ и весь сказъ!—настойчиво замѣтилъ Прокудовъ.—Онъ, можетъ, и тебя подбилъ? Что жъ, не малой робенокъ, самъ смыслишь!

— Нѣту, Григорій Иванычъ! Это ужъ ты напрасно!—отнѣкивался гость.—Потому—изба моя съ краю, ничего не знаю. Да мы что? Въ насъ-то, гляди, не больно и нуждаются!

— Жука-то ты мнѣ не подпущай! Прибаутки-то про себя похрани, про случай... съ бабамъ ихъ разводи!—строго заговорилъ хозяинъ, хмуря свои рыжія брови.—Вѣдь и ты пень промежъ колодъ.

Опять помолчали.

— Ну, такъ какъ?—спросилъ Прокудовъ.—Вѣдь за языкъ тебя не тянутъ, а такъ къ слову пришлось... Говори, за кого хошь...

— Да, надо быть, за Семена Васильева... Мужикъ-то точно, что...—согласился Василій.

— Двоишь, братъ! Вижу, что двоишь...—позѣвывая и съ легкимъ вздохомъ перебилъ хозяинъ.—Богу, али чорту? Одному кому ни на есть... Обѣмъ за разъ не угодишь...

Прокудовъ ехидно усмѣхнулся и отворотился къ окну.

— Провалиться то-есть—во-о!—И гость закрестился и заискалъ глазами образа.

— Гм!—промычалъ кулакъ, съ самодовольствомъ поглаживая бородку, и свысока посмотрѣлъ на приниженную фигуру мужика.

— Такъ овсеца-то, Григорій Иванычъ, можно заполучить?—полутономъ ниже заговорилъ тотъ, допивъ послѣднюю чашку, опрокидывая ее на блюдце вверхъ дномъ и кладя на нее огрызочекъ сахару.

— Кассу-то нѣшто и взаболь завтра открываютъ?—спросилъ хозяинъ, видимо отдаваясь потоку увлекавшихъ его думъ.

— Завтра послѣ обѣдни... Хотятъ молебенъ пѣть.

— Гм! А братъ что? Хорохорится, небось?

— Въ правленье его хотятъ поставить, а барышня попечительницей у нихъ будетъ.

Григорій Ивановичъ промолчалъ; толстые пальцы его забили по столу какой-то непутевый маршъ.

— Овсеца-то, Григорій Иванычъ...—началъ опять Василій.

— Да ну тебя! Осмина-то набѣжитъ, можетъ! — проворчалъ кулакъ. — Только слышь: уговоръ лучше денегъ. Къ Покрову—съ четверикомъ, да день косьбы.

— Помилуй! Четверичокъ-то уволь!—взмолился крестьянинъ.

— А-ахъ, Василій, Василій! Уважить тебя хочу, отъ себя отрываю. Чувствуй! Да чего тутъ! Хошь бери, хошь нѣтъ! У самого послѣднія зерна на исходѣ.

Василій сосредоточенно почесалъ въ затылкѣ.

— Ну, такъ вотъ и пропишемъ!—замѣтилъ Прокудовъ, стаскивая съ полки изъ-подъ божницы свою толстую записную книгу въ красномъ переплетѣ и кладя ее передъ собой на столъ.

Затѣмъ онъ раскрылъ ее и, мусляя пальцы, принялся осторожно ее перелистывать, при чемъ оказалось, что книга была достаточно уже закапана чернилами и испещрена цифрами и разными непонятными знаками собственнаго произведенія Григорія Ивановича. Отыскавъ чистую страницу, Прокудовъ опять полѣзъ на полочку за чернильницей и за перомъ.

— Коего ляда тутъ прописывать-то? И на словѣ бы можно...—замѣтилъ Василій, по безграмотству недолюбливавшій письменныхъ документовъ.

— Люблю я, братецъ, все по формѣ что-бы...—возразилъ кулакъ и, свѣсивъ немного на бокъ голову, пыхтя и краснѣя, принялся немилосердно скрипѣть по бумагѣ гусинымъ перомъ.

Онъ то отклонялся отъ бумаги, то чуть не клевалъ въ нее носомъ, морщился и щурилъ то одинъ, то другой глазъ. Не безъ усилій, съ охами и вздохами, усло-

віе, наконецъ, было дописано, и внизу его Василій по безграмотству поставилъ 3 креста, при чемъ брызнулъ чернилами себѣ въ лицо. Должникъ и не предчувствовалъ, что по письменному условію онъ обязанъ косить два дня, а не день, какъ было выговорено на словахъ...

— Таперича отмѣришь, что-ль? Мѣшки-то я прихватилъ...—спросилъ Василій.

— Правду-то сказать, поусталъ я...— со вздохомъ промолвилъ кулакъ, обтирая перо и бережно укладывая на полочку свои письменныя принадлежности.—День-то, вѣдь, сегодня, знаешь, такой... Гвоздь принималъ да желѣзо отпущалъ вашимъ. Пудовъ до 100 перемѣряли, тоже не легкое дѣло! Года-то не молодые, — вотъ спину-то и ломитъ. Охо-хо, грѣхи, грѣхи! Да ужъ пойдемъ. Работниковъ-то, вишь, разослалъ. Все за получкой. Собирать-то съ васъ тошнехонько! Не глядѣлъ бы!

Григорій Ивановичъ, кряхтя, поднялся со стула, потянулся, почесался, сходилъ куда-то за ключемъ и, въ сопровожденіи Василья, отправился въ амбаръ, стоявшій въ нѣсколькихъ шагахъ за домомъ. Амбаръ былъ важный, большой, съ тесовой кровлей, съ огромными вѣсами и съ обломкомъ чугунной доски подъ „галдареей". Василій, не входя въ амбаръ, черезъ дверь замѣтилъ, что въ сусѣкахъ много ржи и овса, и всякаго жита. Когда хозяинъ насыпалъ послѣднюю мѣрку, мѣрка оказалась неполною на четверть.

— Добавь исшо совочикъ!—попросилъ мужикъ.

— Довольно!—строго отрѣзалъ Григорій Ивановичъ, со стукомъ захлопывая за собой дверь.

И щелкнулъ большой, заржавѣлый ключъ и дважды тяжело повернулся въ замкѣ. „О, Господи! Хлѣба-то, хлѣба-то экое мѣсто!" подумалъ Василій и тихо привздохнулъ.

III.

Братаны.

Пока Василій Кряжевъ съ Григоріемъ Ивановичемъ занимался деревенскими дѣлами, пока онъ умасливалъ кулака, а кулакъ ломался, пока писали условіе и мѣряли овесъ, послѣдній солнечный лучъ запалъ за темные лѣса, румяная вечерняя заря уже догорала надъ Смуринымъ, и въ синей вышинѣ мерцали звѣзды. Коровъ давно уже пригнали, мальчишки уѣхали въ ночное, и деревенская улица пустѣла, когда Василій, согнувшись подъ тяжестью мѣшка, тащился домой. Дворовъ за пять до края деревни, онъ свернулъ въ сторону, подошелъ къ избушкѣ и опустилъ мѣшокъ на земь у завалины. Изба, какъ и самъ хозяинъ, была неприглядна на видъ. Отъ старости она ужъ покривилась и однимъ бокомъ ушла въ землю. Потемнѣлая соломенная кровля слѣзла на сторону, понахлобучилась. Жерди подпирали крылечный навѣсъ. Два подслѣповатыя оконца, будто щурясь, невесело глядѣли на улицу. По всему было видно, что избушка давно уже стояла на бѣломъ свѣтѣ, много видовъ видала, и не одно поколѣніе жалко ютилось подъ ея дырявой стрехой въ зимнія мятелицы и стужи, въ лѣтній зной и въ непогоду.

— Принесъ? Ну, тащи... чего на показъ-то выложилъ!—раздался рѣзкій бабій голосъ, и лохматая голова, повязанная пестрой тряпицей, высунулась изъ окошка.

Василій обошелъ крылечко, втащилъ мѣшокъ на взъѣздъ, и, приперши ворота, согнувшись, вошелъ въ избу. Внутри изба была такъ же неказиста, какъ съ улицы, хотя ради праздника она только что была вымыта, что можно было ощущать по гнилому запаху и сырости. Тѣ же черныя стѣны, тотъ же щелеватый полъ, закоптѣлая печь, темный образъ въ переднемъ углу, и повсюду тараканы. Какъ единственное украшеніе, висѣла на стѣнѣ картинка, напачканная красками, съ изображеніемъ медвѣдя и козы и съ подписью:

„Медведь съ казою забавлялись и другъ
на друга удивлялись;
Увидя медведь Казу въ сарафанѣ, а Козынька мише моргнула глазами
И съ этого разу они подружились, музыкѣ
и пляскѣ вмѣстѣ научились".

Той порой, какъ мужъ разболокался, Агафья поставила на столъ крупянку и вынула изъ поставца солонку, ложки, ножъ и хлѣба горбуху, завернутую въ грязное полотенце.

— Чего запропалъ-то?—обратилась она къ Василью.

— Часмъ угощалъ!—отвѣчалъ тотъ, присосѣживаясь къ чашкѣ.

— На-кось, кантуетъ исшо!—замѣтила жена, покрестилась и сѣла за ужинъ.

Кромѣ двухъ большихъ рукъ, къ чашкѣ протягивалась еще маленькая, худенькая рученка, изъ-за стола еще виднѣлось маленькое, грязное личико, позавѣшенное прядями свѣтлыхъ, льняныхъ волосиковъ. Это маленькое существо поминутно фыркало и утирало рукавомъ носъ. Это Анютка, единственная Васильева дочь.

Были у нея еще два братца и сестрица, да давнымъ-давно лежали они на погостѣ. Сама Агафья была бабенка худая, мозглявая, на деревнѣ ее звали „дохлой". Ея сухіе, темные волосы всегда выбивались изъ-подъ платка, носъ былъ всегда въ сажѣ, а глаза бойко и съ недовольствомъ смотрѣли на божій свѣтъ. Синяя пестрядиная юбка да драная рубаха прикрывали ея кости и кожу.

Старая бабушка, мать Васильева, кряхтѣла и ворочалась на печи, все что-то ворча себѣ подъ носъ: она только что поругалась съ Агафьей и отказалась отъ ужина.

Когда хозяйка убирала со стола, а Анютка уже залѣзала на палати, на улицѣ послышались звуки гармоники и чей-то могучій, сильный голосъ громко напѣвалъ:

«На Пречистенкѣ, направо,
Есть большой прекрасный домъ;
Тамъ живетъ народу много»...

— Ишь горло-то!—съ недовольствомъ проворчала Агафья.

Звуки все приближались къ Васильевой хаткѣ и вдругъ чья-то фигура мелькнула за окномъ и затѣнила его. Василій отодвинулъ раму и выглянулъ: у окна, прислонившись къ стѣнѣ, стоялъ мужикъ, съ гармоникой подъ мышкой, и, снявъ шапку, расчесывалъ пятерней свои темные, густые и мокрые волосы. По одежѣ видно было, что человѣкъ этотъ не нищенствовалъ, жилъ безъ нужды: на немъ были сѣрый кафтанъ, бѣлая ситцевая рубаха, синіе пестрядиные штаны и сапоги съ красными сафьянными отворотами. Онъ казался лѣтъ 40,—немного моложе Василья,—средняго роста, широкоплечій, мускулистый и съ чрезвычайно смуглымъ лицомъ. „Воронъ, какъ воронъ!"—говорили про него на деревнѣ. „Ни въ отца, ни въ мать!"—толковали родные. Черты лица у него были крупныя, неправильныя, топорныя: довольно большой носъ, толстыя губы. Но хорошъ былъ смѣлый и открытый взглядъ его большихъ, темнокарихъ глазъ, и вообще лицо его было выразительно и не лишено нѣкоторой грубой, своеобычной красоты, могущей ярко блеснуть при случаѣ.

— Ты что?—спросилъ его Василій.

— Да ничего!—Отъ Лисина изъ бани иду... А ты вечоръ мѣшокъ-то отъ Гришки тащилъ?—спросилъ тотъ въ свою очередь.

— Отъ него!—отвѣтствовалъ Василій.

— Та-а-акъ! — Съ походцемъ отвѣсилъ?—опять спросилъ, съ усмѣшкой, стоявшій подъ окномъ.

— Съ походцемъ!—передразнилъ Василій.—Не досыпалъ нешо малость... Четверикъ, да день косьбы за осмину-то!

Тихій смѣхъ послышался за окномъ. Василью при этомъ ровно неловко стало, онъ заворочался.

— Сусла, Митрей, не хошь-ли?—продолжалъ онъ.—Пиво-то нонече удалось...

— Нѣтъ, братъ! Не сусло я къ тебѣ пить пришелъ, а по дѣлу завернулъ!

— Коего тамъ нешо лѣшаго надавало!—проворчала за перегородкой Агафья.

— Скажи ты мнѣ хошь теперь-то толкомъ: запишешься въ кассу-то, или нѣтъ?—спросилъ Дмитрій.

— Нѣшто таперича записываться?—почесываясь, замѣтилъ Василій.

— Завтра... Завтра сборъ... 40 человѣкъ ужъ записалось! Тебя-то бы мнѣ охота...

— Кабы нешо бѣды какой не нажить съ этой кассой!—молвила Агафья, вытирая мочалкой посуду и показываясь изъ-за перегородки.—Что только, ей-Богу, право, народъ не выдумаетъ! Кассу, вишь... Еще мало поборовъ-то сходитъ...

— Ну, сватья! Это ужъ ты пустое блекочешь!—отозвался голосъ съ улицы.—Касса-то сама помогать будетъ, а не токмо что зорить... Коли крестьянину занадобятся деньги, онъ и въ кассу...

— Такъ вотъ сейчасъ ему, гляди, и отвалятъ!—перебила Агафья.

— И отвалятъ! — подтвердилъ Дмитрій.—Да за рубль ассигнаціей въ рабочую пору дня отбывать не заставятъ!

— Экой рай-то у насъ тогда будетъ! И помирать не надоть...—усмѣхнулась баба, вдругъ переходя въ рѣзкій тонъ.—Ты ужъ, Митрій, не совмущай, вотъ что! Ты ужъ оставь его! Мы ужъ и безъ эфтой... Ну ее!.. жили доселева.

Во все время этого отрывочнаго разговора, лицо Дмитрія оставалось серьезно: видно было, что человѣкъ сильно сосредоточился на чемъ-то. Онъ потрогивалъ свою гармонику и разсѣянно поглядывалъ то на Василья, то на Агафью, то на тощую рябину, росшую при дорогѣ: но можно было догадаться, что не о Васильѣ, не объ Агафьѣ и не о рябинѣ думалъ онъ. Дмитрій словно бы смотрѣлъ выше ихъ, черезъ ихъ головы, и выше древесной вершины, на что-то такое, что другимъ не было видимо...

— Такъ какъ же, братъ?—началъ онъ.—По бабьему разумѣнью пойдешь, али за умъ хватишься?

Василій, молча, заерзалъ по лавкѣ.

— Да разварзайся ты съ этимъ Гришкой!—продолжалъ Дмитрій.—Ужъ онъ

тебя до добра не доведетъ... Попомни мое слово...

— А-ахъ, право-ну! Я ужъ и не знаю, что это нонече пошло у насъ все такое... А-а-ахъ!—заговорилъ Василій, низко поникая головой.—Вонъ Григорій-то Иванычъ что про тебя говоритъ... Не досягнуть, говоритъ, имъ до насъ, какъ до неба...

— Ну, и ходи къ нему, надрывайся замѣсто баръ на него. Погоди! Разорятъ они васъ, съ коробушкой по міру пустятъ, разорятъ во-о-какъ, до тла!—И Дмитрій отшатнулся отъ оконца и пошелъ прочь.

И опять на тихой деревенской улицѣ зазвучала гармоника, и удалявшійся голосъ напѣвалъ:

«Дорогая, размилая, гдѣ ты, свѣтикъ мой, живешь?
Гдѣ ты, краля, гдѣ ты, пава, гдѣ ты, павушка моя?»

А Василій съ женой, по уходѣ Дмитрія, нѣсколько мгновеній сидѣли, молча, не шевелясь: страшныя слова „разорятъ, разорятъ до тла“, какъ будто все еще витали подъ бревенчатымъ сводомъ закоптѣлаго потолка ихъ хатки и зловѣще звучали у нихъ въ ушахъ.

— Вотъ верченая голова! Фу ты!—возопила, наконецъ, Агафья, всплескивая руками.—Вотъ озорной!

— Ну его!—задумчиво отозвался Василій:—съ мужиками ужо завтра потолковать нешо.

— И ни-ни!—возразила жена, укладываясь спать.—Не слушай ты шального этого... Языкъ-то покороче держи, здоровѣе будетъ! Прокудовъ-то, говоришь, серчаетъ?

— Шибко серчаетъ! Какъ что, сейчасъ и за Митюху...

— Ну, вотъ! Ну, съ этакими-ли намъ тягаться, супротивъ-ли ихъ идти? Загрызутъ!—подхватила Агафья.—Нѣтъ, ты ужъ помалкивай лучше... У твово брата-то не семья,—ему что! Онъ ровно перетъ. Хорошо ему блажить-то!

— Это что и говорить!—согласился мужъ.

Тутъ оконце задвинулось, и въ Васильевой хаткѣ все затихло.

———

Дмитрій Кряжевъ той порой тихо шелъ со своей смолкнувшей гармоникой по опустѣлой улицѣ на другой конецъ села. Спокоенъ, твердъ и ровенъ былъ шагъ его. И по этому твердому, тяжелому шагу можно было бы заключить, что Дмитрій смѣлъ и рѣшителенъ, настойчивъ, что, словомъ, это такая натура, какую нашъ народъ окрестилъ словомъ „кремень“. Да и дѣйствительно, Дмитрій Кряжевъ былъ „кремень“, и изъ него высѣкались искры и зажигали эти искры трутъ и тряпицы, валявшіеся кругомъ него въ образѣ людей темныхъ и трусливыхъ...

Теперь, идя домой, Дмитрій думалъ о братѣ Васильѣ и крѣпко тужилъ, что тотъ слушаетъ глупую бабу, попусту труситъ и запродаетъ ни за грошъ свою душеньку Гришкѣ Прокудову.

Вопреки поговоркѣ, что „отъ одной яблоньки разныхъ яблочковъ не бываетъ“, сходства между братьями не было никакого ни въ характерѣ, ни въ наружности, ни въ житейскомъ положеніи. Василій былъ жалокъ по внѣшности, жалокъ и въ душѣ и за все-про все бултыхался въ ноги смуринскому міру. Дмитрій же держалъ голову высоко, смотрѣлъ прямо, въ упоръ, и духомъ былъ гордъ и самостоятеленъ, насколько, разумѣется, могъ быть самостоятеленъ и бодръ человѣкъ, выросшій на смуринскихъ хлѣбахъ съ подмѣсью песку и отрубей, а иной разъ моху и коры древесной,—взросшій подъ сѣрымъ смуринскимъ небомъ, среди ровной безконечной глади смуринскихъ полей и луговъ, подъ шумъ тощихъ березъ. Василій все уповалъ на добрыхъ людей: Дмитрій вѣрилъ въ свои собственныя силы, въ свой умъ-разумъ. Василій затерялся въ толпѣ, міръ считалъ его мужикомъ не мудрымъ, но тихимъ и смиреннымъ: умри онъ,—никто бы, пожалуй, и не запримѣтилъ. Дмитрій же былъ у всей волости на виду; однимъ онъ сталъ поперекъ горла, глаза мозолилъ, другіе не могли надивиться ему; одни его звали „шальнымъ“ и „каторжнымъ“, другіе величали „соколикомъ“ и „молодцомъ“. Умри Дмитрій Кряжевъ,—и всѣ бы почувствовали, что пустое мѣсто осталось. У Василья не было ни друзей, ни недруговъ. У Дмитрія много было и тѣхъ и другихъ. Василій былъ бѣденъ, весь въ недоимкахъ и о всякую пору готовъ былъ повалиться въ ноги и слезно просить прощенья и милости. Дмитрій на свой бобылій пай заработывалъ достаточно и самъ былъ всегда готовъ помочь и защитить. Одинъ—хилый, тощій, съ семейной обузой на плечахъ; другой—здоровый, крѣпкій и вольный, какъ вѣтеръ въ полѣ. Одинъ—не могъ иной разъ и двухъ словъ связать путнымъ манеромъ, а другой—говорилъ бойко и красно.

— Наше дѣло малое!—робко, чуть не шепоткомъ, бормочетъ, бывало, Василій, когда старики спрашиваютъ его мнѣніе. И по его слезящимся глазамъ, и по всей

его сгорбленной, приниженной фигурѣ явственно видно, что, дѣйствительно, его дѣло „малое“, что онъ „своего, путнаго“ ничего не скажетъ и во вѣки вѣковъ.

— А вотъ мы посмотримъ, да разсудимъ этимъ дѣломъ! — съ твердою увѣренностью и спокойно говоритъ Дмитрій.

И видно, что на все посмотритъ, все разсудитъ и выложитъ, какъ на ладони.

Братья родились отъ одного отца и матери, росли вмѣстѣ подъ одной и той же дырявой стрехой, въ одной и той же грязи барахтались, у одной и той же рябинки игрывали. Одни и тѣже воспоминанія сохранились у нихъ. Они оба, напримѣръ, очень хорошо помнятъ, какъ разъ одинъ зажиточный мужикъ, „благодѣтель“, ворвался къ нимъ въ избу и требовалъ, чтобъ ихъ отецъ, по уговору, шелъ отбывать за него мостовую повинность. Тятька ихъ въ ту пору былъ боленъ и лежалъ на палатяхъ. „Благодѣтель“ кричалъ, ругался и, наконецъ, ухвативъ больного за воротъ, сдернулъ съ палатей и потащилъ по полу вонъ изъ избы. Больной знай только охалъ, стоналъ да просилъ, чтобы отпустили душеньку на покаяніе. Хилый, тщедушный Васька въ ту пору натерпѣлся великаго страха и съ того разу сталъ бояться своихъ деревенскихъ богачей. Та же самая исторія на Митьку подѣйствовала иначе. Бойкій и здоровый мальчуганъ, онъ и въ то время злился за тятьку и ругалъ „благодѣтеля“ чортомъ. Такъ въ одной, значитъ, печи пироги пеклись, да не равно удались. Какъ тутъ прослѣдить: откуда пошло различіе? Сплошь и рядомъ на одномъ и томъ же клочкѣ земли растетъ репей и бѣлена, макушка и горькая полынь, разрастается жгучая крапива и расцвѣтаетъ красивый цвѣтокъ. Вася съизмалѣтства былъ мальчуганъ хилый и больной, — поневолѣ не могъ водой замутить, и всякаго шума и драки боялся пуще огня. Митюха росъ крѣпкимъ, здоровымъ молодцомъ, въ дракахъ не уступалъ ни одному смуринскому головорѣзу, самъ сдавалъ сдачи; никогда не задирая первый, онъ всегда отважно защищался и защищалъ брата. Его вліяніе на Василья было сильно: онъ часто выручалъ старшаго брата изъ бѣдъ и напастей, давалъ совѣты и указанія. Занадобится, примѣрно, въ полѣ Сивку изловить...

—Пособи, Митя! Онъ больно лягается!— кричитъ старшій братъ.

Является Митя, живо ловитъ Сивку, накидываетъ на него веревочный недоуздокъ, вскакиваетъ на его жесткій хребетъ и гонитъ въ деревню. Или опять, сошникъ у сохи порасхлябался.

— Митюха, насади!—взываетъ Василій.

Митюха тутъ, какъ тутъ: присвиснетъ, тряхнетъ своими темными волосиками, и сошникъ готовъ: не поворотишь, ровно прикованный. Такъ и во всемъ прочемъ...

Когда померъ отецъ, на плечахъ 18-тилѣтняго Митюхи весь домъ держался и, лишь благодаря ему, убогое хозяйство не валилось вовсе. Онъ распоряжался и матерью, и старшимъ братомъ: тѣ слушались его, да, кажется, и рады были тому, что не имъ самимъ приходится распорядокъ вести. Митюха сносился и съ односельчанами, и съ начальствомъ, вѣдалъ подать и оброки, ходилъ на сходки и на сходкахъ научился говорить такъ, чтобы его всѣ слушали и разумѣли. Когда Василью минуло 24 года, онъ женился: женѣ его сразу же захотѣлось хозяйничать и не любо ей было за все-про все смотрѣть изъ рукъ своего деверя. Конечно, у Агафьи не было настолько силенки и умѣнья, чтобы выпихнуть, оттереть Митюху и вполнѣ замѣнить его въ хозяйствѣ; но у ней были за то злые глазки, длинный бабій языкъ, колючій, какъ шиповникъ, и источникъ слезъ—что хляби небесныя. Дмитрій безъ особеннаго труда удержалъ бы за собой главенство въ семьѣ, не смотря на придирки и уколы любезной невѣстушки, не смотря на ея причитанья и намеки. Онъ не поддался бы глупому гнѣву за то, что Агафья ему иной разъ за обѣдомъ ложки не подаетъ, а хлѣбъ рѣжетъ съ такимъ свирѣпымъ видомъ, ровно зарѣзаться хочетъ. И то бы не бѣда, что братъ тоже подчасъ дуется, руку жены держитъ, хотя помалкиваетъ про себя. Все бы это для серьезнаго, стойкаго парня, какъ съ гуся вода, ежели бы только не стали приходить ему въ голову мысли: — „да чего же мнѣ всю жизнь надрываться на брата да на его семью? Онъ живи самъ по себѣ, я—самъ по себѣ. Не хочу быть весь вѣкъ батракомъ, хочу быть самъ себѣ хозяиномъ!“ И вотъ, къ искренней радости невѣстки и къ сильному смущенію брата, Дмитрій объявилъ, что онъ уходитъ отъ нихъ, а затѣмъ, поклонъ да и вонъ. Послѣ его ухода, Васильевы дѣла пошли все хуже и хуже, хотя Дмитрій, чѣмъ могъ, помогалъ ему: ссужалъ деньгами, не оставлялъ и совѣтомъ. Мать-старуха ругала Дмитрія за раздѣлъ, чуть не прокляла и не хотѣла видѣть его.

Дмитрій же живо построилъ себѣ избу, да маленькую кузню на берегу Вожиці,

подъ обрывомъ, и зажилъ важно. Съ печью онъ самъ возился: хлѣбы ставить приходила къ нему за малую плату сосѣдка, старуха Федосья. Съ работами на полѣ онъ управлялся ловко, благо посѣвъ-то былъ не великъ на $^3/_4$ десятины. Гвоздь его шелъ хорошо. Подати онъ платилъ исправно, и недоимокъ за нимъ было не слыхать.

IV.

Думы, рѣчи и дѣла Кряжева.

Дмитрій прошелъ все село до конца и подошелъ къ своей избѣ. Избушка у него была крохотная—издали, ровно игрушка. Онъ хотѣлъ, было, уже согнуться въ три погибели и войти, какъ вдругъ пріостановился, сѣлъ на ступеньки крыльца и облокотился на колѣна, низко свѣсивъ на руки свою большую, взъерошенную голову. Онъ задумался. А чтобъ понять его думы, нужно еще кое съ чѣмъ познакомиться изъ его прошлаго.

Въ полуверстѣ отъ Смурина на небольшомъ отлогомъ возвышеніи выглядывала изъ-за сада барская усадьба, выглядываетъ она еще тамъ и понынѣ и прозывается Грайвороновымъ. До 19-го февраля Смурино принадлежало частью грайвороновскому помѣщику — надворному совѣтнику и кавалеру многихъ орденовъ, Петру Игнатьевичу Водянину; но испоконъ вѣка состоя на оброкѣ, Смурино ни барщины и никакихъ барскихъ придирокъ не знало. Господа рѣдко жили въ Грайвороновѣ, управляющаго не ставили, а усадьбой завѣдывалъ староста, одинъ изъ смуринцевъ же — нынѣ кулакъ, благополучно загребающій деньгу мужицкими руками. Однажды, впрочемъ давненько, лѣтъ 20 тому назадъ, старые господа года три сряду изволили жить въ Грайвороновѣ, и Акулинѣ, матери Кряжевыхъ, досталась честь питать своимъ молокомъ барскую дочку. Затѣмъ, какъ водится, кормилица появлялась въ барскомъ домѣ каждый разъ, какъ наѣзжали господа, и приносила своей питомицѣ деревенскихъ рогулекъ и ягодъ, а маленькая Лиза дарила ей платки и всякую всячину. И Митя съ матерью, бывало, хаживалъ въ барскій домъ, не разъ разговаривалъ съ маленькой барышней, и маленькая барышня помнила кормилицынова сына. Съ ея воспоминаніемъ о тѣнистомъ грайвороновскомъ садѣ всегда какъ-то связывалось и воспоминаніе о смугломъ, бойкомъ мальчуганѣ. Въ одинъ пріѣздъ барышня даже начала учить Митю грамотѣ, но ученье не далеко ушло, потому что и сама-то госпожа въ ту пору только что дошла до ижицы. Но время идетъ, какъ вода льетъ: Лизавета Петровна вышла замужъ, овдовѣла, старые господа умерли, крестьяне вышли на волю. А знакомство между помѣщицей и Кряжевымъ поддерживалось.

По 25 году Кряжевъ научился у дьячка грамотѣ, что придало ему еще больше значенія въ глазахъ темныхъ смуринцевъ. Прочелъ онъ анекдоты о Балакиревѣ и посмѣялся: потомъ попался Ермакъ, покоритель Сибири,—и надоѣлъ до смерти. Но всѣ эти книжки принесли ему ту несомнѣнную пользу, что онъ по нимъ хоть научился писать: могъ составить письмо, при чемъ, конечно, о красотѣ почерка не могло быть и помину. Разъ досталъ онъ отъ священника какой-то календарь съ рисунками машинъ и всякихъ земледѣльческихъ орудій и статей по сельскохозяйственнымъ вопросамъ. Это приложеніе съ рисунками такъ заняло Дмитрія, что онъ дважды съ большимъ удовольствіемъ прочелъ его. И чѣмъ болѣе читалъ онъ, тѣмъ болѣе убѣждался, что и его голова можетъ кое-что понимать. Такое сознаніе его еще сильнѣе утвердило въ вѣрѣ въ его собственныя силы, въ его умъ-разумъ.

Нѣсколько разъ побывалъ Дмитрій въ губернскомъ городѣ, два года выжилъ въ Москвѣ, справляя столярную работу. смуринцы видѣли въ немъ человѣка бывалаго и своего естественнаго ходока, хотя открыто первенства за нимъ никто не признавалъ. Гдѣ дѣйствительная сила, тамъ титулы не нужны. Для того, чтобы быть головой смуринцевъ, Кряжеву вовсе не для чего было именоваться сельскимъ старостой, писаремъ или волостнымъ старшиной. И Кряжевъ, дѣйствительно, горой всегда стоялъ за міръ и друговъ своихъ не выдавалъ, а недругамъ въ иной разъ отъ него доставалось шибко. Закручье, кулаческій поселокъ, ненавидѣло Кряжева. На Смуринѣ иныя слабыя головы, изъ страха, также держали сторону Закручья, косились на Кряжева и старались избѣгать близкихъ сношеній съ „каторжнымъ“, какъ звали его въ Закручьи. „Каторжнымъ“ закручьевскіе богачи поминутно тыкали въ глаза и корили смуринцевъ, приходившихъ къ нимъ съ гвоздями, а также позаимствоваться желѣзомъ, или другимъ чѣмъ, въ ожиданіи будущихъ благъ. Смуринцы на укоры закручьевскихъ кулаковъ только руками махали и божились, что „Кряжевъ Митрей—имъ не указъ!“ Кряжевъ очень хорошо понималъ, что его сосѣди на такія штуки пускаются вовсе

не по глупости и не по злобѣ, а потому, что они въ самомъ дѣлѣ между двухъ огней вертятся.

— Что тутъ подѣлаешь! Никто самъ себѣ не врагъ!—говаривалъ онъ про смиренныхъ смуринцевъ, открещивавшихся отъ него передъ кулаками.—Знамо дѣло, неволя гонитъ въ Закручье!

А Закручью было за что не любить Кряжева: желѣзо онъ покупалъ въ городѣ, а не въ закручьевскихъ складахъ; гвозди онъ продавалъ гуртомъ—въ годъ раза два или три—также въ городѣ. Дмитрій могъ „чудить этакъ", потому что могъ закупать желѣзо не въ долгъ, а на чистыя деньги; при продажѣ могъ не навязывать свое издѣлье всякому встрѣчному и поперечному, могъ выжидать. За то ему и перепадало лишнее и на желѣзѣ, и на заработной платѣ. Ведя дѣла такимъ порядкомъ, бобыль можетъ со временемъ самъ капиталецъ скопить, да перебраться въ Закручье и подружиться съ тамошней жирной стаей. Однако Дмитрій не думалъ перебираться въ Закручье, хотя и шла молва, что у него въ кубышкѣ деньжонокъ-таки понакопилось; но ихъ никто, кромѣ Кряжева, не считалъ, и сумма ихъ въ точности никому не была извѣстна. За то всѣмъ и въ Смуринѣ, и за Смуринымъ было извѣстно въ точности, что Дмитрій Кряжевъ зоветъ кулаковъ не иначе, какъ „Іудами", говоритъ, что они бѣдный людъ обираютъ, что „надоть бы какъ ни на есть безъ нихъ изворачиваться". Доходили эти непріятныя рѣчи до Закручья, иной разъ черезъ вторыя руки, а иной разъ такъ и прямо долетали до ушей, когда Кряжевъ говорилъ на улицѣ. Закручье волновалось, но подѣлать съ „каторжнымъ" ничего не могло.

— Подъ него и комаръ носу не подточитъ,—толковали на Смуринѣ:—дюжая башка, охъ, дюжая!

Кряжевъ побивалъ закручьевцевъ ихъ же оружіемъ, не вступая до сихъ поръ съ ними въ открытую вражду. Закручьевцы здоровались съ нимъ при встрѣчѣ, и онъ хладнокровно толковалъ съ ними о томъ, о семъ, словно между ними и въ самомъ дѣлѣ никакой кошки не пробѣгало. Но особенно расходилось и разбушевалось Закручье незадолго до начала нашего разсказа.

Угораздило какъ-то Кряжева, во время его пребыванья въ городѣ, прослышать на постояломъ дворѣ отъ извощиковъ, что въ ихъ сторонѣ крестьяне такое товарищество завели, что другъ дружкѣ помогать стали.

— И идетъ у нихъ теперича это дѣло любо-дорого!—хвастливо говорили извощики.

Такая хитрая штука поразила Дмитрія, и онъ за полночь протолковалъ съ извощиками. Лишній день пробылъ онъ въ городѣ, а все-таки раздобылся книжечкой, къ которой былъ приложенъ образецъ устава ссудо-сберегательнаго товарищества. Какъ драгоцѣнность, запихалъ онъ эту книжку за пазуху въ полушубокъ и, пріѣхавъ домой на Смурино, нѣсколько вечеровъ сряду просидѣлъ за чтеніемъ. Прочелъ онъ книжку не однажды отъ корки до корки, все по ниточкѣ разобралъ, расчиталъ и семь разъ примѣрилъ. Ему еще на постояломъ дворѣ, какъ онъ на лавку тамъ спать завалился, подумалось: „А для че бы и у насъ на Смуринѣ такую кассу не завести?" Эта мысль, разъ забравшись ему въ голову, гвоздемъ засѣла въ ней. Теперь же, прочитавъ книжку, все сообразивъ и примѣривъ, Кряжевъ пришелъ къ тому, что „кассу надо безпремѣнно завести на Смуринѣ, потому это дѣло подходящее". Не сразу, конечно, сказалъ онъ на деревнѣ о своей думушкѣ. Все побаивался: не оборваться бы съ этой кассой. Въ „товариществѣ" Митюхѣ видѣлся именно тотъ кладъ, о которомъ ужъ онъ не разъ подумывалъ. Надо его вырыть и отвадить мужиковъ отъ Закручья.

Но вѣдь только сказка скоро сказывается, а дѣло не такъ-то скоро дѣлается. Много воды утекло прежде, чѣмъ Кряжевъ пришелъ къ твердому и ясному рѣшенію. Ходилъ онъ съ этой думушкой одинъ одинешенекъ; зайдетъ-ли онъ въ поле—и дума съ нимъ; пойдетъ-ли въ лѣсъ за дровами— и дума съ нимъ; сидитъ-ли въ кузницѣ у горна и сыплетъ изъ подъ молота огненные брызги—и дума тутъ же. Жутко, тяжело приходилось Кряжеву въ ту пору: книгъ нѣтъ, барыни нѣтъ, поговорить не съ кѣмъ. Ужъ ворочалъ онъ, ворочалъ свою думушку и такъ, и сякъ, и этакъ. Наконецъ мысль созрѣла, облеклась въ плоть и кровь и вылилась передъ смуринцами въ самомъ понятномъ для нихъ видѣ—въ видѣ копеекъ и рублей. Сначала качали головой, дакали, такали, вздыхали; потомъ начали у Дмитрія справляться, спрашивать и, наконецъ, увидавъ, что это ихъ ума дѣло, затолковали посмѣлѣе. Впрочемъ, толковали долго и, вѣроятно, протолковали бы еще дольше, если бы на этотъ разъ Грайвороново не протянуло на помощь Смурину своей бѣлой барской руки.

Знакомство Кряжева съ помѣщицей, какъ уже сказано, поддерживалось. Лизавета Петровна, видя въ Кряжевѣ мужика дѣятельнаго и смышленаго, порѣдко обра-

щалась къ нему за нѣкоторыми указаніями и совѣтами по хозяйству. Такъ, Дмитрій, между прочимъ, переговаривался отъ ея имени съ крестьянами по поводу аренды земли, дѣлалъ для нея разныя закупки, мастерилъ ей кое-что по дому... Запрошлою осенью, по возвращеніи барыни въ Грайвороново, однажды вечеромъ, Дмитрій сидѣлъ въ ея рабочемъ кабинетѣ на полу и починивалъ у стула ножку. Тутъ ему впервые удалось заговорить съ барыней о кассѣ, о томъ, какъ бы ему хотѣлось устроить это дѣло, но дѣло стало за деньгами. Упомянулъ онъ и о томъ, какъ мѣшаютъ ему кулаки, какъ бьются они изъ всѣхъ силъ разстроить кассу. Лизавета Петровна до той поры видѣла въ Кряжевѣ лишь ловкаго малаго, способнаго на всѣ руки, и нерѣдко удивлялась его смѣтливости. Но теперь, когда онъ, наклонившись надъ стуломъ и встряхивая своими густыми волосами, простымъ, внятнымъ языкомъ говорилъ о кассѣ, о мірѣ, о его нуждахъ, о кулаческихъ проискахъ, барыня отложила книгу въ сторону и съ живѣйшимъ любопытствомъ, во всѣ глаза, смотрѣла на Кряжева. Ея молодое, красивое, симпатичное лицо разгорѣлось, и радостное удивленіе свѣтилось въ голубыхъ ея глазахъ, пристально устремленныхъ на рабочаго. Но чѣмъ долѣе говорилъ Кряжевъ, тѣмъ серьезнѣе, задумчивѣе дѣлалась молодая женщина, и когда наконецъ онъ кончилъ и, вставъ на ноги, отряхивалъ съ себя стружки и опилки, Лизавета Петровна пытливымъ взглядомъ смотрѣла на его мощную фигуру.

— Ну, теперь будетъ крѣпко,—молвилъ Кряжевъ, повертывая стулъ кругомъ на одной ножкѣ; но, глянувъ на барыню и видя, что она о чемъ-то задумалась, поставилъ стулъ на мѣсто и тихо пошелъ къ двери.

— Дмитрій Михайлычъ, постойте!—вдругъ заговорила барыня.—А вѣдь это дѣло можно устроить! У меня есть теперь деньги, я могу вамъ дать, если хотите... Рублей 500, довольно будетъ?

— Пятьсотъ!—широко раскрывая отъ удивленія глаза, проговорилъ Кряжевъ, какъ бы вѣря и не вѣря своимъ ушамъ.—И 300 за глаза будетъ довольно... Вѣдь унасъ ужъ порядкомъ собрано...—Моихъ 200 цѣлковыхъ... Лисина тоже, да прочихъ...

И проговорилъ Кряжевъ съ барыней чуть не до свѣту.

Все-таки прошло полгода прежде, чѣмъ смуринцы, въ числѣ 43 человѣкъ, порѣшили написать уставъ и послать его съ Кряжевымъ въ городъ. Уставъ съѣздилъ въ Питеръ и, по утвержденіи, возвратился недѣлю тому назадъ во-свояси. А назавтра въ селѣ Смуринѣ назначено было торжественное открытіе ссудо-сберегательнаго товарищества. За всѣми этими хлопотами прошло съ годъ времени,—значитъ, Кряжеву пришлось долгонько ждать.

Завтра—Николы вешняго! Завтра откроется, наконецъ, касса, и закручьевскіе кулаки изрыгнутъ на Кряжева свое послѣднее проклятіе. Понятно, почему Дмитрій такъ долго сидѣлъ въ ту ночь подъ навѣсомъ своего крыльца. Вотъ запѣли на деревнѣ пѣтухи. Кряжевъ поднялъ голову и глянулъ на поле. Поле тонуло въ синеватомъ сумракѣ; бѣлесоватая роса стлалась по землѣ. Темное небо горѣло яркими огнями, и было въ немъ тихо, какъ и на землѣ, въ этотъ тихій, полуночный часъ. Не совсѣмъ-то спокойно было въ душѣ Кряжева. По ту сторону Вожицы, какъ блѣдные призраки, возставали передъ нимъ въ полусумракѣ новыя хоромы, съ тесовыми кровлями, съ разукрашенными ставнями. Ихъ свѣтлыя окна, словно подмигивали Кряжеву, насмѣхались надъ нимъ и, словно хотѣли промолвить: „человѣче, человѣче! Напрасно ты эту игру завелъ съ нами! Вишь, какія мы крѣпкія! Не обмишурься, гляди! Лба себѣ не разбей!“

V.

Никола вешній.

Денекъ выдался красный. Солнце ясно взошло надъ Смуринымъ, и въ синемъ небѣ не видать было ни одного облачка. Въ урочный часъ пробрелъ церковный сторожъ, стуча ключами, и полѣзъ на колокольню, вспугивая мимоходомъ пріютившихся тамъ галокъ. Въ урочный часъ раздался надъ смуринскимъ приходомъ первый ударъ колокола, звавшаго къ заутрени. Мѣрно и ровно гудѣлъ колоколъ въ свѣжемъ, утреннемъ воздухѣ, и гудѣлъ не напрасно. По всѣмъ проселочнымъ дорогамъ и тропинкамъ, по полямъ и перелѣскамъ, по направленію къ Смурину, двигались по одиночкѣ и толпами крестьяне, бабы, парни и дѣвки. Пріумылись для праздника деревенскіе люди, попригладили взъерошенные волосы, а на плеча себѣ натянули самую нарядную одежду. Вездѣ мелькали пестрые платки и красныя рубахи. Зажиточный, богатый людъ катилъ въ телѣгахъ на крѣпкихъ рысистыхъ лошадкахъ, сѣрой пылью обдавая нарядныхъ пѣшеходовъ. А пѣшеходы кланялись въ слѣдъ телѣгамъ...

Народу въ то утро двигалось къ Смурину больше, чѣмъ обыкновенно въ праздникъ, по двумъ важнымъ причинамъ. Во-первыхъ, въ смуринской церкви одинъ изъ придѣловъ былъ посвященъ Николаю Чудотворцу, и потому смуринцы на Николу вешняго варили пиво, а сосѣди, ближніе и дальніе, въ тотъ день приходили гулять на Смурино и гостили кто день, кто два, а кто и долѣе. На праздникъ пріѣзжалъ сюда изъ города торгашъ и неподалеку отъ церкви, на лугу, раскидывалъ свою походную палатку, служившую центромъ гульбища и игръ. Пріѣзжали также изъ города купцы въ Закручье, наѣзжалъ становой, а въ Грайвороново въ прежнее время много собиралось сосѣдняго помѣщичества. Во-вторыхъ, по деревнямъ прошелъ слухъ, что на Смуринѣ въ Николинъ день будутъ открывать кассу и выдавать крестьянамъ деньги, что всѣмъ этимъ дѣломъ орудуетъ Дмитрій Кряжевъ, и что Закручьевцы на это шибко серчаютъ.

Той порой, какъ шла заутреня, торгашъ возился на лугу, уставляя свою палатку и располагая въ ней лотки съ пряниками, леденцами, орѣхами и моченой грушей. Позади палатки стояла телѣга, и тутъ же ходила стреноженная, рыжая лошадка. Нѣсколько мальчишекъ, шедшихъ къ заутрени, остановились и глазѣли на груды суслянниковъ.

— Больше пуда, поди!—замѣтилъ одинъ.

— Э-эхъ ты, фитюй! Пудовъ 10 тутъ!—возразилъ другой.

— Ну, брысь вы! Бѣжи въ церковь!—крикнулъ торговецъ, когда одинъ востроглазый парнюга слишкомъ близко подобрался къ лоткамъ.

— А самъ-то что?—крикнули ребята, пятясь назадъ.

— Вотъ я васъ, голь озорна̀я!—рявкнулъ торгашъ, приподнимаясь изъ-за лотковъ и оборачивая къ ребятишкамъ свое красное, вспотѣвшее лицо.

Ребята убѣжали... Смуринская церковь стояла на холмѣ и была видна издалека. Съ сѣверной стороны холмъ, незамѣтно понижаясь, сливался съ лугомъ, а съ остальныхъ трехъ сторонъ обрывался совершенно крутымъ уступомъ, и бока его были выложены сѣрымъ камнемъ. Кромѣ главнаго входа, съ желѣзными рѣшотчатыми воротами и съ широкими каменными ступенями, къ погостъ вела еще съ поля маленькая каменная лѣстница и калиточка безъ запора,—это съ полуденной стороны. По самому краю обрыва проходила деревянная ограда... Церковь была каменная, старенькая, съ узкими окнами, съ красной кровлей. Кладбище, по недостатку мѣста, лѣтъ 50 тому назадъ было перенесено съ холма поближе къ лѣсу; лишь для грайвороновскихъ владѣльцевъ еще оставалось мѣстечко, обнесенное чугунною рѣшеткой, за которой ужъ сѣрѣло нѣсколько тяжелыхъ плитъ. Грайвороновскимъ владѣльцамъ предоставлялось мѣсто для вѣчнаго покоя при церкви въ уваженіе того, что храмъ создалъ одинъ изъ ихъ предковъ... Все-то на погостѣ выглядѣло ветхо и сумрачно. Деревянная ограда совсѣмъ потемнѣла, поросла мохомъ; ворота поржавѣли; каменныя ступени у входа расщелялись, поопустились, и въ черныхъ трещинахъ ихъ прозябала зеленая травка. Церковная крыша полиняла; на стѣнахъ ясно обозначались красные ряды кирпичей; старыя стекла въ окнахъ отливали изъ-за рѣшотокъ всѣми цвѣтами радуги. Кусты ивъ, разметавшіеся во всѣ стороны у главнаго входа, не слишкомъ веселили это мѣсто. Но яркое майское солнышко и кругомъ свѣжая зелень скрашивали въ то утро смуринскій погостъ. смуринцы же всегда смотрѣли съ почтеніемъ на свой старый, развалившійся храмъ. Ребятишками они бѣгали играть на этотъ погостъ; въ этихъ старыхъ стѣнахъ они вѣнчались со своими сужеными, крестили ребятъ, приносили отпѣвать своихъ покойничковъ. Колокольней смуринцы даже положительно гордились: не было во всемъ околоткѣ—верстъ на 50 въ окружности—выше и краше ихней колокольни. Шпицъ такой высокій и блестящій, что по вечерамъ, по захожденіи солнца, когда на землю упадали тѣни, верстъ за 10 было видно, какъ блеститъ и горитъ въ ясномъ небѣ, ровно звѣздочка теплится, ихъ славный смуринскій шпицъ.

По окончаніи заутрени, народъ выбрался изъ церкви, и скоро погостъ и прилегавшая къ нему луговинка представили одно волнующееся, пестрое море головъ въ шапкахъ и въ платкахъ. Въ ожиданіи обѣдни, богомольцы расположились кругомъ церкви, кто какъ могъ. И изъ смуринцевъ на этотъ разъ многіе не пошли домой. Составились кучки, пошелъ говоръ, сначала вялый, тихій и отрывочный; затѣмъ онъ все пуще и пуще разгорался, такъ что на погостѣ, наконецъ, составилась какъ бы одна большая сходка. Зачали, какъ водится, съ домашнихъ дѣлъ. Толковали про посѣвъ, про озими, про то, что „для ярового надо бы дождичка"; жаловались, что „отава мала",

что „скотинка, почитай, совсѣмъ голодная приходитъ съ выгона“, что „сѣна ужъ и званья нѣтъ“, что „соломы мало—всѣ сараи раскрыты и гумны пусты, хоть шаромъ покати“. Поговорили объ огородахъ и канавахъ: одни, вишь, повалились, другія осыпались,—поправлять надо... Потомъ перешли къ податямъ и добрались до новостей дня. Тутъ ужъ развѣ только нѣмой молчалъ, да глухой не слушалъ.

Около церковной двери собрался кружокъ деревенскихъ тузовъ. Тутъ былъ и Григорій Ивановичъ Прокудовъ, и зять его Антонъ Кудряшевъ, и Андрей Безпалый, и Сысой Ивановъ, волостной старшина, и „богатѣющій“ Кузьма Ивановичъ Чирковъ, съ которымъ читатель близко познакомится впослѣдствіи, и прикащикъ Чиркова, Василій Лукьяновъ—человѣкъ юркій, „огневой“, и многіе другіе. Антонъ Кудряшевъ держалъ рѣчь. Антонъ былъ мужикъ лѣтъ за 40, длинный, сухопарый, съ желтымъ, сморщеннымъ лицомъ и съ неподвижными, выцвѣтшими глазами. Его длинный, тонкій носъ былъ по какому-то случаю немного погнутъ вправо, и Кудряшевъ, разсуждая о чемъ-либо поглубокомысленнѣе, прикладывалъ, обыкновенно, указательный палецъ правой руки къ своему кривому носу, словно бы желая выпрямить и привесть его въ надлежащее положеніе. Синяго сукна кафтанъ висѣлъ на немъ, какъ на вѣшалкѣ. Новая, лоснящаяся черная фуражка была сдвинута слегка на затылокъ. Грязныя замшевыя перчатки торчали изъ кармана. Въ прежнее время Кудряшевъ поставлялъ помѣщикамъ вина, а теперь обратилъ свое вниманіе на мужиковъ, завелъ въ Смуринѣ кабакъ и уже намѣревался весь околотокъ покрыть сѣтью питейныхъ домовъ. Кудряшевъ любилъ рискъ и всякія грандіозныя предпріятія, былъ даже нѣсколько мечтателенъ. Нововведеній онъ не чурался, лишь бы они споспѣшествовали наживѣ. Кудряшевъ пошелъ въ гору съ той поры, какъ, въ компаніи съ однимъ городскимъ купцомъ, взялъ поставку сапогъ на ратниковъ. Рядомъ съ Кудряшевымъ стоялъ Андрей Безпалый, малорослый, мозглявый мужичонко, съ выпуклыми глазами, словно бы онъ поминутно ожидалъ увидѣть передъ собой что-нибудь необычайное. Онъ постоянно одергивался и вздымалъ плечи. Это ужъ была птица иного полета. Безпалый былъ кулакъ стараго закала, обиралъ крестьянъ патріархальнымъ образомъ, риску не терпѣлъ и чуждался всего новаго.

— Я скажу такъ,—говорилъ Кудряшевъ, разставляя ноги и прикладывая къ носу палецъ.—Все это одна только пустая смута—и больше ничего! А кто смутьянитъ,—берегись, потому не ровенъ часъ. Пущай ихъ! Только я, примѣрно, вотъ что. Таперь у нихъ въ кассѣ деньги будутъ. Почнутъ это они тащить оттолѣ. Ладно! Да, вѣдь, не вѣкъ же тащить будутъ: тысча-то цѣлковыхъ не ахтительный ужъ какой капиталъ! Они на радостяхъ-то теперь думаютъ себѣ, что имъ и чортъ не братъ: что ихней кассѣ и дна нѣту, николи и изводу ей не будетъ... Народъ! А къ Петровкамъ, гляди, обчистятъ во-о какъ! Вынимать-то легкое дѣло, а вкладывать-то изъ чего? Вотъ ты мнѣ это-то самое и растолкуй, сватъ! Не смекну, вишь...—И Антонъ кивнулъ головой Прокудову.

— Отъ трудовъ своихъ праведныхъ и понесутъ, знамо дѣло!—съ легкимъ вздохомъ и съ ехиднѣйшей усмѣшечкой отвѣтилъ Прокудовъ.

— Отъ трудовъ праведныхъ! Э-эхъ, къ Богу ихъ труды-то... — продолжалъ Антонъ.—Знаемъ мы, каковы они есть плательщики! Ихнее дѣло только брать, а получка-то съ нихъ на томъ свѣтѣ развѣ... Такъ вотъ я и говорю: разорятъ они эту кассу живо...

— И другую заведутъ, коли одной мало покажется!—смѣшкомъ замѣтилъ старшина, отпыхиваясь.

— И другую провалятъ, — продолжалъ Кудряшевъ, надавливая носъ:—и третью провалятъ, и ничего то-есть у нихъ толку не будетъ, потому нѐ люди собрались... Вотъ что!

— Ну, до другой-то кассы имъ еще придется посвистать!—возразилъ Прокудовъ.—Кто имъ повѣритъ-то? Теперича они барыню обошли,—ну ладно, а тогда и она ихъ пугнетъ отъ себя... А окромѣ ея, никто еще не ополоумѣлъ. Отколѣ имъ денегъ взять? Не промыслить имъ и гроша ломанаго...

— А ежели, примѣрно, возьмутъ да недочетъ-то ихній, по кассѣ-то, значитъ,— на все обчество разложатъ? — мучимый скупостью и алчбой, вопросилъ Андрей Безпалый, тараща свои буркалы.—Оченно ужъ это обидно, потому какъ есть...

— Ну чего, чего ты мелешь-то! Акимша ты простота!—перебилъ его Антонъ съ жаромъ.—Развѣ мы поручители? Развѣ мы записывались въ ихъ общество? Да наплевать намъ и на кассы-то ихнія! Мало-ли что надумаютъ! За каждаго дурака не переплатишься!

— Это точно!—подхватилъ Безпалый.—

А писарь, слышь, говорилъ, что и указу-то на счетъ кассы не выходило. А это, вишь, все, сказываютъ, Митюхины продѣлки...

— И неужто жъ нѣтъ на него управы?— съ важностью замѣтилъ Чирковъ, дотолѣ хранившій глубокое молчаніе.

— Истинно, что каторжный! — проворчалъ Прокудовъ.

Въ ту минуту мимо кулаковъ проходилъ Илья Петровичъ Лисинъ—также закручьевецъ, толстенькій, прилично одѣтый человѣчекъ. Его сѣрые глазки такъ и бѣгали, такъ и метались туда и сюда, какъ загнанныя мыши; они ни на чемъ не останавливались и на все, повидимому, взглядывали мелькомъ. Мягкая улыбочка мелькала на его тонкихъ губахъ и, словно, молвить хотѣла: „мы себѣ на умѣ". Теперь онъ держалъ въ рукахъ свою синюю фуражку, крестился и приглаживалъ свои свѣтлые, въ скобку подстриженные, волосы. Небольшая свѣтленькая же бородка была тщательно расчесана и блестѣла на солнцѣ.

— Съ праздникомъ, господа!—проговорилъ онъ, поровнявшись съ тузами и здороваясь съ ними за руку.—Никакъ сходку собираете!..

— Илья Петровичъ! А ты тоже въ кассу записался? — спросилъ его Андрей Безпалый.

— Да, записался! 50 цѣлковыхъ внесъ... ну ихъ! — протянулъ Лисинъ, снисходительно усмѣхаясь и пожимая плечами.

— Тэ-э-экъ! пробурчалъ Безпалый, теребя себя за бороду.

— Лиса—такъ лиса!—вполголоса замѣтилъ Прокудовъ, когда Лисинъ своею крадущеюся, кошачьею походкой направлялся далѣе.

— И что это въ самдѣлѣ за человѣкъ такой!—подхватилъ Кудряшевъ.—Не разбери Богъ! И нашимъ, и вашимъ... Глядитко, глядитко: къ Митькѣ подходитъ! Вотъ и поди тутъ! Толкуй съ нимъ...

Шагахъ въ двадцати отъ кулаковъ, у самой ограды, собралась густая толпа и своимъ говоромъ и гуломъ покрывала голоса закручьевцевъ и ихъ гостей. Лисинъ протерся въ толпу, протискался до Кряжева и поздравствовался съ нимъ. А Дмитрій въ ту пору, пользуясь удобнымъ случаемъ, толковалъ съ крестьянами, пришедшими изъ дальнихъ деревень.

— Вотъ касса-то имъ и не понутру приходитъ, не по нраву, значитъ!—говорилъ онъ.—Теперь мы все къ нимъ идемъ, да боками своими отдуваемся, а какъ касса-то будетъ, такъ не каждый къ нимъ пойдетъ!

— Барыню-то обобрали!—донеслось изъ толпы кулаковъ.

— Языкъ-то мозолить можно! Для че не мозолить!—съ жаромъ вполголоса промолвилъ Лисинъ, вздергивая плечами.

— Ужо поприжмутъ хвосты-то!—замѣтилъ кто-то громко у ограды.

— Кто же это прижметъ-то? Въ какомъ это законѣ писано, чтобы хвосты-то прижать намъ?—послышалось изъ среды кулаковъ.

— Ну, Митюха! Подпустилъ же ты имъ химію! Вишь, какъ встрепенулись!—крикнулъ какой-то смѣшливый паренекъ изъ смуринцевъ.

Хохотъ пронесся въ толпѣ. Лисинъ тѣмъ временемъ былъ уже далеко. Неизвѣстно, чѣмъ бы кончились начавшіяся вслухъ крупныя разсужденія, если бы кулаковъ не сдерживалъ Сысой Ивановъ, а крестьянъ не унималъ Кряжевъ. Наконецъ, снова ударили въ колоколъ. Смуринскіе колокола весело загудѣли надъ погостомъ. Препираться стало неудобно... Скоро пришелъ и отецъ Петръ, помахивая рукавами своей черной рясы. Началась обѣдня, погостъ опустѣлъ. Послѣ обѣдни священникъ вышелъ на амвонъ съ краткой рѣчью къ прихожанамъ.

— Вотъ, православные, одинъ изъ васъ хочетъ послужить дому Божію!—сказалъ онъ, забирая волосы за ухо.—Доброе дѣло— и въ добрый ему часъ! Вы ужъ слышали, можетъ быть, что Кузьма Иванычъ берется подновить и украсить въ нашемъ храмѣ придѣлъ Ивана Богослова. Онъ все на себя беретъ, хочетъ память о себѣ оставить, выговариваетъ себѣ только поминанье. А вы, православные, все-таки, ежели что понадобится, — ужъ не откажите. Не намъ дадите,—Богу дадите!

— Ну, тутъ что-то не добромъ запахло!—шепнулъ Кряжевъ парню, стоявшему съ нимъ рядомъ.

То былъ племянникъ Прокудова, братъ Евгеніи, по имени Аггушка — живая загадка всего смуринскаго околотка. Аггушка былъ молодецъ лѣтъ 26, съ густыми, косматыми, рыжеватыми волосами, отъ которыхъ его большая голова казалась просто чудовищною. Большіе, сѣрые глаза блестѣли огнемъ, большой горбатый носъ далеко выдавался впередъ, на толстыхъ губахъ поминутно играла насмѣшливая и часто злая улыбка, а его грубое, некрасивое, хотя и слишкомъ выразительное лицо выглядѣло недовольно и угрюмо. Въ настоящую минуту, когда онъ исподлобья глядѣлъ на отца Петра, какая усмѣшечка пробѣгала по его губамъ. На

замѣчаніе Кряжева онъ ничего не сказалъ, только улыбочка его еще пуще окислилась и затѣмъ мгновенно сбѣжала съ лица.

Народъ съ глухимъ жужжаніемъ повалилъ изъ церкви.

Послѣ обѣдни, въ домѣ Лисина былъ отслуженъ молебенъ, и затѣмъ открыто ссудосберегательное товарищество. Въ члены правленія были выбраны: Лисинъ, Кряжевъ и Горѣлый. Попечительницей же назначена Лизавета Петровна Водянина.

VI.

Аггушкины проказы.

Днемъ только мальчишки сновали по лугу, и торговецъ только еще съ ними велъ грошевую коммерцію, сбывая имъ залежавшійся товарецъ: вымокшая груша и гнилые орѣхи кучей переходили съ лотковъ въ пригоршни къ ребятамъ. Гости той порой угощались по домамъ или отдыхали. Становой пилъ чай у отца Петра, пообѣдалъ у Кудряшева и перешелъ къ Прокудову. Подъ вечеръ смуринцы, старъ и малъ, высыпали на улицу. Дѣвушки съ пѣснями плясали середь улицы и водили на лугу хороводы. Мужички слонялись изъ избы въ избу, опоражнивая ковши пива, или стояли въ сторонкѣ, орали пѣсни, сидѣли на бревнахъ противъ правленья и толковали о своихъ дѣлахъ. И изъ Закручья двѣ-три дѣвушки появились на лугу въ цвѣтныхъ платьяхъ и съ лентами въ косахъ: но онѣ не смѣшивались съ „кузнецкими", а подошли къ поповской дочкѣ и, взявшись подъ руки, расхаживали взадъ и впередъ, смѣясь и перешептываясь. Прокудовская Евгенія была одѣта погородски, въ зеленомъ шерстяномъ платьѣ и въ блестящей сѣточкѣ на блестящихъ черныхъ волосахъ. Черный лакированный кушачекъ обхватывалъ ея стройную талію и обрисовывалъ пышную грудь. Густой румянецъ покрывалъ ея щеки: глазки бойко взглядывали по сторонамъ... Серьги съ большими подвѣсками такъ и горѣли въ ея ушахъ: на пальцахъ блестѣли два колечка. Прямо сказать, Евгенія была такъ хороша, что ея здоровенныя, румяныя подруги и толстая поповна въ подметки не годились ей. Всѣ молодцы, и даже лупоглазый кудряшевскій племянничекъ и весноватый, кутящій сынокъ Андрея Безпалаго засматривались на нее. Волостной писарь, Евграфъ Зайцевъ, пріударилъ тутъ же за Евгешей и вмѣстѣ съ леденцами готовъ уже былъ предложить ей свое вдовье сердце. Къ несчастью, Евграфъ Зайцевъ былъ неуклюжъ, съ краснымъ, угреватымъ лицомъ и съ волосами на подобіе мочалы. Онъ выставлялъ изъ задняго кармана красный кончикъ носового платка и съ шумомъ нюхалъ табакъ: эту манеру онъ перенялъ отъ исправника, во многомъ служившаго ему образцомъ приличій и свѣтскости. Онъ, конечно, не могъ нравиться Евгешѣ, но Евгеша все-таки лукаво посматривала на него, ѣла его леденцы и громко смѣялась его остротамъ. Ей льстило вниманіе писаря, потому что писарь, все-таки не то, что сѣрый мужикъ, а въ нѣкоторомъ родѣ чиновникъ.

— У насъ, Евгенія Ивановна, многимъ вольнѣе, чѣмъ у васъ въ Питерѣ-съ—заговорилъ онъ.—Мѣста у насъ—страсть, погулять есть гдѣ...

— Съ кѣмъ гулять-то у васъ? Со скотиной на выгонѣ, что-ли?—возразила Евгеша.

— И со скотинкой можно-съ. А то, вѣдь, у насъ тоже-съ и кавалеры есть-съ!—отрапортовалъ расчувствовавшійся писарь, устремляя свой маслянистый взглядъ на красивую смуглянку.

Евгеша расхохоталась.

Дмитрій Кряжевъ, проходя въ то время по лугу, замѣтилъ, какъ Аггушка накупалъ у торговца пряниковъ и совалъ ихъ къ себѣ въ карманы.

— Аггуша!—крикнулъ ему Кряжевъ вдогонку:—куда тѣ этакое мѣсто сусляниковъ? Нѣшто всѣхъ дѣвокъ накормить хочешь?

— Не кричи!—подмигивая, отозвался тотъ вполголоса, дѣлая шагъ назадъ.—Погоди ужо... Такую-ли музыку заведемъ, что чертямъ тошно станетъ!

Аггушка былъ шутникъ большой руки, много за нимъ водилось разныхъ причудъ. Къ тому же, Кряжевъ былъ все еще занятъ кассой, а потому и не мудрено, что Аггушкины слова онъ пропустилъ мимо ушей.

— Вотъ еще какіе у насъ есть кавалеры!—съ усмѣшкой говорилъ писарь, указывая дѣвушкѣ на Дмитрія.—Вотъ, примѣрно, Кряжевъ, чѣмъ же не кавалеръ-съ? Первый умникъ по всей волости, красавецъ писанный и, просто, Бова королевичъ... Отъ дяденьки, можетъ, слыхали про него? Этотъ самый Митька Кряжевъ, изволите видѣть, вашего дяденьку и все Закручье хочетъ въ бараній рогъ согнуть.

Дѣвушка на такое донесеніе очень мило состроила гримаску, и отъ смѣху раскраснѣлась еще пуще.

— Вы будьте потише-съ! Они у насъ строги, очень строги-съ!—скороговоркой молвилъ писарь.—Онъ и вамъ не спуститъ,

ежели что... Да-съ! И васъ въ бараній рогъ согнетъ, потому это имъ ровно ничего-съ не значитъ...

— Тятенька говоритъ, что всѣхъ бы ихъ выстегать надо!—вмѣшалась поповна, складывая зайчика изъ своего носового платка.

— Помилуйте-съ! — съ протворнымъ изумленіемъ возопилъ писарь.—Да про нихъ еще и прутьевъ въ лѣсу у насъ не выросло! Нѣтъ, это ужъ вашъ тятенька напрасно-съ!

А Евгенія, между тѣмъ, пристально слѣдила за удалявшимся Кряжевымъ, въ сравненіи съ которымъ юлившій передъ нею писарь казался просто чурбаномъ въ человѣческомъ платьѣ. Своею обычною твердою, мѣрною поступью шелъ Дмитрій, заложивъ руки за спину и насвистывая пѣсенку. Плисовая поддевка ловко сидѣла на немъ, ровно вылитая; бѣлая ситцевая рубаха издали отливала серебромъ, и круглая шапочка была заломлена набекрень. Кряжевъ сильно занималъ Евгешу. О немъ она услышала тотчасъ же по прибытіи своемъ въ Смурино: его ругали дядя съ теткой, все Закручье поминало его недобромъ, родной братъ отъ него отрекался, какъ слышала она вчера сама. Про Митюху говорили въ избахъ, на улицѣ, на всѣхъ перекресткахъ. Евгеша слышала, что Дмитрій вхожъ въ барскій домъ, что барыня помогала ему и кассу устроить; слышала она и о томъ, что всѣ смуринцы слушаютъ и почитаютъ его. Долго смотрѣла Евгеша вслѣдъ уходившему Кряжеву и много, вслѣдствіе того, писарскихъ остротъ пропустила она мимо ушей.

Становой, располагавшій, было, прокутить на Смуринѣ всю ночь, вдругъ былъ неожиданно отозванъ верстъ за 20, на Борисово, гдѣ баба мужу вилами бокъ просадила.

Извѣстно, что читатель не любитъ отступленій, но такой человѣкъ, какъ становой 3-го стана, по справедливости заслуживаетъ исключенія. Арсеній Викторовичъ Перемыкинъ былъ человѣкъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, замѣчательный. Не столько была замѣчательна его лысая голова, его—какъ мѣсяцъ—круглое лицо, украшенное рыжеватыми бакенбардами, сколько собственно его духовная сторона. Во-первыхъ, Арсеній Викторовичъ имѣлъ непреоборимое отвращеніе къ печатному слову; кромѣ рапортовъ и отношеній, онъ ничего не читалъ и гордился тѣмъ, что у нихъ съ женой во всемъ домѣ ни одной книги нѣтъ и не бывало. Во-вторыхъ, онъ имѣлъ двѣ склонности: къ мертвымъ тѣламъ и къ карточной игрѣ. Впрочемъ, первая склонность была преобладающею. Если даже въ самомъ разгарѣ игры ему докладывали, что нашлось мертвое тѣло, то становой, положительно шалѣлъ и скакалъ на мѣсто происшествія—будь то ночью, въ распутицу, въ бурю или въ мятель—все равно! Встрѣчаясь на дорогѣ съ знакомыми, онъ отъ избытка чувствъ только махалъ впередъ рукой и восклицалъ: „тѣло!“ Тѣ ужъ знали, въ чемъ дѣло, и не распространялись. Такъ все и леталъ онъ и скакалъ изъ края въ край, изъ деревни въ деревню, отъ одного мертваго тѣла къ другому. На жизнь живыхъ существъ онъ обращалъ значительно менѣе вниманія, чѣмъ на тѣла мертвыя. Во снѣ и часто даже на яву онъ бредилъ объ открытіи, о вскрытіи, о вырытіи мертвыхъ тѣлъ.

Понятно, что, услыхавъ о проколотіи мужа женой, становой, при всемъ своемъ добромъ желаніи, не могъ остаться пировать съ закручьевцами. Прощаясь съ ними и пожимая руку Прокудову и Кудряшеву, онъ промолвилъ:

— Ужо какъ-нибудь опять заверну къ вамъ по пути. А вы, ежели что, сейчасъ дайте знать...

Кулаки низко кланялись. Становой сѣлъ въ тарантасъ, а тамъ, о бокъ съ нимъ, уже очутилась бутылка коньяку. Становой, повидимому, увидалъ ее и, прикрывъ ее цѣломудренно капишономъ своей сѣрой шинели, выставилъ еще разъ на показъ свое красное лицо съ торчащими бакенбардами и, сказавъ „за угощенье“, зычнымъ голосомъ крикнулъ ямщику: „пошелъ!“

Когда сѣрая пыль, поднятая промчавшейся тройкой, улеглась, и звонъ колокольчика уже замиралъ вдали, гурьба ребятишекъ и парней—головъ въ 30 или 40—съ воемъ и свистомъ направилась со Смурина на мостъ и повалила по Закручью мимо тесовыхъ хоромъ. Неистовый гамъ, дикія завыванія и крики понеслись по улицѣ. Почтенные хозяева выглядывали изъ оконъ, а мальчишки высовывали имъ языки, показывали кукиши, словомъ, срамили „лучшихъ людей“, какъ нельзя хуже. И вдругъ, въ довершеніе всего этого озорства, хоръ дикимъ голосомъ завылъ:

„Толстобрюхи, толстобоки,
Берегите свои боки;
Тамо денежки бренчатъ,
Ровно выскочить хотятъ“.

Ругань и крѣпкія словца сыпались на пѣвцовъ. А Аггушка стоялъ за колодцемъ

и хохоталъ до надсады надъ тѣмъ, какъ орали закручьевцы, какъ визжали бабы, и какъ дикій вой заглушалъ ихъ нискъ и визгъ. Зрѣлище, по истинѣ, вышло необычайное. Куры, ополоумѣвшія отъ страху, метались изъ стороны въ сторону, поднимая пыль; собаки лаяли и выли; малые ребята ревѣли, какъ ошпаренные. Полуглухая старуха, бабушка Анисья, мать Безпалаго, сидѣла на лавкѣ и, созерцая всю эту кутерьму и ровно ничего не понимая въ ней, мотала головой.

— Ну, робята! Сшалѣли... Шабашъ да и полно!—сопѣла она себѣ подъ носъ, уставивъ на толпу свои мутные, безжизненные глаза.

Вдругъ съ кудряшевскаго двора выскочилъ огромный, черный песъ и бросился на толпу.

— Усь, усь ихъ! Куси, куси! О-го-го! О-го-го!—оралъ захмѣлѣвшій племянникъ Кудряшева, махая изъ-за воротъ рукой, въ то время, какъ со всѣхъ сторонъ въ ребятъ начали швырять щепками и осколками кирпичей.

А черный песъ дѣлалъ свое дѣло. Онъ свалилъ съ ногъ какую-то дѣвочку, другой разорвалъ весь сарафанишко, бросился на мальчугана и ухватилъ того за горло. Поднялись вопли и смятеніе. Наконецъ какой-то дюжій парень изъ смуринцевъ прорвался къ мѣсту побоища и, бросившись на пса и самъ ухвативъ его обѣими руками за горло, вмѣстѣ съ нимъ повалился на земь. Песъ дико рычалъ и рвался; парень остервенился и тоже рычалъ, визжалъ и не выпускалъ изъ рукъ чернаго чудовища. Его лѣвая рука въ двухъ мѣстахъ была уже прокушена, и кровь шибко текла изъ нея. Нѣсколько мгновеній мощные борцы возились среди улицы въ прахѣ... Наконецъ, человѣкъ такъ стиснулъ горло своему четвероногому врагу, что тотъ какъ-то странно вытянулся и помутившіеся глаза его, не моргая, уставились куда-то вдаль. Окровавленная пѣна текла у него изо рта, зубы крѣпко стиснулись. Парень поднялся—весь истрепанный, въ пыли и крови. Въ тужъ минуту сѣрый булыжникъ полетѣлъ въ одно изъ свѣтлыхъ оконъ кудряшевскаго дома. Стекла зазвенѣли и посыпались. Толпа бѣгомъ спустилась на мостъ и разсыпалась по деревнѣ, оставивъ послѣ себя разбитое окно, слѣды крови и, середи, улицы, трупъ страшнаго пса. Аггушки не было видно нигдѣ.

Закручье взволновалось и находило необходимымъ перепороть поголовно всѣхъ смуринскихъ озорниковъ. Кудряшевскій работникъ уволокъ пса во дворъ. Разбитое окно заставили ставенькой, а Антонъ божился, что безпремѣнно донесетъ по начальству на этакій разбой. Матери искусанныхъ ребятъ голосили на чемъ свѣтъ стоитъ и жаловались, что Антонъ, надо быть, скоро всѣхъ ихъ собаками своими затравитъ. Закручье толковало все о разбитомъ окнѣ: на Смуринѣ только и рѣчи было, что объ искусанныхъ ребятахъ и объ изорванномъ сарафанчикѣ. Впрочемъ, Закручье скоро попритихло и угомонилось въ виду угрожающаго положенія, какое заняли смуринскія бабы. Закручье притворило окна и ворота, огня даже не вздувало, а гости и хозяева сидѣли впотемкахъ и втихомолку потягивали пивцо.

Смурино же шевелилось все пуще и пуще, рычало и огрызалось. Раздавались визгливые возгласы и угрозы...

VII.

Добрая барыня.

А Кряжева въ ту пору, какъ на грѣхъ, не было на деревнѣ. Онъ сидѣлъ въ барскомъ домѣ, въ кабинетѣ у Лизаветы Петровны...

На письменномъ столѣ горѣла лампа, и отъ ея голубого абажура на собесѣдниковъ падалъ синеватый оттѣнокъ, и лица казались подернутыми мертвенной блѣдностью. Въ комнатѣ вѣяло зеленью и прохладой. Окна въ садъ были открыты; вѣтки цвѣтущей сирени лѣзли на подоконникъ. Синее небо, сквозившее между вѣтвями деревъ, казалось еще синѣе отъ свѣта горящей лампы. Лизавета Петровна, впрочемъ, не любовалась на этотъ разъ картиной яснаго вечера, догоравшаго надъ ея садомъ. Она сидѣла у стола, спиной къ окнамъ, и разсѣянно играла перочиннымъ ножичкомъ. Она только-что проводила своихъ немногихъ гостей и казалась усталою. Кряжевъ сидѣлъ противъ нея, у стола, и помѣшивалъ ложечкой чай въ своей чашкѣ.

— Ну, что, Дмитрій Михайловичъ! Весело вамъ сегодня?—спросила его барыня, немного наклоняя абажуръ и закрывая глаза.

— Да какъ же!—задумчиво отозвался Кряжевъ, разсматривая на чайной ложечкѣ коронку и вензель Водяниной.—Я и то за обѣдомъ сегодня цѣлую красоулю пива выпилъ... Съ радости-то!.. А все вамъ спасибо, Лизавета Петровна!—добавилъ онъ, откидываясь на спинку стула.

— Да я-то при чемъ тутъ? Я рада, что деньги мои на что-нибудь пригодились...

— Гм! При чемъ!—передразнилъ ее Кряжевъ, прямо глядя въ ея ласковые, кроткіе глаза.—Да мы безъ васъ провозились бы тутъ и не вѣсть кое время. Безъ денегъ-то, вѣдь, ничего не подѣлаешь!

Голубые глаза говорили правду: ласкова и добра была барыня...

Несчастлива она была въ дѣвушкахъ. Человѣкъ, котораго она отличила, который увлекъ ее обѣщаніями какой-то новой, лучшей жизни, оказался пошлымъ болтуномъ, расчитывавшимъ сдѣлаться владѣльцемъ Грайворонова и пожить-полиберальничать на ея счетъ. Несчастлива она была замужемъ: ни мужъ ея не понималъ, ни она мужа, и жили они вмѣстѣ 3 года, словно въ прятки играючи. Наконецъ, мужъ умеръ, и Лизавета Петровна осталась одна одинехонька и на свободѣ.

Сохранившись и душой, и тѣломъ, она была мила и простодушна, какъ и во дни оны. Ей и теперь хотѣлось-бы дѣлать добро, какъ можно больше добра. Она близко принимала къ сердцу горе ближняго. Но часто, оставаясь наединѣ, молодая женщина глубоко задумывалась; темная тѣнь набѣгала на ея ясное лицо. Ее мучило тяжкое сознаніе безсилія и безпомощности. Это сознаніе пуще времени старило ее, отравляя ей жизнь на каждомъ шагу. Она уже убѣдилась, что дѣйствительно добро можетъ дѣлать лишь тотъ, у кого есть знанія. А ее сначала учила гувернантка, потомъ муштровали въ пансіонѣ, и ничего путнаго не вынесла она оттуда. Правда, она теперь много читаетъ. Но то все больше книги ненаучныя... „Ну, что я могу, что?—спрашивала она, бывало, сама себя, лежа въ постели и томимая безсонницей.—Я могу только читать, писать кое-какъ и кое-что говорить—и только“.

Побывала Водянина въ Петербургѣ, и удалось ей тамъ попасть въ нѣкій кружокъ „новыхъ людей“, распинавшихся за все человѣчество. На нее посмотрѣли тамъ свысока, чуть не съ презрѣніемъ, какъ на простушку, какъ на провинціальную барышню. И скоро увидѣла она, что не все то золото, что блеститъ; что далеко не всѣ тѣ хороши, кто хорошо говоритъ и пишетъ. Скоро увидѣла она, что въ этомъ кружкѣ преслѣдуются на дѣлѣ лишь личныя, узенькія цѣли, и сплетня царитъ въ немъ во всемъ своемъ безобразіи. Все это для Водяниной, какъ для простушки, еще не было старою истиной, она не могла превозмочь отвращенія и отшатнулась отъ этихъ самозванныхъ „новыхъ людей“. Потомъ удалось ей войти въ кружокъ доброй, здоровой молодежи. Тутъ встрѣтили ее просто, посмотрѣли на нее почеловѣчески. Здѣсь не чесали языковъ, а учились и дѣйствовали. Здѣсь-то Водянина научилась сочувствовать не только личному несчастью, но и тому вѣковому горю, которое, какъ одной горькой волной, разлито по всему міру. Горизонтъ ея расширился...

Устройство кассы ее немного оживило, придало ей бодрости. Авось, смуринцы дадутъ ей больше, чѣмъ тѣ хвастливые, самодовольные „новые люди“, приближаясь къ которымъ, она надѣялась встрѣтить полубоговъ, героевъ, а, вмѣсто того, нашла лишь глиняные черепки! Въ описываемую пору Водяниной около 30 лѣтъ, но она еще очень моложава. Она блондинка, средняго роста, худенькая. Ея голубые глаза глядятъ какъ-то странно; словно она все смотритъ на кого-то съ сожалѣніемъ, или кого-то молитъ о чемъ. Она ходитъ тихо, понурившись; говоритъ мало и отрывисто; одѣвается даже черезчуръ просто, небрежно. Ея свѣтлые, русые волосы подстрижены, но они вьются и часто падаютъ ей на лобъ.

— Вотъ еще школу заведемъ!—пробуждаясь изъ задумчивости, проговорила барыня.—Такое большое село, а школы нѣтъ! Вѣдь, просто, срамъ!..

— Я ужъ самъ думалъ объ этомъ не одиножды! — отозвался Кряжевъ. — Да, вишь, въ Красныхъ Горкахъ школа есть. Мы за нее платимъ, да и земство отъ себя прибавляетъ. А какая это школа? Учитель-то тамошній—племянникъ благочиннаго. Учитъ дрянно, испиваетъ, да и ребятъ еще деретъ. Оттого и ходятъ-то къ нему малость самая. Изъ Закручья трое, да шестеро отъ насъ, да красногоркинскихъ сколько-то.

— Все это можно,—въ раздумьи проговорила барыня.—Флигель у воротъ пустой стоитъ. Поправить, такъ годится еще...

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Вдругъ изъ деревни донесся глухой ревъ, словно бы плотину у мельницы прорвало.

— Что это у нихъ за шумъ такой!—замѣтила барыня, прислушиваясь.

— Наши, значитъ, гуляютъ!—добродушно усмѣхнулся Кряжевъ и затѣмъ, очевидно увлекаемый какою-то мыслью, облокотился на столъ и заговорилъ съ жаромъ:—вотъ такъ взаправду чудной...

Аггушка-то! Я вамъ сказывалъ про него... Все ему, вишь, не ладно! И въ кассѣ нѣтъ проку, и все плохо. И не записался... Никакъ то-есть на него не потрафишь!

— А вы бы сказали ему, что и Москва не вдругъ строилась, что всего, вѣдь, разомъ не охватишь!—потупясь, промолвила барыня.

— Говорилъ... Нейметъ! Знай себѣ головой мотаетъ...

Немного погодя, въ комнату вошла горничная дѣвушка и объявила, что пришли изъ деревни за Дмитріемъ Михайловичемъ.

— Ну вотъ допраздничались наши!—говорилъ Кряжевъ, возвращаясь черезъ нѣсколько минутъ въ кабинетъ.

— Что тамъ такое?—торопливо спросила барыня, съ тревогой взглядывая на Кряжева.

— Да на деревнѣ у насъ не ладно...—И онъ вкратцѣ передалъ Лизаветѣ Петровнѣ о закручьевскомъ дѣлѣ.—Эхъ, народъ, народъ!—съ досадой закончилъ онъ, вытаскивая съ этажерки изъ-за книгъ свою шапку.

— И чаю не допили!—замѣтила та.

— Въ другой разъ допью!—отозвался Кряжевъ и, стуча сапогами, торопливо пошелъ вонъ.

Онъ поспѣлъ во-время. Толпа смуринскихъ бабъ совсѣмъ ужъ была готова итти и „вытрясти всю душу“ изъ Закручья. Нѣсколько мужиковъ также пристало къ нимъ, и руки, всю жизнь работавшія молотомъ, сжимались крѣпко въ кулаки. Хмѣль всѣмъ поддавалъ задору. Не малаго труда стоило сговорить съ охмѣлѣвшими и обозленными смуринцами. Они сначала и слышать ничего не хотѣли. „Пойдемъ“, да „разобьемъ“ только и вертѣлось у нихъ на языкѣ, съ приправой всякихъ крѣпкихъ словъ.

— Ничего, братцы, вы путнаго не подѣлаете теперь! Вы же виноваты будете, васъ же за разбой къ суду притянутъ!—говорилъ имъ Дмитрій Кряжевъ.—Ишь какъ вино-то васъ разобрало! Спите-ко, добро: утро вечера мудренѣе.

Угомонилось-таки Смурино. Только залихватскія пѣсни долго еще раздавались на улицѣ, пѣсни громкія, удалыя, отъ которыхъ не только оконницы вздрагивали, но трепетали и закручьевскія сердца.

Кряжевъ вышелъ изъ деревни и направился къ хаткѣ, стоявшей въ полѣ, на бугрѣ, въ полуверстѣ отъ Смурина. Тамъ жилъ Аггушка. Аггушка былъ дома и—на ту пору, какъ подошелъ Кряжевъ—сидѣлъ передъ своимъ единственнымъ оконцемъ, на обрубкѣ дерева. Рыжая, косматая дворняжка лежала у его ногъ.

VIII.

Что за человѣкъ?

Аггушка былъ сирота. Отецъ его, за убійство управляющаго, былъ сосланъ въ каторгу, мать умерла, — и его съ Евгеніей взялъ къ себѣ на побѣгушки Григорій Прокудовъ, приходившійся имъ дядей. Горько, круто приходилось Аггушкѣ подъ кровомъ его благодѣтеля, рано пришлось ему встать во вражду ко всему окружающему и сдѣлаться звѣремъ. Всѣ его били, какъ собаченку, морили голодомъ; тетка разъ нарочно ошпарила его съ ногъ до головы кипяткомъ; дядя чуть не каждый день хлесталъ его то ремнемъ, то прутомъ, а то однажды такъ треснулъ палкой по головѣ, что Аггушка часа три безъ дыханія лежалъ,—думали померъ. На деревнѣ, по его рыжимъ волосамъ, звали его „краснымъ чортомъ“, а по отцу „убивцей“. И точно, хотя Аггушка въ ту пору не былъ „убивцей“, но уже могъ сдѣлаться имъ. Однако мальчугана не могли забить вовсе, былъ живучъ. Онъ мстилъ своимъ благодѣтелямъ-недругамъ, какъ и чѣмъ могъ, пакостилъ имъ всячески на каждомъ шагу. То новый теткинъ платокъ въ печи спалитъ, то дядины сапоги въ колодезь отправитъ, то заберется въ лѣтнюю горницу и у двоюродной сестрички своей, Грунюшки, праздничный сарафанъ на мелкіе кусочки ножницами изрѣжетъ. И дерутъ его, дерутъ безъ конца. Не случалось на деревнѣ такого баловства, въ которомъ Аггушка не являлся бы зачинщикомъ или, по крайней мѣрѣ, не принималъ бы живѣйшаго участія. Поломать-ли, разбить-ли что — это ужъ было Аггушкино дѣло. Онъ у своихъ враговъ давилъ кошекъ, увѣчилъ собакъ, ломалъ пѣтухамъ ноги, разъ даже хотѣлъ поджечь прокудовскій дворъ, словомъ, истреблялъ все и вся. Однажды дядя задралъ его до полусмерти, но Аггушка какъ-то вырвался, вскочилъ, вцѣпился зубами благодѣтелю въ руку, да такъ и замеръ. Зубы были остры. Прокудову пришлось плохо. Въ другой разъ—тоже послѣ истязаній—Аггушка такъ ударилъ дядю по лицу палкой, что красный рубецъ и до сихъ поръ замѣтенъ у Григорія Ивановича около лѣваго уха.

Подросши, Аггушка очутился дядинымъ батракомъ. Когда ему минуло 18 лѣтъ, Прокудовъ задумалъ довершить доброе дѣло и отвелъ племяннику полдесятины

никуда негодной земли и пожертвовалъ ему для житья старую свою баню. Аггушка построилъ себѣ самъ черную, крошечную хатку, самъ смастерилъ печь—только неудачно: пошелъ дождь,—печь размыло; поправилъ,—опять размыло: наконецъ ужъ Аггушка ухитрился: печь хоть и дымила, но стояла крѣпко и не разваливалась. „Кланяться не буду!" рѣшилъ онъ и рѣшенью своему не измѣнялъ. И зажилъ онъ въ хаткѣ съ своимъ взъерошеннымъ, грязнымъ Медвѣдкой, работая кое-когда на Прокудовыхъ и кое какъ справляя свое крошечное хозяйство. На деревнѣ его звали и „чуднымъ", и, попрежнему" краснымъ чортомъ"... Лѣтомъ, а иногда и зимой, въ морозы трескучіе, ходилъ Аггушка безъ шапки и босой. Волосы его были всегда всклокочены... На немъ болталась жалкая, одерганная одеженка, прорванная рубаха, подтянутая веревкой, и грязные, холстинные порты. Рѣдко на его ногахъ видѣли лапти и никогда не видали сапогъ. Его рваную, мѣховую шапку, какого-то особаго вида, всѣ знали въ околоткѣ.

Аггушка никого и ничего не любилъ и надо всѣмъ смѣялся; такъ, по крайней мѣрѣ, думали люди. Въ церковь рѣдко заглядывалъ, со смуринцами онъ не водился, сидѣлъ въ своей хаткѣ на бугрѣ, какъ кротъ, бродилъ по лѣсу съ ружьемъ, ловилъ птицъ, сушилъ разныя травы, собиралъ муравьиныя яйца и носилъ все это на продажу въ городъ. Этого было достаточно, чтобы о немъ и объ его хаткѣ пошла въ околоткѣ худая слава. Про него думали, что онъ на все итти готовъ, коли шибко обозлить его.

— Въ отца пошелъ!—говорили добрые люди.—И глядитъ-то... страсть! Вытаращитъ буркулы, ровно зарѣзать хочетъ... А волосища густые, ровно лѣсъ, и красные, какъ огонь... Того и гляди—спалитъ!

И дѣйствительно, его рыжіе волосы и большіе, темные глаза пугали на Смуринѣ и стараго, и малаго. Ежели ребята начинали задирать и дразнить Аггушку, когда тому случалось за чѣмъ-нибудь проходить по деревнѣ (что, впрочемъ, бывало очень рѣдко), то взрослые унимали ихъ.

— Не трожь его! Пущай идетъ!—вполголоса уговаривали они ребятъ.

Аггушка, однако, оказалъ разъ смуринцамъ большую услугу, перебивъ въ одну осень до полдюжины волковъ, начавшихъ опустошать стада. Одна большая волчья шкура и по сю пору лежитъ на палатяхъ въ Аггушкиной хатѣ, какъ побѣдный трофей. Одни его почитали за разбойника, другіе считали полоумнымъ и дурачкомъ, но всѣ его боялись и сторонились отъ него, какъ отъ чумного. На сходки онъ не ходилъ, въ общественныхъ дѣлахъ никакого участія не принималъ. И жилъ Аггушка этакъ, словно былъ человѣкъ не отъ міра сего.

— Что за барыня у насъ!—говорилъ Аггушкѣ Кряжевъ въ тотъ вечеръ.—Вотъ-то добрая душа! Все-то она о насъ думаетъ, все-то она заботится, какъ и что бы сдѣлать для насъ путевое. Черный народъ любитъ.

— Любитъ!—съ глухимъ смѣхомъ отозвался Аггушка.

— Школу, вонъ, опять на Смуринѣ у насъ завести хочетъ!—словно не дослышавъ, продолжалъ Дмитрій.

— Охъ, ужъ эти бабы!—замѣтилъ Аггушка.—Вонъ одна купчиха въ городѣ всѣ денежки на монастыри промытарила, да богомолокъ откармливала... Вотъ и наша тоже. Одно слово—бабы!

— Да полно, Ѳома ты невѣрующій!—началъ было Кряжевъ.

— Ну тя къ лѣшему!—перебилъ его Аггушка и засвисталъ.

Помолчали. Изъ деревни доносилась нескладная, разухабистая пѣсня. Въ травѣ, гдѣ то неподалеку, скрипѣлъ коростель. Тихая, звѣздная ночь стояла надъ полями. Вѣтерокъ не подувалъ. Свѣжей зеленью попахивало. Кряжевъ смотрѣлъ на опущенную внизъ Аггушкину голову, густо покрытую рыжими космами волосъ, и думалъ: „отчего это Аггуха уродился такимъ? Никто ему не угодитъ, не угодитъ и онъ никому. Всѣмъ-то онъ опостылъ, ровно нехристь, бусурманъ какой?

— Что ты, Аггушка, за человѣкъ есть, скажи на милость?—спросилъ онъ вдругъ своего собесѣдника.

Тотъ быстро поднялъ голову.

— Экъ тя!—проворчалъ онъ съ досадой, и усмѣшкой явственно скривились его толстыя губы.—Коли не знаешь о сю пору, спроси на селѣ, всякъ скажетъ. Красный чортъ, да вотъ и все!

— Не ты-ли вечоръ робятъ-то натравилъ, а?—немного помолчавъ, спросилъ Кряжевъ.

— Я. А что?

— Для этого и пряники-то покупалъ?—продолжалъ разспрашивать Кряжевъ, во всѣ глаза уставясь на Аггушку.

— Не для дѣвокъ же!

— Для чего же ты переполоху-то эту задалъ? Робятамъ-то досталось, да ужо, гляди, еще попадетъ...

— Ничего! Пущай привыкаютъ!—

химъ и невозмутимо спокойнымъ голосомъ проговорилъ Аггушка.

Кряжевъ покачалъ головой...

— Ну, ужъ, братъ, Аггуха, нечего... Бѣсъ въ тебѣ сидитъ, да гляди, не одинъ— съ бѣсенятами—привздохнувъ, замѣтилъ Кряжевъ и пошелъ на деревню.

Аггушка, насвистывая, долго смотрѣлъ ему вслѣдъ.

IX.

Съ похмѣлья.

На другой день гулянье на Смуринѣ разгорѣлось еще пуще, пуще звучали балалайки, и пѣсни и пляски, съ утра до ночи, шли своимъ чередомъ. Изъ Закручья, послѣ вчерашней исторіи, мало кто показывался на смуринскомъ берегу, даже Евгеша не являлась на лугъ, и „надъ кузнецкими дѣвками никто не надсмѣхался". Писарь еще съ утра сдѣлалъ тетрадку изъ нѣсколькихъ листовъ сѣрой писчей бумаги и вписалъ въ нее изъ пѣсенника стихотвореніе, въ которомъ, между прочимъ, значилось:

„Все уже превратно стало,
Гдѣ утѣхи прежде зрѣлъ:
Тамо нѣтъ ихъ, нѣтъ ни мало;
Ахъ! и будто не имѣлъ".

Послѣ вечерень писарь забрался къ Прокудовымъ, съ полными карманами орѣховъ и леденцовъ. Его, какъ водится, угощали и предлагали ему обратить вниманіе на „озорство" смуринскихъ ребятъ.

— Это что жъ за порядки такіе, Евграфъ Евстигнѣевичъ, а?—говорилъ ему кулакъ.—Хошь на улицу не показывайся! Того и гляди, камнемъ въ лобъ пустятъ! Никогда этакъ-то не бывало...

— Проберемъ, Григорій Иванычъ, проберемъ-съ! Повремените маленько!—успокоивалъ его Зайцевъ, выразительно помахивая рукой.

Побалагурилъ онъ съ Евгеніей, затѣмъ распрощался съ Прокудовыми, повторивъ свое обѣщаніе „пробрать". А вечеромъ, выпивъ съ благопріятелемъ, чирковскимъ прикащикомъ, полуштофъ водки, писарь опять засѣлъ за переписываніе стиховъ, въ которыхъ чувство выражалось уже съ большею силою и энергіей. Евграфъ Евстигнѣевичъ писалъ:

«Сразу молнія несчастна!
Растерзай стенящу грудь!
Ахъ! а ты моя прекрасна,
Навсегда счастлива будь»...

Опять всю ночь до румянаго разсвѣта гремѣла надъ Смуринымъ, разносясь далеко, безшабашная, удалая пѣсенка.

На третій день въ пивныхъ бочкахъ уже стало видно дно, пиръ шелъ молчаливѣе, онъ какъ бы сосредоточился кругомъ опорожнивавшихся боченковъ. Подъ заборами кое-гдѣ видны были спящіе, парни лыка не вязали, хороводы велись вяло, и дикіе, хриплые звуки нескладно слетали съ балалаечныхъ струнъ. Наконецъ, на четвертый день, гости уже расходились,—и шли они отъ Смурина по всѣмъ направленіямъ, по дорожкамъ и тропинкамъ, по полямъ, лѣсамъ и перелѣскамъ. Одни брели, спотыкаясь, и тяжело-тяжело вздыхали: другіе прикочевывали къ лѣсной опушкѣ и подъ шумъ деревьевъ сладко засыпали. Хозяева были не въ лучшемъ видѣ. Они вяло и сонливо, какъ осеннія мухи, ползали по дворамъ, около пустыхъ бочекъ. Торгашъ запрягъ свою рыжую клячу, сложилъ походную палатку и отправился въ городъ. И съ жалобнымъ скрипомъ покатилась по лугу его телѣга. Мальчуганы, главные герои закручьевскаго переполоха, въ числѣ 5—6-ти человѣкъ, были выдраны, и смуринская улица, послѣ залихватскихъ пѣсенъ, огласилась хлестомъ прутьевъ и жалобнымъ воемъ и визгомъ. Родители искусанныхъ ребятъ думали, было, жаловаться, да отдумали. Утро вечера, дѣйствительно, оказалось мудренѣе. Когда хмѣль вышелъ изъ головы, смуринцы про себя сказали Кряжеву „большое спасибо".

Да! Закручьевская обида вымѣщена на спинахъ мальчишекъ; стекло въ окнѣ кудряшевскаго дома вставлено такое же свѣтлое и хорошее, какое было и прежде, и трупъ черной собаки зарытъ за околицей. Повидимому, никакихъ непріятныхъ слѣдовъ враждебнаго столкновенія не осталось. Смуринцы заходили попрежнему по дѣламъ въ Закручье и изъ Закручья жаловали къ нимъ. Но порванная связь уже не возстановлялась. Смурино послушалось Митюху, пошло противъ Закручья, завело кассу и вслухъ грозило кулакамъ „хвосты прижать". Не забыть Закручью Николы вешняго, какъ и Смурину не вычеркнуть этого дня изъ своей бѣдной исторіи. Конечно, дѣло не въ окнѣ и не въ задушенной собакѣ. Все это могло быть пустымъ баловствомъ, могло не имѣть никакого серьезнаго значенія и легко позабыться, коль скоро виновники получили надлежащую казнь; но если смуринцы заводятъ кассу для того, чтобъ помогать другъ дружкѣ, а не кланяться Закручью... О! тогда другое дѣло! Тогда и мальчишескій набѣгъ съ гиканьемъ и свистомъ, и разбитое окно, и убитая соба-

ка получаютъ глубокій смыслъ. Смурино противъ Закручья войной пошло. Ясно! Черныя, закоптѣлыя кузницы хотятъ обойтись безъ тесовыхъ хоромъ, не хотятъ знать ихъ. Ну, такъ Закручье постоитъ еще за себя, потягается, и кто перетянетъ,—еще Богъ вѣсть. Въ тесовыхъ-то хоромахъ, на днѣ сундуковъ и въ завѣтныхъ кубышкахъ кое-что припрятано на черный день; хоромы тесовыя могутъ переждать невзгоду, да и невзгода-то плевая. Великое дѣло тысяча цѣлковыхъ...

— Немного наершатся! Погоди! Къ намъ же придутъ съ повинной, да поклонятся!—говорилъ Андрей Безпалый, поглаживая свою сѣдую бороду, и про себя договорилъ:—а ужъ тогда мы поприжмемъ, шкуру-то спустимъ,—свое таки воротимъ!

Такъ думали и всѣ закручьевскіе „лучшіе люди", и удивительное согласіе было у нихъ на тотъ разъ: думали всѣ, ровно одна голова.

Совсѣмъ не то было на Смуринѣ. Здѣсь крѣпкимъ единодушіемъ былъ проникнутъ лишь небольшой кружокъ; остальное же населеніе все ползло врознь,—кто въ лѣсъ, кто по дрова. Рѣчи Кряжева выслушивали почти всѣ охотно, иные поддакивали ему; но большинство въ глубинѣ души на касу особенныхъ надеждъ не возлагало и искоса поглядывало на Закручье. Въ кузницахъ были и работящія руки, и мѣха, и крѣпкіе молоты, и наковальни: но кузнецы все-таки боялись открыто ссориться съ тесовыми хоромами.

— Что съ однѣмъ рукамъ-то подѣлаешь!—разсуждалъ Василій Кряжевъ съ сосѣдомъ Макаромъ:—по нашему положенію выходитъ такъ, что руки-то не прокормятъ. Кажный разъ гвоздь-то въ городъ не повезешь. А желѣза гдѣ прихватишь? Нѣтъ, братъ, поклонишься въ поясъ, да еще не одиножды!

— Да вчерась, вотъ, пошелъ въ лавочку къ Прокудову, сахару, чайку прихватить, да калачиковъ малость... Не далъ, было!—говорилъ сосѣдъ.—Давай, говоритъ, на чистыя отпущу, а то нѣтъ! Окошко, говоритъ, допрежь того у Кудряшева вставь, а опосля, говоритъ, въ долгъ-то и забирай! Куда теперь безъ нихъ дѣнешься? Насилу ужъ сладилъ, свово Гаврюшку выстегать обѣщался...

— Ништо! Такъ и надо, не рѣпу сѣять!—одобрительно отозвался Василій.—Да вотъ и таперь за постнымъ масломъ къ Прокудову пойду. А какъ бы это я показался на глаза къ нему, коли бы ежели за мной что... И не подступайся лучше!..

И Василій шелъ къ Прокудову въ лавочку и бралъ въ долгъ постнаго масла. Шли и другіе и получали изъ Закручья все нужное. Закручьевскія лавки, повидимому, неохотно отпускали товаръ въ долгъ только „участникамъ", то есть, членамъ Товарищества. Давать, и имъ давали, потому что гнѣвъ самъ по себѣ, а барышъ самъ по себѣ, только давали какъ-то не полюдски, броскомъ да кидкомъ, что похуже да позалежалѣе. Тѣ, скрѣпя сердце, брали: нельзя было не брать. А вѣдьма Прокудиха, отпуская товаръ, такъ глядѣла на нихъ своими рысьими глазками, ровно съѣсть хотѣла. Происходили и стычки.

— Толокно-то экое нечистое!—замѣтила лавочницѣ жена одного „участника" потряхивая на ладони горстку толокна.

— Нечистое?—Такъ положь, положь назадъ!—Тебѣ говорятъ,—положь!— завизжала Прокудиха и, вырвавъ у бабы чашку, мигомъ высыпала толокно обратно въ мѣшокъ.—Проваливай, проваливай! Про васъ у насъ чище нѣтъ!—кричала лавочница, вся раскраснѣвшись и, повидимому, совершенно забывъ на этотъ разъ о барышѣ, которымъ она жертвовала для утоленія своей злости.

—Да, вѣдь я, Митревна, что-же... только такъ, къ слову! Вотъ-тѣ крестъ!—скороговоркой залопотала баба.

— И не дамъ, и не дамъ!—Хошь поколѣй, такъ не дамъ! Ни одной маковой росинки не получишь!—кричала Дмитріевна, сердито сметая съ прилавка пыль рукавомъ своей холстинной рубахи.

— Да что же этакъ ужъ больно...—Ей Богу—ну! — бормотала опѣшившая баба, выходя изъ лавки.

Такіе случаи, впрочемъ, были рѣдки и выпадали только на долю бабъ; по большей же части жажда барышей перевѣшивала гнѣвъ, и товаръ отпускался на чистыя деньги и въ долгъ. Въ долгъ отпускался еще охотнѣе, потому что при отпускѣ на книжку барышей перепадало чуть-ли не вдвое больше.

Закручье ясно видѣло, что Смурино съ ноги на ногу пошатывается, не ступая ни на ту, ни на другую сторону, выключая, конечно, „участниковъ". И тесовыя хоромы рѣшились извлечь всевозможную пользу изъ такого разлада между кузнецами, поразсорить ихъ—однихъ приголубить, другихъ поприжать. Формальнаго заговора не было, да онъ вовсе и не былъ нуженъ въ виду того единодушія,

какимъ проникло́сь все Закручье. Эти намѣренія были предугаданы на Смуринѣ немногими,—и первымъ Дмитріемъ Кряжевымъ. Но эти „немногіе“ также рѣшились выжидать и, до поры до времени, зубовъ не показывать.

X.

Кто съ борку—кто съ сосенки.

Было отъ чего смущаться Закручью, хмуриться и задумчиво покачивать головой. На всѣ рѣчи и дѣла Митьки Кряжева оно ужъ давно знало, какъ ему надо смотрѣть, и самымъ рѣшительнымъ образомъ махнуло на него рукой. „Сломать ему шею, каторжному! Туда ему и дорога!“ Не этотъ „отпѣтый“ занималъ теперь закручьевцевъ.

Въ самомъ Закручьи стоитъ у нихъ новенькій домъ съ мезониномъ, обшитый тесомъ, съ тесовой же кровлей и съ ярко раскрашенными ставеньками. И живетъ въ этомъ домѣ Илья Петровичъ Лисинъ, хорошо извѣстный по всей волости и даже дальше, крестьянинъ съ капитальцемъ, грамотный и говорунъ не послѣдней руки. И вотъ, этотъ самый Лисинъ, кулакъ, кулаковъ другъ и пріятель, сродственникъ Безпалаго, вдругъ вздумалъ кумиться съ кузнецами, заякшался съ ними и въ кассу записался.

— Диво, диво это!—говорилъ Антонъ Кудряшевъ Безпалому.—И чего онъ лѣзетъ къ нимъ? Вѣдь онъ передъ ними, ровно, на заднихъ лапахъ ходить собирается...

— Штука—этотъ Лисинъ! Вотъ-тѣ Христосъ!—отозвался Безпалый.

И вправду, Лисинъ былъ человѣкъ себѣ на умѣ, человѣкъ „новый“, поновѣе самого предпріимчиваго Кудряшева. Онъ дружилъ съ кулаками; все у него „куманекъ“ да „куманекъ“, и иной разъ, такія рѣчи заведетъ, такъ почнетъ разстилаться, словно готовъ за ихнее дѣло животъ положить. Со всѣми же вообще онъ былъ обходителенъ и тороватъ; ни одного, кажется, ругательнаго слова еще не слыхали отъ него по сю пору. „Глупецъ“ было самою поносною бранью, что срывалась съ его тонкихъ губъ. Онъ всякому еще издалека снималъ свой сѣрый картузъ, и всѣ его манеры, какъ и рѣчи, были мягки и напоминали собой кошачьи ухватки. Онъ ходилъ плавно, тихо и поминутно озираясь по сторонамъ. Ловокъ былъ Илья Лисинъ и игралъ смуринскими людьми, какъ шашками. Онъ рѣдко выпускалъ когти, но всегда почти добивался своего.

Отецъ Лисина былъ полѣсовщикомъ у стараго грайвороновскаго барина, жилъ въ лѣсу, въ дырявомъ шалашикѣ, и померъ тамъ на кучѣ гнилой соломы, оставивъ сыну пятишницу въ наслѣдство. Илья же, говорятъ, разжился съ того, что разъ въ базарный день, возвращаясь изъ города, нашелъ на дорогѣ кожаный мѣшочекъ съ деньгами,—рублей около тысячи. Указывали даже и владѣльца оброненнаго кошеля, одного борковскаго крестьянина; но уликъ, кромѣ слуховъ, не было никакихъ. Говорили, что Лисину не пойдетъ впрокъ кожаный мѣшочекъ, что изъ-за него скоро померъ съ горя борковскій крестьянинъ. Но добрые люди не угадали, находка пошла впрокъ. Лисинъ сталъ понемногу разживаться, въ гору пошелъ и скоро сталъ головой выше всего смуринскаго міра. Онъ, по своему многограмотству, служилъ писаремъ одно время и, вмѣсто старшины, правилъ волостью, а теперь состоялъ въ качествѣ земскаго гласнаго отъ крестьянъ черешинскаго уѣзда. Одинъ Богъ безъ грѣха; водился грѣшокъ и за Лисинымъ. Онъ почиталъ себя ученѣйшимъ человѣкомъ чуть-ли не во всемъ уѣздѣ и сильно желалъ и добивался, чтобы таковое же пріятное мнѣніе объ его особѣ раздѣляли всѣ. Лисинъ любилъ говорить покнижному, пускать пыль въ глаза, и, дѣйствительно, употреблялъ иной разъ такія мудреныя слова, которыхъ ни онъ, ни его слушатели не разумѣли.

Напрасно ломали голову закручьевцы надъ тѣмъ, для чего этотъ человѣкъ задумалъ тянуть за послѣднее время руку смуринцевъ.

— Оказія, братцы, да и шабашъ!—рѣшали кулаки.

Напрасно также съ разспросами подъѣзжалъ къ Ильѣ Петровичу и родственникъ его, Безпалый.

— Ты что, братъ, не наслѣдство-ли какое дѣлить съ ними собираешься?—сказалъ онъ разъ Лисину, какъ-то къ слову.—Что больно ужъ ластишься къ нимъ?

— Ничего я не лащусь!—нѣсколько недовольнымъ тономъ отвѣтилъ тотъ.—Что мнѣ ластиться? А кто ко мнѣ хорошъ, и я хорошъ до того... Смуринскіе ко мнѣ съ почтеніемъ ежели, такъ за что же я лаяться почну, ась? Съ чего это, примѣрно, зачну я зря собаченку дубасить? А она, поглядишь, руку тебѣ лижетъ, хвостомъ виляетъ, ровно въ дружбу къ тебѣ войти хочетъ...

— Да ты постой, постой! Не отлынивай, а говори дѣло! Съ чего собаку-то приплелъ? О тебѣ рѣчь, не о собакѣ!—возразилъ Безпалый, оттопыривая губы съ видимой досадой, что ему не удается подловить эту Лису Патрикѣевну.

— Это я тебѣ басню сказываю, а въ баснѣ—правда!—отрѣзалъ Лисинъ. — А ежели не смекаешь, такъ раскинь умомъ-то...

— Да ты не басню сказывай, а толкомъ...—перебилъ Безпалый.

Лисинъ только рукой махнулъ.

„Фу ты! Вотъ такъ бестія продувная!.. Ты съ нимъ о дѣлѣ, а онъ басни говоритъ...—Вотъ и поди, и толкуй! Ровно, вѣдь, и не смыслитъ, о чемъ рѣчь идетъ“... —замѣтилъ про себя Безпалый, да съ тѣмъ и отъѣхалъ. Впрочемъ, потомъ, все-таки, онъ съ увѣренностью говорилъ:

— Только попомните вы мое слово: обойдетъ онъ нашихъ смуринскихъ, во-о какъ обойдетъ, почище нашего: Илья—не дуракъ.

Закручьевцы знали, что Илья—не дуракъ, но, все-таки, Безпалому на слово не вѣрили.

Не мало еще смущалось Закручье дружбой Аггушки съ „каторжнымъ“. Этакій-то отчаянный человѣкъ возьми, да и свяжись съ Митькой Кряжевымъ! Ну, какого тутъ пути ждать? подумывало Закручье, посматривая вдаль, въ поле, гдѣ на отлетѣ стояла черная Аггушкина хатка.—„Чуетъ мое сердце, что нашъ Аггушка за одно съ участниками, хошь въ кассу и не записался!—раздумывалъ Прокудовъ.—Только въ томъ бѣда: не докажешь! А ужъ провѣдать бы мнѣ,—стурилъ бы я его съ земли въ шею и съ его проклятымъ Медвѣдкой!“—Подъ видомъ холодности, Григорій Ивановичъ таилъ къ племяннику самую лютую ненависть; но Аггушка, видно, лукавъ былъ и не думалъ выдавать себя головой любезному дядюшкѣ. И вотъ *красный чортъ, каторжный* и *лиса* сошлись вмѣстѣ. Эта почтенная троица пугала закручьевцевъ. Положимъ, „лиса“ съ „краснымъ чортомъ“ не дружила, но она дружила съ „каторжнымъ“, а „каторжный“ водился съ „чортомъ“,—значитъ, все было едино...

— Закручьевскіе-то шибко серчаютъ!—сказалъ Кряжевъ Лисину, повстрѣчавшись съ нимъ черезъ недѣлю послѣ праздника, у мельницы.

Лисинъ только съ улыбочкой подмигнулъ ему, словно молвить хотѣлъ: „видимъ, молъ, видимъ! Все видимъ да на усъ мотаемъ!“—Онъ тряхнулъ волосами, а глазки его заперебѣгали съ Кряжева на мельничную плотину и обратно.

— Только понапрасну они серчаютъ: ничего имъ не подѣлать! Потому, наше дѣло какъ есть правое!—заговорилъ опять Дмитрій, взглядывая на Лисина.—Ты какъ на счетъ этого, Илья Петровичъ?

— На счетъ чего это?—спросилъ тотъ, простодушнѣйшимъ образомъ, смотря Дмитрію въ глаза, а самъ, межъ тѣмъ, такъ и норовилъ заглянуть тому въ самую душу.

— Да вотъ что я говорю: вѣдь имъ ничего не подѣлать?

— Обыкновенно, ничего! — шопотомъ отозвался Лисинъ.—Антересно знать, что они могутъ...

— Только, Илья Петровичъ, понимаешь, надо за ними глядѣть въ оба...—замѣтилъ Кряжевъ.—У-у, какая пройдошная сволочь! Не приведи Богъ! Теперя, вишь, они все расчитываютъ, что мы съ кассой-то нарвемся...

Лисинъ выразительно взглянулъ на него и выразительно кивнулъ ему головой: „не безпокойся, молъ! Маху не дадимъ!“—Замѣтивъ, что Антонъ Кудряшевъ идетъ по улицѣ въ ихъ сторону, Лисинъ живо направился къ мельницѣ своей мягкой, кошачьей походочкой.

— Вечеромъ приходи къ Крестамъ... слышь!—вполголоса крикнулъ ему вслѣдъ Кряжевъ и, вскинувъ мѣшокъ на плеча, побрелъ къ мосту. А Лисинъ, не оборачиваясь, молча кивнулъ головой.

— Наше вамъ!—проговорилъ Кудряшевъ, повстрѣчавшись съ Кряжевымъ при спускѣ на мостъ.

— Добраго здоровья!—молвилъ Кряжевъ.—Здоровеньки-ли?

— Ништо, вашими молитвами.

— И слава Богу.

„Выжига!“—замѣтилъ про себя Антонъ Васильевичъ, опершись на перила моста и поплевывая Дмитрію вслѣдъ. „У самого, поди, кулаки зудятъ, а тоже съ почтеніемъ!“ подумалъ, въ свою очередь, Кряжевъ, взбираясь на смуринскій берегъ.

XI.

Будни.

Смурино принялось за работу. Старъ и малъ забрались въ кузницы, и однообразный стукъ молотовъ несся оттуда изъ поотворенныхъ дверей. Ковали взрослые, ковали мальчики-подростки, ковали дѣвочки. Кое-кто возился и на полѣ. Здѣсь должно замѣтить, что Смурино исчоки

вѣку занималось кузнечнымъ ремесломъ и именно гвоздарною отраслью этого ремесла. Земледѣльческое Смурино обратилось къ промышленности, вѣроятно, вслѣдствіе малоземелья, да и потому еще, что земля-то большею частью ужъ шибко плоха—каменистая да глинистая и въ засухи даетъ такія широкія трещины, что ребенокъ можетъ въ нихъ проступиться по колѣно. Только трудно сказать, почему предки современныхъ смуринцевъ избрали для себя средствомъ къ жизни именно кузнечное мастерство: желѣза вблизи нигдѣ не добывалось, а привозилось съ далекаго Урала.

Стащивъ мѣшокъ домой, Кряжевъ также отправился въ свою маленькую кузню. Развелъ онъ въ горнѣ огонекъ и, благословясь, взялся за молотъ. Полетѣли и забрызгали изъ-подъ молота искры, гвоздь за гвоздемъ живо выходилъ изъ Митюхиныхъ рукъ,—и уже порядочная грудка ихъ лежала около него на земляномъ полу и стыла, когда онъ съ трубочкой вышелъ изъ кузницы попрохладиться и вздохнуть вольнымъ воздухомъ. Онъ присѣлъ у входа въ кузницу на береговой бугорокъ, и, потягивая трубочку, глядѣлъ на тихую рѣчку, протекавшую у его ногъ. Возвышавшаяся за нимъ кручь заслоняла его и кузню отъ улицы и отъ глазъ идущихъ и ѣдущихъ. Выколачивая о каблукъ сапога трубку, Кряжевъ задумчиво посмотрѣлъ на закручьевскій берегъ. Тамъ, на зеленой муравѣ, на самомъ краю обрыва, сидѣла Евгенія съ какой-то работой въ рукахъ и, видно, не столько работала, сколько просто глазѣла по сторонамъ. Теперь ея темные глазки были пристально устремлены на Митюхину кузницу; она, повидимому, совсѣмъ забыла, что сидѣла надъ крутью, что ноги ея оставались на вѣсу, и ея бѣлые чулки видны были снизу, со смуринскаго берега, чуть-чуть не по колѣна. Съ минуту Дмитрій глядѣлъ на дѣвушку, на ея хорошенькую головку, на ея городское платье и бѣлые чулки и замѣтилъ:—„ишь ты, ровно королевна на престолѣ усѣлась!"—усмѣхнулся Кряжевъ, всталъ, потянулся и, позѣвывая, ушелъ въ кузню.

Евгенія глядѣла ему вслѣдъ, глядѣла на ту темную дверь, куда скрылся Кряжевъ, вздохнула и тутъ же вдругъ расхохоталась.

— Ай да кавалеръ!—вслухъ проговорила дѣвушка.

Она вспомнила, видно, Питеръ и тамошнихъ ловкихъ молодыхъ господъ, что съ тросточками бѣгаютъ по Невскому и такъ мило щурятся на барышень. Дѣйствительно, неприглядным и невзрачнымъ кавалеромъ являлся въ ту пору Дмитрій въ своемъ засаленномъ кожаномъ фартукѣ, съ растрепанными волосами и съ руками въ сажѣ.

Прокудовскія хоромы выходили окнами на рѣчку и почти на то мѣсто, гдѣ лѣпилась на смуринскомъ берегу Митюхина кузня. Поэтому нѣтъ ничего страннаго, что почти каждый день, если только не было дождика, Евгенію можно было видѣть надъ Вожицей, на обрывѣ. Мурлыча себѣ подъ носъ пѣсенки, она поглядывала на кузницы и спускала петлю за петлей...

Рабочій людъ собирался наужинать, когда къ Митюхиной кузницѣ сбѣжала съ берега Юлія, дѣвочка изъ барскаго дома, и, запыхавшись и раскраснѣвшись, какъ маковъ цвѣтъ, объявила Кряжеву, что она забѣгала, было, къ его избѣ, да изба заперта, что догадалась заглянуть въ кузню, что его очень надо барынѣ видѣть. Кряжевъ высунулся за дверь, посмотрѣлъ изъ-подъ руки на солнце и сказалъ дѣвочкѣ, что сейчасъ придетъ. Потушивъ огонь, Кряжевъ прибралъ гвозди къ сторонкѣ и заперъ кузницу. Уходя, онъ оглянулся на Закручье. Тамъ опять на обрывѣ сидѣла Евгеша, вся ярко освѣщенная на ту пору косыми, красными лучами солнца, опускавшагося къ лѣсу. Смуглымъ румянцемъ покрытое, Евгешино лице словно горѣло въ яркомъ свѣтѣ, и черные блестящіе волосы рѣзко отдѣлялись на зеленой муравѣ. Все это: и сама Евгенія, и песчаный, обрывистый берегъ подъ ея ногами, и золотомъ горѣвшія за нею тесовыя стѣны большихъ хоромъ, и сочная трава—будто на картинѣ только что было нарисовано, и свѣжія краски не успѣли еще совершенно засохнуть. Хотя Кряжевъ ничего не смыслилъ въ художествѣ, но эта картинка запала ему въ память.—„Чего она тутъ, какъ перстъ торчитъ день-денской!" замѣтилъ онъ про себя, взбираясь по протоптанной тропинкѣ на берегъ и идя къ своей избѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ уже входилъ въ кабинетъ Лизаветы Петровны.

— Сегодня въ ночь я уѣзжаю!—встрѣтила его госпожа уже въ сѣренькомъ дорожномъ костюмѣ, стоя надъ чемоданомъ.—Я хотѣла поговорить съ вами. Садитесь! Я сейчасъ...

И, дѣйствительно, она скоро уложила чемоданъ и попросила Кряжева покрѣпче стянуть его ремнями. Кряжевъ стянулъ.

— Ну вотъ и все!—сказала барыня, немного раскраснѣвшись отъ усталости и

усаживаясь на чемоданъ.—Надо заранѣе похлопотать о школѣ, чтобы открыть ее осенью! А, вѣдь, такія дѣла у насъ не скоро дѣлаются. Пока что, глядишь,—время и пройдетъ. Надо получить разрѣшеніе, подыскать учителя получше, насчетъ книгъ и всякихъ пособій... А вы, Дмитрій Михайловичъ, безъ меня тутъ позаботьтесь о флигелѣ, рабочихъ подыщите, прикупите матеріалу, все, что нужно.

Во все продолженіе этой рѣчи Дмитрій, съ нескрываемымъ удовольствіемъ, смотрѣлъ на барыню и лишь, молча, утвердительно кивалъ головой.

— Будетъ-ли у васъ времени-то?— вдругъ спросила Лизавета Петровна, отбрасывая назадъ свои короткіе, свѣтлые волосы и взглядывая на Кряжева.

— Какъ не быть! Будетъ... — просто отвѣтилъ тотъ.

— Ну, такъ вотъ и деньги! Это вамъ на всякій случай... И барыня положила передъ Дмитріемъ нѣсколько ассигнацій.— Очень-то не скупитесь! Пусть будетъ попрочнѣе, все, какъ слѣдуетъ...

— Для чего скупиться, коли деньги есть... — И Кряжевъ дважды тщательно пересчиталъ ассигнаціи, поднялъ съ полу клочекъ газетной бумаги и, завернувъ въ него деньги, спряталъ за пазуху.

Лизавета Петровна продолжала сидѣть на чемоданѣ, низко понуривъ голову, и лицо ея опять позавѣсилось прядями ея короткихъ волосъ. Дмитрій тоже сидѣлъ, молча перебирая пальцами полу своего кафтана.

— А что, у васъ новаго ничего нѣтъ?— спросила, наконецъ, Лизавета Петровна, не перемѣняя позы.

Выраженіе спокойствія, за минуту рисовавшееся на лицѣ Кряжева, быстро сбѣжало, а въ глазахъ, устремленныхъ вдаль, отразились забота и недоумѣніе.

— За робятъ-то я ужъ не больно стоялъ... — молвилъ онъ. — Потому, никакъ нельзя было. Кашу заварили ужъ больно густо. Того гляди, хуже бы еще вышло...

— Да! Я слышала!—тихо замѣтила барыня.

— Что тутъ подѣлаешь!

— А закручьевскіе?

— Что закручьевскіе! Зубы точатъ!— отвѣчалъ Кряжевъ. — На счетъ лавокъ насъ шибко прижимаютъ... Ѳедору, вонъ, подмоченнаго сахару отпустили; Устиньѣ затхлой крупы дали, да еще 7 копеекъ на нее насчитали... Извѣстно дѣло, своя рука владыка! Просто, ужъ я не знаю: участникамъ-то хошь свою лавку заводить, такъ впору...

— И заводите! — замѣтила Лизавета Петровна. — Если вы лавочку устроите, какъ сдѣдуетъ, не по купечески, такъ вы и другихъ-то къ себѣ перетянете. Берите только за провозъ, да прикащику жалованье положите, а тамъ и продавайте товаръ, сколько онъ вамъ самимъ стоитъ... Понимаете? Такія лавки въ другихъ мѣстахъ ужъ давно заведены.

— А мы какъ ничего не знаемъ, такъ намъ все и въ диво!—замѣтилъ Дмитрій.

Тутъ барыня, какъ умѣла, постаралась передать Кряжеву основанія потребительнаго общества. Кряжевъ внимательно слушалъ, и видно было по его нахмуренному лицу, что онъ ловитъ каждое ея слово и силится уяснить себѣ его смыслъ. Но уразумѣніе, повидимому, ему давалось нелегко. Барыня кончила, пообѣщавшись привезти ему изъ города такую книжку, въ которой объ общественныхъ лавкахъ все написано и объяснено.

— Т-а-акъ! Это вотъ вы ладно... А то вдругъ-то не сообразишь никакъ!—сказалъ Кряжевъ.

Затѣмъ онъ попращался съ Лизаветой Петровной, пожелалъ ей благополучнаго пути и пошелъ вонъ.

Смеркалось. Въ кузницахъ уже кончали работу, и Кряжевъ, лишь перенеся въ чуланъ гвоздь, накованный за день, пошелъ къ Крестамъ, гдѣ, сидя на бревнахъ, поджидалъ его Лисинъ.

XII.

На Крестахъ.

Крестами въ Смуринѣ называлась площадка, гдѣ пересѣкалась главная смуринская улица, шедшая вдоль Вожицы, съ проулочкомъ, продолжавшимся черезъ мостъ въ Закручье. На одномъ углу площадки стоялъ старый, позаброшенный постоялый дворъ съ кабачкомъ, сильно пришедшій въ упадокъ лѣтъ 5 тому назадъ, то-есть, съ той самой поры, какъ въ Закручьи Иванъ Прохоровъ построилъ новый постоялый дворъ, тоже съ кабакомъ. Хотя на старомъ постояломъ дворѣ мало останавливалось народу, но кабачекъ Лексашки Косого попрежнему посѣщался исправно. Насупротивъ кабачка, на другомъ углу улицы, третій годъ уже лежали бревна, предназначавшіяся на постройку новаго правленія или „расправы“, какъ звали на Смуринѣ. Правленіе было также неподалеку отъ Крестовъ. Вотъ здѣсь-то и любили смуринцы собираться по лѣтнимъ вечерамъ, послѣ работъ. Въ праздники

Кресты, положительно, превращались въ клубъ подъ открытымъ небомъ. Мужики толковали про свои дѣла, дѣвки пѣсни пѣли, пѣли иной разъ долго-долго за полночь, до румяной зари, а ребятишки играли въ городки или въ бабки. Двѣ большія развѣсистыя рябины оживляли это увеселительное мѣсто.

Въ тотъ вечеръ, о которомъ идетъ рѣчь, народу на Крестахъ было немного. Ребятишки дулись въ бабки, у кабака собралась куча мужиковъ. Двѣ бабы стояли въ сторонкѣ, и баба постарше учила молодуху:

— Въ тотъ день, въ кой приходится Благовѣщеніе, овецъ, матка, не стриги—и ни-ни!—говорила старуха.—Бабка моя въ такой-то вотъ денекъ почала ягненочка стричь, а онъ какъ вырвется у нея, да въ печку... А печь-то, голубка ты моя, топилась... Такъ онъ и сгорѣлъ! Вотъ оно что!

Молодуха стояла, пригорюнившись, и только головой покачивала.

Кряжевъ осторожно, съ оговорками, приступилъ къ Лисину, сообщилъ ему, что считалъ нужнымъ, на счетъ предполагаемой школы, объ участіи въ этомъ дѣлѣ Лизаветы Петровны, затѣмъ уже перешелъ къ общественной лавкѣ. Но о лавкѣ Кряжевъ толковать много еще не могъ, потому что и для него самого лавка, не на купеческій манеръ заведенная, безъ всякихъ торгашескихъ каверзъ и подвоховъ, представлялась неясно, въ какихъ-то туманныхъ, расплывающихся чертахъ. Лисинъ все смотрѣлъ себѣ на сапоги, наматывалъ на усъ и молчалъ, лишь изрѣдка протягивая: „Тэ-э-экъ-съ! Это точно! Сущая правда“... Предположеніе о школѣ онъ принялъ къ свѣдѣнію, обѣщалъ и самъ похлопотать, но Кряжевъ все-таки видѣлъ ясно, что лавка сильнѣе задѣла Лисина за живое, чѣмъ школа.

— Вотъ такъ та́къ!—сказалъ Илья Петровичъ, потирая руки отъ удовольствія и поглядывая вдаль по улицѣ, ровно на концѣ ея мерещилось ему что-то удивительно пріятное, отрадное для его сердца и для глазъ.

Онъ прищурился, сжалъ кулаки, сблизилъ ихъ и, повертывая ими такъ, какъ бы вилъ или крутилъ веревки, промолвилъ:

— Мы ихъ этой самой лавкой скрутимъ во-о какъ! Не пикнутъ!..

Лисинъ подмигнулъ, и нескрываемое лукавство отразилось въ его глазкахъ и въ тонкихъ губахъ. Но обычная мягкость его сказалась и на этотъ разъ: не было въ его словахъ той рѣзкости, какою дышали бы они въ устахъ другого человѣка, при подобныхъ же условіяхъ. При этомъ онъ развилъ, какъ могъ, передъ Кряжевымъ всю возможность и легкость устройства лавки. Лисинъ былъ искрененъ. Долго толковали они.

— Только, слышь, Петровичъ! Ты не обмани насъ! Человѣкъ ты съ головой. А чужая душа—самъ знаешь—потемки... Смотри!..—И Дмитрій указалъ рукой на небо.

Его черный палецъ, весь въ сажѣ, такъ выразительно указывалъ въ глубь синихъ небесъ, какъ будто бы тамъ, только одному Дмитрію видимо, присутствовало могущественное существо, котораго ни обмануть, ни провести нельзя было никому, даже самому Лисину. Такимъ задушевнымъ, слегка дрогнувшимъ голосомъ, высказалъ Кряжевъ свои послѣднія слова, въ которыхъ явственно звучали и надежда, и угроза, и боязнь, что Илья Петровичъ какъ-то вдругъ посократился и съежился подъ пристальнымъ, горячимъ взглядомъ. Черезъ минуту, оправившись, Лисинъ разсмѣялся своимъ дѣланнымъ, неслышнымъ смѣхомъ и проговорилъ:

— Какой же ты, ей Богу, ну! И чего только тебѣ въ голову не придетъ... Не обмани! Гм!.. Вишь какую еронію выпустилъ,—накось! Не обмани! Да я развѣ такой человѣкъ! Э-эхъ, Дмитрій Михайловичъ, право, ну!

Собесѣдники смолкли... На берегу Вожицы смуринскіе мальчишки перекликались той порой съ сынишкой Прокудова.

— Ты гдѣ, Петька, голову нашелъ?—спрашивали со Смурина.

— А ты гдѣ?—спрашивалъ въ свою очередь закручьевскій бутузъ.

— Я—въ жолобѣ...

— И я!—подхватилъ Петька Прокудовскій.

— Нѣтъ! А ты подъ жолобомъ!—кричали ему со смуринскаго берега.

— Нѣтъ, врешь! Нѣтъ, врешь!—пищалъ Петька.

Эта перекличка ясно разносилась по зарѣ. А Кряжевъ словно застылъ въ какой-то неопредѣленной, смутной думѣ: словно его охватилъ кошмаръ. Съ одной стороны, слова, хорошія дѣла, съ другой—лукавые, прищуренные глазки, ехидная улыбка и всегда ровный, мягкій, льстивый голосъ. Какъ тутъ быть? Чему вѣрить?.. И, вѣроятно, долго бы они еще просидѣли тутъ на бревнахъ, если бы хозяйка не кликнула Илью Петровича

ужинать. Собесѣдники распрощались и разошлись.

Въ то время съ барскаго двора съѣзжалъ тарантасикъ тройкой и быстро катилъ въ облакахъ пыли по дорогѣ въ городъ. Въ тарантасикѣ сидѣла Лизавета Петровна, разсѣянно поглядывая по сторонамъ и съ силой вдыхая въ себя свѣжій, весенній воздухъ.

Звонъ колокольчика издали донесся до Кряжева, когда онъ подходилъ уже къ своей хаткѣ. „Уѣхала!"—подумалъ онъ.—„Какъ это все у нея живо дѣется! Такая маленькая, сухонькая, а вишь ты!"...

Попозже дума Кряжева ударилась въ сторону и забрела далеко... „Недруговъ теперь много у тебя, Митрей Михайлычъ",—подумалъ онъ. „Будетъ и еще того больше... Ну, да и у меня подъ руками люди дюже добры... Коли не теперь, такъ когда же и тягаться!?"

И далеко, далеко въ ту ночь завели Кряжева его думы.

Книга вторая.

I.

Герой нашего времени.

Въ трехъ верстахъ отъ Смурина, на берегахъ той же рѣки Вожицы, не очень еще давно находилось имѣніе графовъ Верховыхъ, славившееся по всему околотку своимъ красивымъ мѣстоположеніемъ. Художники издалека пріѣзжали нарочно въ Каменево срисовывать его виды. Здѣсь былъ прекрасный барскій домъ съ колоннами, съ террасами. Кругомъ дома, съ трехъ сторонъ, тянулся роскошный садъ, раскинутый слишкомъ на 20 десятинахъ, а на полуденной сторонѣ былъ разбитъ великолѣпный цвѣтникъ. Длинныя липовыя и березовыя аллеи вперемѣшку съ соснами и елью, пересѣкаясь, расходились во всѣхъ направленіяхъ. Двѣ китайскія бесѣдки съ разноцвѣтными окнами красовались въ самыхъ тѣнистыхъ уголкахъ этого обширнаго сада. Двѣ большія статуи стояли у входа въ главную аллею, подъ тѣнью старыхъ, развѣсистыхъ сосенъ, и отъ этой тѣни еще рѣзче выступали ихъ бѣлыя, стройныя фигуры. По одной сторонѣ сада тянулись длинныя оранжереи. Всякихъ фруктовъ, вишенья и ягодъ была бездна. Десятки людей ухаживали за садомъ... Господа иногда по лѣтамъ жили въ Каменевѣ, и къ нимъ изъ города то и дѣло являлись гости; жаловалъ иногда даже и самъ губернаторъ и гостилъ дня по два и по три.

Въ описываемое же время, то-есть въ 1871 году, съ Каменевымъ произошли большія перемѣны или, лучше сказать, существовало уже не Каменево, а нѣчто совсѣмъ другое, чему на нашемъ языкѣ еще не прибрано имени. Оранжереи, китайскія бесѣдочки, статуи были снесены, и садъ обратился въ рощу; цвѣтники заглохли, заросли бурьяномъ и крапивой. Службы исчезли, и отъ прекраснаго барскаго дома не осталось и слѣдовъ: ни одной колонки не уцѣлѣло. Прежній громадный дворъ сильно посократился и весь кругомъ былъ обнесенъ такимъ высокимъ плотнымъ частоколомъ, что черезъ него не могъ проникнуть никакой самый проницательный взглядъ на свѣтѣ. Верхнія части забора были заострены, и перелѣзать черезъ эти острія могъ лишь тотъ, кто желалъ добровольно посадить себя на колъ. Ворота прочныя, тесовыя, съ желѣзными плинтами, вели во дворъ: но ворота, также точно, какъ и маленькая калиточка, обыкновенно оставались на запорѣ и день, и ночь. Во дворѣ, возлѣ самыхъ приворотныхъ столбовъ, денно и нощно сторожили страшныя цѣпныя собаки. На дворѣ виднѣлись три сарая громадныхъ размѣровъ и одноэтажный домикъ съ маленькими окнами, ставни которыхъ съ лицевой стороны были ярко раскрашены всѣми радужными цвѣтами, а съ другой—околочены толстымъ листовымъ желѣзомъ. Желѣзомъ же была крыта и кровля домика... Вообще же у этого поселочка былъ такой занимательный видъ, словно бы онъ выстроился въ какой-то пустынной странѣ, среди племенъ какихъ-нибудь кровожадныхъ дикарей, а не въ сосѣдствѣ со смиренными русскими деревнями. Поселочекъ былъ молчаливъ, грозенъ, неприступенъ: наличнымъ смуринскимъ силамъ, напримѣръ, взять его приступомъ было бы не легко. Не слышалось, какъ прежде, на этомъ поселочкѣ, по тихимъ лѣтнимъ вечерамъ, ни музыки, ни женскаго щебетанья, ни беззаботнаго, звонкаго

скаго смѣха: губернаторъ сюда въ гости не ѣздилъ, и дворъ и садъ не иллюминовались. Днемъ иногда слышно было, что какъ будто бы въ домикѣ кто-то зѣваетъ, зѣваетъ громко, протяжно, съ чувствомъ: иногда слышится отчаянное всхрапыванье, прорывается крѣпкое словцо—не то во снѣ, не то на яву, не разберешь... Гости сюда ѣздятъ все невеселые, оборванные. Иной разъ счетами кто-то застучитъ, или зазвякаетъ ключами, а не то и цѣпью гдѣ-то брякнутъ. Съ закатомъ солнца и дворъ, и домъ, и садъ погружаются во мракъ и безмолвіе. Съ вечера, впрочемъ, слышится еще сердитый, хриплый лай собакъ, а ночью,—ночью здѣсь тихо, какъ въ могилѣ.

Кузьма Ивановичъ Чирковъ здѣсь живетъ. Вотъ онъ, этотъ великій чародѣй, этотъ кудесникъ, словно метлой сметшій прекрасныя статуи и уничтожившій въ прахъ всѣ прелести Каменева. Вотъ онъ весь—съ толстымъ брюшкомъ, немного лысый, въ длиннополомъ, потертомъ кафтанѣ и съ пестренькимъ платочкомъ на шеѣ. Вотъ его жирное, красноватое лицо—на лицо не похожее, съ почтенной бородой и съ рѣдкими волосиками, подстриженными въ скобку, такъ что его бычачій затылокъ весь на виду. На спинѣ хоть горохъ молоти. Пальцы толстые, неуклюжіе, но, касаясь косточекъ счетовъ, они получаютъ такую бѣглость и легкость, какимъ позавидовалъ бы любой музыкантъ. Кузьма Ивановичъ тяжело дышитъ, жалуется на старость, на одышку и вздыхаетъ. Онъ то строгъ, то милостивъ. Заплывшіе жиромъ глаза его поминутно, гдѣ бы онъ ни былъ, ищутъ образа, какъ будто онъ всегда готовъ взять Бога въ свидѣтели. Онъ не сквернословитъ, не дерется и, разгнѣвавшись, начинаетъ лишь тяжело пыхтѣть и кривить на сторону ротъ. Онъ любитъ говорить о божественномъ...

Года три тому назадъ, Кузьма Ивановичъ скупилъ графское имѣніе и обработывалъ его въ настоящее время руками бывшихъ графскихъ крѣпостныхъ. Крестьяне у него были въ долгу, какъ въ шелку; кто забралъ деньгами, кто хлѣбомъ, кто землей, кто чѣмъ. Кузьма Ивановичъ охотно давалъ отсрочки, долгомъ не нудилъ, и должниковъ у него становилось годъ отъ году больше и больше. Крестьяне все лѣто и зиму работали на него, справляли по его поселочку всякія подѣлки, ѣздили въ городъ, и туда, и сюда. Прямо сказать, вышло какъ-то такъ, что крестьяне, переставши быть графскими, очутились чирковскими. Какъ, когда и кѣмъ это сдѣлалось, крестьяне никакъ дойти не могли, да они на это, правда, не очень и налегали. Кто бы ни подрадѣлъ—да подрадѣлъ. Дали имъ, было, волю, все какъ слѣдуетъ, честь - честью; а ночью, тайкомъ, прокрался къ нимъ Кузьма Ивановичъ, сцапалъ у нихъ эту волю, зажалъ въ свой кулачище, да и былъ таковъ. Отъ воли и живого духу не осталось. И въ самомъ дѣлѣ, между прежнимъ графскимъ порядкомъ и теперешнимъ, чирковскимъ, разницы, почитай, никакой не было.

Луга каменскіе были обширны, каменскія пожни залегали по рѣчному берегу;—сѣна на нихъ накашивалось сотни стоговъ. Кузьмѣ Ивановичу ничего почти не стоило скупать по осени у крестьянъ лошадей и коровъ. А скота по деревнямъ иной годъ сбывали много, когда кормъ родился плохо. По веснѣ Чирковъ опять распродавалъ скотинку; иногда даже такъ приходилось, что каждый заполучалъ свое. Чирковъ продавалъ скотъ, конечно, подороже, чѣмъ покупалъ, и даже очень подороже. Но крестьяне, все-таки, покупали и тѣмъ охотнѣе, что Чирковъ часть денегъ ждалъ до осени. А осенью, глядишь, скотъ опять задешево переходилъ къ нему и, мертвый узелъ затягивался годъ отъ году крѣпче и крѣпче. Иной мужичокъ за свою лошадь Кузьмѣ Ивановичу въ три года уже переплатилъ столько, что на тѣ деньги могъ бы безобидно завести цѣлую тройку и съ колокольчикомъ...

— Не люблю прижимать! Ну ихъ!.. По-божески тоже надо... — говаривалъ вслухъ Кузьма Ивановичъ, взглядывая на образъ.—Этакъ-то много поспокойнѣе будетъ...

Онъ также скупалъ хлѣбъ и на корню, и въ зернахъ и большимъ гуртомъ сплавлялъ его въ село Черноплятье, стоявшее на большой судоходной рѣкѣ, въ 90 верстахъ отъ Смурина. По этой рѣкѣ Кузьма Ивановичъ сплавлялъ по нѣскольку сотъ тысячъ пудовъ всякаго хлѣба ежегодно; будь то годъ урожайный или гибни весь край съ голода—это все равно! торговля шла своимъ порядкомъ. А крестьяне рады были продать ему послѣднія зерна для уплаты выколачиваемыхъ съ нихъ податей и оброковъ. Хлѣбъ плылъ изъ Черноплятья, карманъ Кузьмы Ивановича раздувался, народъ голодалъ, а въ пользу голодающихъ составлялись подписки... Чирковъ владѣлъ въ уѣздѣ еще нѣсколькими, довольно порядочными клочками земли, въ разныхъ мѣстахъ, верстахъ въ 30—50 отъ Каменева и далѣе. На каждомъ изъ

такихъ участковъ былъ построенъ хуторокъ, и въ хуторкѣ жилъ приказчикъ. Приказчики получали отъ 300 до 400 рублей въ годъ содержанія, справлялись каждый въ своемъ участкѣ безконтрольно, и даже самъ Чирковъ, наѣзжая по временамъ на хутора, не вмѣшивался въ ихъ распоряженія. Довѣряя денежную часть, онъ въ то же время разрѣшалъ приказчикамъ безвозбранно производить по хутору всевозможныя затраты, будучи въ полной увѣренности, что копейка ему рубль принесетъ. Этихъ приказчиковъ звали „молодцами", и у Чиркова такихъ молодцовъ было штукъ до 10. Кузьма Ивановичъ вѣрилъ имъ, надѣялся на нихъ пуще, чѣмъ на каменную стѣну. И молодцы „дѣйствовали" для хозяина изо всѣхъ силъ. Они притѣсняли крестьянъ всевозможными манерами и при наймѣ, и при покупкѣ, и при продажѣ, и при ссудѣ въ долгъ, и при уплатѣ долга. Казалось, вся ихъ душа, всѣ ихъ умственныя силы ушли на то, какъ бы выдумать какой-нибудь новый невиданный и неслыханный способъ надувательства, чтобы всѣ прочіе хозяева диву дались, а у крестьянъ искры бы изъ глазъ посыпались. Конечно, молодцы при этомъ упускали изъ виду ту истину, что не надо забивать и морить корову, если хочешь доить ее подолѣе. Они въ простотѣ душевной полагали, что было бы болото, а черти найдутся...

Распущенна, нагла и дерзка была въ свое время барская дворня, за то ее и звали вольницей. Но эта дворовая вольница добраго стараго времени блѣднѣетъ передъ современной вольницей—передъ молодцами Кузьмы Ивановича. Они распоряжаются въ своей сторонѣ, какъ въ чуждой землѣ непріятельской, и чѣмъ они ловчѣе и озорливѣе, тѣмъ дороже цѣнятся хозяевами... Напримѣръ, одинъ изъ молодцовъ Чиркова, Василій Лукьяновъ, „юркій, огневой" человѣкъ, ограбилъ одну женщину, а другую изнасиловалъ... Современная крестьянская поговорка гласитъ: „съ молодцами не вяжись",—и поэтому дѣло о грабежѣ и изнасилованіи, вѣроятно, никогда бы и не всплыло, если бы однажды, случайно, судебный слѣдователь, проѣзжая черезъ деревню, не узналъ—тоже случайно—о подвигахъ молодца и не началъ бы разслѣдованія. Василій Лукьяновъ былъ арестованъ. Для спасенія его, Кузьма Ивановичъ пустилъ въ ходъ всѣ свои пружины, и тайныя и явныя, и выскребъ-таки своего молодца, уже стоявшаго одной ногой на каторгѣ. И Чирковъ не мало похвалялся тѣмъ, что „ужъ онъ своихъ молодцовъ не выдастъ, ни-ни!" Когда же ему замѣчали, что, вѣдь, Василій Лукьяновъ просто разбойникъ, Кузьма Ивановичъ разсудительно возражалъ:

— Эхъ, други вы мои, дружочки! Овцы мнѣ и даромъ не надо, надо мнѣ пса, настоящаго пса, злющаго... Такое ужъ наше дѣло, значитъ!

Честный, добродѣтельный приказчикъ Кузьмѣ Ивановичу былъ совсѣмъ не нуженъ. Если ему попадался такой человѣкъ, что не кралъ у него ни копейки, но и не умѣлъ обшелушивать мужика, то Чирковъ ему тотчасъ же отказывалъ и, впослѣдствіи, толкуя съ благопріятелями, отзывался такъ:

— Человѣкъ-то хорошій, да не ловокъ... Какъ кому, а къ нашему дѣлу неспособенъ.

Къ дѣлу Кузьмы Ивановича былъ „способенъ" такой малый, который не остановился бы ни передъ какою мерзостью. Вотъ это—ловкій человѣкъ.—Правда, онъ и самъ украдетъ, но украдетъ легко, и не почувствуешь; за то и на хозяйскій пай лихо царапнетъ. А „неловкій-то" себѣ не наживетъ ни полушки, а хозяину-то пятакъ принесетъ,—ну и выходитъ, что самому ему цѣна грошъ.

У молодцовъ, кромѣ жалованья, были еще и посторонніе доходы. Хозяина шибко обворовывать было нельзя: чертямъ съ сатаной не тягаться. Такъ иной держалъ громадныя стада утокъ, индюшекъ, гусей,—благо содержаніе ихъ на хуторѣ почти ничего не стоило. Другой занимался барышничествомъ,—благо, опять-таки, прокормъ лошадей стоилъ пустяковъ. Третій занимался выучкой и перепродажей собакъ. Купитъ онъ собаку, бывало, за рубль, или дешевле, и начнетъ ее школить. Привяжетъ онъ ее, вооружится коломъ и начнетъ ее злить. Такія штуки продѣлываются ежедневно, пока собака не одичаетъ вовсе. И вотъ изъ кроткаго, добраго животнаго со временемъ выходитъ какой-то звѣрь лютый, мимо котораго пройти страшно. Такая собака очень дорого цѣнится кулаками,—и приказчикъ, глядишь, продастъ ее рублей за 6, за 8. На всѣ эти приватныя занятія своихъ молодцовъ Кузьма Ивановичъ смотритъ милостиво.

Въ концѣ концовъ, на повѣрку оказывалось, что на Кузьму Ивановича работали не одни смуринцы, худиновцы или граблевцы, а работалъ почти весь уѣздъ черешинскій.

Но, какъ уже сказано, Кузьма Ивано-

вичъ любилъ все дѣлать по-божески. Онъ былъ выходецъ въ той сторонѣ, чужой, и мѣстные кулаки, естественно, надъ нимъ имѣли перевѣсъ. Поэтому и захотѣлось ему на первыхъ же порахъ прославиться какимъ-нибудь добрымъ дѣломъ. „Пущай, молъ, знаютъ, каковъ я человѣкъ есть", думалъ онъ, поглаживая себѣ брюхо. Онъ зналъ, онъ чувствовалъ, что это необходимо, что безъ того тамошняя кулаческая мелочь постоянно будетъ надъ нимъ верхъ брать. Нужно было, чтобы народъ увидалъ въ немъ благодѣтеля, мужа мудраго и благочестиваго. Нужно было сочинить такой подвигъ, который былъ бы и славенъ, и обошелся бы подешевле. И Кузьма Ивановичъ оказался хорошимъ сочинителемъ. Прежде всего онъ обратилъ вниманіе на положеніе крестьянъ, пожалѣлъ ихъ, поахалъ, покривилъ ртомъ и, наконецъ, проявилъ себя благодѣтелемъ на дѣлѣ, уступивъ около 500 десятинъ земли граблевцамъ, смуринцамъ, чупыринцамъ и другимъ, въ „безплатное" пользованіе на годъ. И граблевцы, и чупыринцы и другіе безплатно такъ-таки и пользовались чужой землей, какъ своей собственной: подняли ее, распахали, хлѣбъ посѣяли, въ сусѣки собрали—словомъ, никакой каверзы не вышло. Чирковъ разомъ прославился по всему уѣзду.

— Что жъ! и то сказать... по-божески надо!—говорилъ онъ—и при этомъ красная рожа его дышала такимъ смиреніемъ и самодовольствомъ, что просто глядѣть было тошно.

Конечно, не легко было крестьянамъ справиться съ запущенной землей, и хлѣбецъ-то выросъ не больно хорошъ, чуть—чуть сѣмена собрали—ну да, вѣдь, даровому коню въ зубы не смотрятъ. Естественно также, что запущенная земля, послѣ годового „безплатнаго" пользованія, была приведена крестьянами въ надлежащее состояніе, и въ слѣдующій годъ Кузьмѣ Ивановичу пахать ее было уже легко, и хлѣбъ уродился изрядный. Чиркову за подъемъ земли пришлось бы заплатить подороже, чѣмъ за обработку обыкновенной пахатной земли, а ежели бы онъ запустилъ ее годъ-два, такъ земля поросла бы пырьемъ и всякой дрянью, такъ что и въ десять лѣтъ не проворотилъ бы ее... Стало быть, и доброе дѣло сдѣлано, и слава заслужена, и земля спасена. Но Кузьмѣ Ивановичу этого показалось мало. Ублаготворивши крестьянъ, онъ надумалъ еще послужить и храму Божію. Мысль эта застряла ему въ голову какъ-то великимъ постомъ. Подновить придѣлъ—хорошее дѣло! Вскорѣ послѣ Святой привозилъ онъ изъ города подрядчика, и тотъ уже сдѣлалъ смѣту. Оставалось только подумать о томъ, какъ бы ужъ не больно зарваться въ своемъ благочестіи и не шибко бы порастрясти свою мошну. Наконецъ, видно, Чирковъ надумалъ, потому что передъ Николинымъ днемъ чистосердечно открылся онъ отцу Петру.

— Проснулся я этто ночью...— говорилъ онъ, отмахиваясь и немилосердно моргая глазами.—Проснулся, а въ уши ровно кто шепчетъ: „послужи, Кузьма, храму Божію! Отецъ твой до церкви хорошъ былъ, и ты, значитъ, по немъ иди! Есть у васъ придѣлъ Ивана Богослова... Возьми да поднови его!" Проснулся... Чтой-то, думаю! Перекрестился на образъ. Гляжу—лампадка горитъ, а въ горницѣ, окромя меня, какъ есть никого!... Вижу: Богъ... Такъ, вотъ, этакъ лежу я и думаю: „пойду-кось я къ отцу Петру, откроюсь! Что ужъ онъ положитъ..."

И священникъ благословилъ Чиркова на богоугодное дѣло, не подозрѣвая тутъ никакого ехидства.

О таковомъ подвигѣ было въ свое время сообщено и прихожанамъ. Тѣ, особливо бабы, вдругъ возчувствовали къ Кузьмѣ Ивановичу какое-то умиленіе и кланялись ему послѣ обѣдни низко, низко. Теперь мелкое тамошнее кулачье уже не могло стоять ему на дорогѣ. Хотя Чирковъ, повидимому, и дружилъ съ Прокудовыми, съ Кудряшевыми и другими, но питалъ къ нимъ самую лютую ненависть и, спалъ и видѣлъ, какъ бы сокрушить, пожрать, истребить съ лица земли всю эту мелюзгу. Кузьма Ивановичъ былъ крупный хищникъ и не могъ видѣть безъ боли и зависти, какъ стая жадной мелюзги облѣпила добычу, которая, по праву, должна бы принадлежать сильнѣйшему.

Много за послѣдніе года повыросло на Руси такихъ поселочковъ, обнесенныхъ частоколомъ, словно крѣпостной стѣной, какъ поселочекъ почтеннаго Кузьмы Ивановича. Теплятся въ нихъ большущія лампадки, и озаряются ихъ красноватымъ сіяніемъ тяжелые серебряные оклады образовъ, и чуть-ли не пудовыя восковыя свѣчи зажигаются передъ ними въ праздники. И на желѣзныхъ сундукахъ, втихомолку потряхивая мошной, сидятъ въ этихъ поселочкахъ толстые, бородатые люди,—новые люди, жирные и кровожадные, какъ клопы...

II.

По-божески.

Въ свѣтлое майское утро, сѣрая лошадка, запряженная въ шарабанъ, везла Кузьму Ивановича изъ его поселочка по смуринской дорогѣ и, около погоста, остановилась у крыльца поповскаго дома. Поповскій сынъ, толстощекій мальчуганъ лѣтъ 10, въ сѣренькомъ засаленномъ халатикѣ, взялся подержать Сѣраго и тпрукалъ на него каждый разъ, когда тому вздумывалось тряхнуть головой, или переступить съ ноги на ногу. А Кузьма Ивановичъ, обливаясь потомъ, пилъ чай и толковалъ съ матушкой, въ ожиданіи отца Петра, отлучившагося съ требой.

— Стары мы... Нужно и о смерти подумать!—говорилъ гость, съ богобоязненнымъ видомъ ища глазами образа.

— Какая же ваша старость, Кузьма Иванычъ! Вамъ бы еще жениться впору! —замѣтила попадья, ухмыляясь.

— Господь помиловалъ...—скромно возразилъ гость.

Разговоръ шелъ вяло и туго, словно плохонькая лошаденка съ возомъ въ гору тащилась. Наконецъ, прибылъ и священникъ, и въ горницѣ сначала ничего не было слышно, кромѣ „слава Богу, ну, и слава Богу". Затѣмъ Кузьма Ивановичъ повелъ свои мудрыя рѣчи.

— Люблю по-божески...—говорилъ онъ. —Вотъ вы въ церкви, батюшка, сказывали, что помочь въ этомъ дѣлѣ не грѣхъ. Вы тогда хорошо это сказывали, я ужъ не припомню. Такъ вотъ, я ѣхалъ мимо, да къ вамъ на перепутье и заѣхалъ потолковать на счетъ дѣловъ-то нашихъ.

Однимъ словомъ, оказывалось, что Кузьма Ивановичъ спрашивалъ, не поможетъ-ли ему и отецъ Петръ церковными деньгами и, узнавъ, что церковныхъ суммъ будетъ рублей 400, выразилъ увѣренность, что церковь не откажется пособить ему, чѣмъ можетъ. Потомъ Чирковъ посовѣтовался съ отцомъ Петромъ на счетъ того, не составить-ли маленькой подписочки, авось кто-нибудь и изъ помѣщиковъ разступится,—хоть та же, напримѣръ, госпожа Водянина. Священникъ думалъ, что подписочку составить можно. Тогда гость тотчасъ же усадилъ хозяина написать ему по формѣ листокъ для сбора. Отецъ Петръ починилъ перышко, налилъ въ чернильницу воды, взболталъ ее и этимъ желтовато-бурымъ растворомъ написалъ на сѣромъ листѣ бумаги нѣсколько строкъ. Но это было еще не все: Чиркову приходилось подождать недѣлю-другую.

— А дровецъ я ужъ вамъ представлю, будьте благонадежны!—промолвилъ онъ, прощаясь съ попомъ.—И ежели что, только скажите... Я съ моимъ удовольствіемъ завсегда!

— Благодаримъ покорно! И то ужъ мы вами...—взвыла попадья изъ окна ему вслѣдъ.

Кузьма Ивановичъ кивалъ головой и погонялъ своего Сѣраго далѣе по смуринской улицѣ... Старшина на ту пору стоялъ на крыльцѣ правленія, обхвативъ рукой крылечную колонку, и, замѣтивъ еще издали Чиркова, снялъ шапку и замахалъ ему. Сысой Ивановъ былъ изъ породы великановъ и, своимъ грузнымъ туловищемъ, наполнялъ почти все правленское крылечко—и теперь, держась за деревянный столбикъ своею мощною рукой, онъ казался Самсономъ. Того и гляди, какъ двинетъ, такъ и разнесетъ въ щепы все досчатое крылечко. Когда шарабанъ остановился, старшина тронулся съ мѣста и, подойдя къ Кузьмѣ Ивановичу, протянулъ ему свою ручищу. Наклонившись изъ шарабана, Кузьма Ивановичъ вполголоса потолковалъ со старшиной, не однажды пожалъ протянутую ему ладонь и, поворотивъ коня, направился домой.

— Это ужъ не сумлѣвайся! Сварганимъ!—вполголоса добавилъ Сысой Ивановъ вслѣдъ удалявшемуся Чиркову.

А тотъ кивалъ головой и стегалъ вожжей Сѣраго.

Пріѣхавъ домой, Чирковъ плотно пообѣдалъ, выпилъ два ковша квасу и завалился спать, задернувъ предварительно ситцевый пологъ, висѣвшій надъ его кроватью.

Его жилая половина была невелика (двѣ большія комнаты, уставленныя дорогою мебелью, предназначались для важныхъ гостей и стояли пустыми). Въ переднемъ углу висѣлъ громадный образъ въ кованной, серебряной ризѣ, передъ которымъ всегда теплилась лампада, вмѣщавшая въ себя болѣе полуфунта масла. Небольшой сундукъ, весь окованный желѣзомъ, стоялъ въ углу, у стѣны, прикрытый сверху полинялымъ ковромъ. Никто, кромѣ хозяина, не зналъ, что въ этомъ сундукѣ лежало; только одно вѣрно, что Кузьма Ивановичъ очень любилъ сиживать на немъ и, сидя, погружаться въ какія-то, должно быть, весьма пріятныя думы, потому что лицо его въ тѣ минуты дѣлалось необыкновенно умильно; онъ вздыхалъ, пялилъ на образъ глаза, кто-то у него

текли слюни, и чѣмъ долѣе сидѣлъ онъ на этомъ желѣзномъ сундукѣ, тѣмъ сердце его, повидимому, все пуще и пуще смягчалось, и по лицу его все явственнѣе и явственнѣе разливалось чувство довольства и спокойствія. Красный шкапъ, столъ чернаго дерева, крашеные стулья, большіе стѣнные часы съ тяжелыми гирями на веревкахъ, портретъ митрополита Филарета на стѣнѣ и картина, изображавшая „Григорія Отрепьева въ корчмѣ", составляли убранство этого покоя. Душный воздухъ припахивалъ потомъ, лукомъ и деревяннымъ масломъ.

Возставъ отъ сна, Кузьма Ивановичъ подсѣлъ къ окну, приказалъ подать квасу и принялся зѣвать, отныхиваться и протирать заслѣпившіеся глаза. Вдругъ на дворѣ поднялось какое-то движеніе и мызганье. Кузьма Ивановичъ проворно распахнулъ окно и высунулъ въ него голову.

— Что, опять попали?—крикнулъ онъ.

— Худиновскія въ озимяхъ!—отозвались со двора.

— Ну, ну! Гони ихъ! Живо!...—скомандовалъ хозяинъ.

Приворотные псы скакали и, гремя цѣпями, заливались неистовымъ лаемъ. Съ лаемъ и визгомъ носились дворовыя собаки. Лошади ржали; слышался хлестъ нагаекъ по воздуху, и крупная ругань. Ворота съ шумомъ растворились настежь, и трое молодцовъ верхами, словно изъ-подъ земли выросшіе, пронеслись со двора, помахивая нагайками. Здѣсь слѣдуетъ пояснить, что на дворѣ Чирковскаго поселка, подъ навѣсомъ сарая, стояло обыкновенно нѣсколько осѣдланныхъ лошадей заволжскаго привода, извѣстныхъ между крестьянами подъ именемъ „заволжской скотины". Скотина была сильная и бойкая. Лишь сторожъ замѣчалъ, что крестьянское стадо ступило на хозяйскую землю, молодцы вскакивали на коней, мчались въ поле и, съ гиканьемъ, загоняли скотъ на дворъ. Это было дѣломъ ухорства. Даже поговаривали, что молодцы иной разъ такъ радѣли для хозяина, что и съ крестьянскихъ земель препровождали скотъ къ себѣ на хуторъ.

Такъ и на этотъ разъ, черезъ полчаса, съ дикимъ гиканьемъ и свистомъ, потрескивая нагайками, молодцы пригнали на дворъ коровъ, а пастушенко безъ шапки, босой, въ одерганныхъ портахъ, съ ревомъ бѣжалъ за ними. Напрасно пастухъ валялся на колѣняхъ передъ окномъ Кузьмы Ивановича, тотъ даже и въ переговоры съ нимъ вступать не хотѣлъ. Вечеромъ, передъ запертыми воротами поселка, много набралось мужиковъ и бабъ. На ихъ мольбы и слезы Кузьма Ивановичъ говорилъ такъ:

— Обижать никого не хочу напрасно, а хочу только свое сберечь! Поступать намъ съ вами надо по-божески. Не зорите же вы меня! Гляди, озими-то какъ отдѣлали,—страсть! Смотрѣть жалость! Чтожъ теперь мнѣ-то, а?..

Дѣло кончилось тѣмъ же, чѣмъ оно кончалось и всегда въ такихъ случаяхъ, то-есть, Кузьма Ивановичъ на кого денежный штрафъ наложилъ, кого пригласилъ боронить къ себѣ, кого наземъ возить, кого пахать. Скота было головъ до 50,—не мало, значитъ, работничковъ перепало въ тотъ вечеръ Кузьмѣ Ивановичу. Человѣкъ около 40 вписалъ онъ въ книгу, которая у него носила названіе „взыскательной". Ни Чирковъ, ни крестьяне никакъ не могли столковаться на счетъ поправки канавъ и изгородей. Не однажды обращались и къ посреднику за указаніями, да ничего путнаго изъ того не вышло. Посредникъ не любилъ, когда къ нему крестьяне приходили не во время и отрывали его отъ картъ; на всѣ доводы въ такомъ случаѣ онъ только фыркалъ и обѣщалъ „быть и устроить", но все еще не былъ и ничего не устроилъ. Впрочемъ, отъ такого положенія дѣлъ Кузьма Ивановичъ не терялъ: при бдительности сторожа и при ловкости молодцовъ, крестьянскій скотъ много потравить никогда не могъ, а штрафъ—штрафомъ.

Наконецъ скотъ угнали, ругань и проклятія замолкли, собаки угомонились, и все стихло на поселкѣ. Молодцы напились чайку, крѣпко поужинали и залегли спать. Залегъ и хозяинъ.

Ночь надъ поселкомъ; поселокъ спитъ. Не спитъ только сторожевой, сидя на „галдареѣ" у амбаровъ, подъ чугунной доской. Сидитъ онъ, свѣсивъ ноги съ перекладины, поникнувъ головой. Мѣсяцъ показывается изъ-за стариннаго, барскаго сада; въ заглохшихъ кустахъ какая-то птичка посвистываетъ, да лягушки квакаютъ въ пруду. Пусты и безмолвны запущенныя аллеи... Ставни въ домикѣ плотно закрыты; даже свѣтъ лампады не пробивается нигдѣ въ трещины. Двери заперты на замокъ, задвинуты засовомъ. Можно спать спокойно Кузьмѣ Ивановичу: частоколъ высокъ, собаки злы, молодцы его удалы. Никакіе страхи и ужасы пока не тревожатъ его сна, и легкій пологъ защищаетъ его отъ назойливыхъ мухъ и комаровъ.

III.

Ключъ не отпираетъ.

Флигель, отведенный владѣтельницей Грайворонова подъ школу, стоялъ въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ барскаго дома, тутъ же на дворѣ, у воротъ. Прежде въ этомъ флигелѣ жила какая-то старушка, родственница стараго барина; послѣ же смерти ея домикъ былъ запертъ, стоялъ пустъ, въ забросѣ, и тропинка, ведшая къ нему отъ барскаго дома, уже давнымъ-давно заросла травой. Узенькій коридоръ раздѣлялъ флигель на двѣ части: въ одной были двѣ чистыя комнаты, въ другой—кухня, довольно большая, и чуланы. Обойдя флигель, Дмитрій Кряжевъ сразу замѣтилъ, что въ настоящемъ жалкомъ видѣ домикъ не годился никуда. Надо было перебрать полы, а въ кухнѣ настлать вновь; стѣны слѣдовало проконопатить, сколотить потолокъ, наносить на чердакъ земли и поправить одну печь. Онъ подыскалъ рабочихъ и самъ съ ними принялся за дѣло. Приходилось спѣшить: и то уже рабочіе пошли только ради того, что посѣвъ ярового былъ конченъ, а возкой назьма можно было погодить. Мохъ, который надралъ Кряжевъ въ запрошлую осень для своей избенки, пошелъ на школу: теперь некогда было драть мохъ, и не было ему времени высохнуть. „Позябъ я зиму и нынче не замерзну!“ разсуждалъ при этомъ Кряжевъ. И вотъ, печникъ мялъ глину, какой-то старичокъ съ чувствомъ и толкомъ проконопачивалъ назы стѣнъ; струги стругали, топоры стучали, и заунывныя, безконечныя пѣсенки слышались во флигелѣ съ утра до ночи.

Кряжевъ былъ радъ послужить для школы. Онъ уже не разъ печаловался, что нѣтъ у нихъ на Смуринѣ школы. И теперь онъ видѣлъ, что его давнишнее желаніе не сегодня—завтра исполнится во-очію; откроется на Смуринѣ школа, пріѣдетъ учитель изъ Питера, или изъ Москвы, привезутъ книги и все нужное—и пойдутъ смуринскіе ребятишки въ школу набираться ума-разума, а то, глядишь, и Дмитрій пойдетъ съ ними въ ученье. И разскажетъ ему учитель про все. Вотъ отчего, не задумываясь, отдалъ Кряжевъ для школы свой сухой мохъ и рѣшился еще зиму зябнуть въ своей холодной хаткѣ, сидѣть въ ней въ полушубкѣ, или лежать на печи. Вотъ отчего Митюхина кузница стояла почти цѣлую недѣлю запертою, и не разводилось въ ней огня.

— Вотъ какъ этотъ флигель-то переходитъ!—толковалъ старикъ конопатчикъ. Я старую барыню еще помню... Послѣ нея домъ пустой стоялъ лѣтъ десять, больше... Въ тѣ поры горничныхъ дѣвокъ сюда стегать водили. А теперь, вишь, подъ школу...

Старикъ нюхалъ изъ своей берестовой тавлинки и принимался пробивать назы...

Въ концѣ недѣли, когда работы во флигелѣ оставалось уже мало, Кряжевъ пошелъ однажды по утру въ свою кузню, развелъ огонь и принялся за гвоздь. Время подходило къ обѣду, и Дмитрій доковывалъ послѣдки. Молотъ бойко работалъ въ его рукѣ, искры такъ и брызгали въ полусумракѣ кузницы. Онъ не замѣтилъ, что за нимъ, въ отворенную дверь, синѣло ясное небо, но, все-таки, сразу почувствовалъ, что какое-то темное тѣло загородило отъ него дневной свѣтъ. Кряжевъ опустилъ молотъ и оглянулся. Въ дверяхъ, не переступая порога, но слегка наклонивъ голову, какъ бы уже намѣреваясь войти, стояла Евгеша. Ея черные волосы порастрепались, и грудь тяжело дышала, словно бы дѣвушка бѣжала, сломя голову. Отраженіе-ли кузнечнаго огня, или дѣйствительный румянецъ игралъ на ея лицѣ—неизвѣстно, но только все ея лицо и уши, казалось, занялись заревомъ, когда Кряжевъ оглянулся на нее. Ея темные глаза, за минуту пристально устремленные на рабочаго, скрылись теперь за густыми рѣсницами. Мгновеніе Кряжевъ, молча, смотрѣлъ на дѣвушку.

— Вамъ что нужно?—спросилъ онъ наконецъ.

— Не можете-ли мнѣ ключикъ починить? Вотъ и замокъ. Не отпираетъ!—проговорила дѣвушка, вытаскивая изъ кармана небольшой заржавѣлый замокъ и оправляя свой бѣлый передничекъ.

„Ну, чортова дѣвка!“ подумалъ кузнецъ, поднимаясь со своего деревяннаго обрубка и близко подходя къ Евгешѣ.

— Ну-ко, покажьте!—сказалъ онъ, принимая отъ нея замокъ.

— Мнѣ сказали на деревнѣ, что только вы знаете, какъ это сдѣлать,—проговорила Евгеша, вытирая бѣлымъ платочкомъ свою шею и исподлобья взглядывая на кузнеца въ то время, какъ тотъ продувалъ ключъ и ногтемъ мизинца потрогивалъ бородку замка.

— Это я могу. Заходите завтра вечеромъ. Готово будетъ!—промолвилъ Кряжевъ, потряхивая въ рукѣ замочекъ. За-

тѣмъ, посмотрѣвъ вскользь на дѣвушку, спросилъ: „дома-ли ся дядя?“ и, получивъ отрицательный отвѣтъ, принялся смотрѣть на мутныя воды рѣчки.

— Завтра зайдите! — повторилъ онъ, слегка нахмурившись, и, отвернувшись отъ нея, пошелъ къ горну.

Идя домой, Княжевъ повстрѣчалъ всадника, рысцой проѣзжавшаго по улицѣ. Сѣрое драповое пальто неуклюже сидѣло на немъ, полосатые брюки были запрятаны въ короткіе сапоги съ порыжѣвшими голенищами, а синій суконный картузъ былъ сдвинутъ на затылокъ. По молодому, но шибко истасканному лицу его, по тусклымъ глазамъ и по красноватому кончику носа, можно было съ большимъ вѣроятіемъ заключить, что всадникъ любилъ выпить. Онъ немилосердно стегалъ, концомъ повода, по брюху и по шеѣ свою рыжеватую вятку и, поровнявшись съ Кряжевымъ, остановился.

— Здравствуйте, Дмитрій Михайлычъ! — проговорилъ онъ, притрогиваясь до козырька рукой.

Кряжева обдало запахомъ сивухи.

— Добро пожаловать, Семенъ Васильичъ! — отозвался Кряжевъ, тоже пріостанавливаясь.

— Изъ Ведрова вотъ... Антипкѣ клѣтку заказывалъ... Батюшка просилъ... — тянулъ всадникъ, отплевываясь и покачиваясь въ сѣдлѣ. — А флигелекъ-то подъ школу готовите?

— Подъ школу. А что?...

— Да такъ, ничего! Доброе дѣло... Это барыня, значитъ, на счетъ науки-то... гм! Доброе дѣло, доброе дѣло! Прутьевъ, знай, припасайте! — И Семенъ Васильевичъ тронулъ поводьями, насмѣшливо поглядѣвъ на Дмитрія.

— Да неужто жъ, Семенъ Васильичъ, безъ прутьевъ нельзя? Не скотину, чай, учить-то будутъ, а человѣковъ...

— Такъ, такъ! Барыня, значитъ... ну! Добре... — бормоталъ всадникъ, трогаясь въ путь.

„Экъ его, сердечнаго, развезло! Ой-ой-ой! Ой, горе — учитель!“ проворчалъ Кряжевъ, оглядываясь на ковылявшаго по улицѣ всадника. Тутъ Кряжеву показалось, что онъ сдѣлалъ промахъ. Но, вѣдь, шила въ мѣшкѣ не утаишь. Слухъ о поправкѣ стараго флигеля и о школѣ какъ-то необычайно быстро разошелся по околотку. Насмѣшливый взглядъ пьяненькаго учителя, его поддакиваніе не шли у Дмитрія изъ головы, а особенно явственно и долго отдавался въ его ушахъ хриплый голосъ, шептавшій: „доброе дѣло, доброе дѣло!“ Дмитрію сдавалось, что дѣло пахнетъ какъ будто не добромъ. Но въ то же время онъ успокаивалъ себя такими вопросами: развѣ рано-ли, поздно-ли не провѣдали бы о школѣ? Да и можно-ли помѣшать хорошему дѣлу? И кому школа станетъ костью въ горлѣ? И что бы подѣлали, ежели бы даже и нашлись противники?

Завалившись спать, Дмитрій долго проворочался въ ту ночь. Не больно веселыя мысли бродили у него въ головѣ. Смуринцы туго записывались въ кассу и съ пущей боязнью озирались на Закручье. А Закручье въ ту пору не только не косилось на кузнецовъ, а ровно бы подобрѣло. Зналъ Кряжевъ очень хорошо, откуда такая доброта взялась. Ужъ онъ и заговаривалъ кое съ кѣмъ изъ деревенскихъ, что „доброта ихъ хуже всякой напасти“... да что! даже брата не могъ онъ о сю пору уговорить записаться въ Товарищество. Хозяйка совсѣмъ застращала бѣднаго Василья.

Въ тотъ же вечеръ, передъ ужиномъ, Агафья допытывалась у мужа: „о чемъ съ нимъ утрось на рѣчкѣ Митюха говорилъ?“

— Да все о кассѣ! — задумчиво отвѣтилъ Василій.

— Поменьше бы тебѣ растабарывать съ нимъ. Здоровѣе было бы... Чего еще тутъ? Ужъ не переманить ему въ свою аравушку! Не переманить, да и не переманить! — тономъ непоколебимаго упрямства говорила жена.

— Ну, и то молвить: отъ закручьевскихъ мы добра-то тоже немного видали, а прижать они завсегда охочи... Что пустое молоть! — со вздохомъ проговорилъ Василій.

— Вона! Это Митька тебѣ! — взъѣлась жена. — Что еще выдумаешь? Пустая твоя башка! Бога-то хошь побойся, колько ни-на есть... Изъ-за его глупостей всѣ, вишь, въ петлю лѣзь... Не слыхалъ, можетъ, что про нихъ баютъ-то? Прокудиха онамеднись говорила: на чьи они деньги кассу-то завели? Грѣхи, грѣхи, прости Господи!..

— Извѣстно на чьи! Не воровскимъ манеромъ, чай! — отозвался Василій. — Барыня дала, да насобирали...

— Насобирали! — передразнила Агафья. Какъ же! Подставляй карманъ шире! У нечистаго они насобирали, вотъ гдѣ! И къ такимъ-то деньгамъ крещеные исто подступаются!

Агафья отплюнулась.

— Ну, мели, мели! — проговорилъ вполголоса мужъ.

— Нечего — „мели“... Ужъ по дерев-

нямъ сказываютъ, не мы однѣ!—тараторила Агафья.

— Это, значитъ, антихристъ по землѣ пошелъ,—продолжала она, присаживаясь къ мужу, на лавку. — Вотъ, кто на его руку станетъ, тому, вишь, и деньги выдаетъ. А опосля, какъ народу-то накопится у него много, онъ и почнетъ по всѣмъ волостямъ ходить, да печати прикладывать. Къ самой ладонькѣ печать приложитъ—и шабашъ. И ужъ отъ него не отмолишься! Потому, ему бы заманить только. А какъ черную-то печать наведетъ, такъ ужъ и полно... и ни-ни!

Агафья говорила все тише и тише. Теперь она сидѣла, подгорюнившись, и все глядѣла на щелеватый полъ. Василій громко позѣвнулъ.

— Ну-у, бабы! Эко языкъ-то! Ворочается—и ничего! Ей-Богу, право!—проговорилъ Василій не совсѣмъ твердо. — Давай-ко, добро, ужинать да спать...

А Агафья послѣ ужина еще долго вздыхала, мотала головой и кланялась въ землю передъ почернѣлой божницей.

На другой день, съ полудня, Дмитрій опять работалъ въ своей кузницѣ, а на закручьевскомъ берегу опять противъ самыхъ дверей его кузни сидѣла Евгенія, съ шитьемъ на колѣняхъ, и знай себѣ вдѣвала нитку въ иглу. Кряжева ей было не видать, за то тотъ каждый разъ, оборачиваясь къ двери, замѣчалъ черноволосую красавицу, видѣлъ песчаную круть, зеленый берегъ и надъ нимъ, видимую изъ маленькой, низенькой двери, полосу голубого, безоблачнаго неба. Кряжевъ поправилъ замочекъ и теперь вовсе не занимался дѣвушкой. Да и что она ему? Племянница Прокудова, городская, вертопрашная дѣвчонка... Смазливая, правда... да что жъ изъ того!

Вечеромъ, когда Дмитрій, по окончаніи работъ, сидѣлъ на самомъ краешкѣ берега и мылъ руки, по тропинкѣ сверху живо спустилась къ нему Евгеша.

— Что за работу возьмете?—спросила она, принимая отъ Кряжева замокъ и разсматривая его со всѣхъ сторонъ.

Рѣсницы ея дрожали замѣтно, словно бы она хотѣла посмотрѣть прямо, да не могла съ глазами сладить.

— Да что съ васъ взять! Я ужъ, право, не знаю. Работы немного было съ нимъ!—молвилъ Кряжевъ, кивнувъ головой на замочекъ, и посмотрѣлъ на Евгенію.

Та въ свою очередь тоже взглянула на него, и глаза ихъ впервые встрѣтились.

— Нѣтъ, вы скажите!—настаивала дѣвушка.—Съ чего же это вамъ даромъ... Нѣтъ, ужъ вы, пожалуйста!

— Да, право, не знаю. Отвяжитесь вы отъ меня, Христа ради! — съ какой-то странной усмѣшкой проговорилъ кузнецъ и, взваливъ себѣ на плечи коробъ съ гвоздями, сталъ подниматься по крутой тропинкѣ вверхъ.

Дѣвушка по низу прошла вплоть до моста и перебралась въ Закручье. Она была сердита, чѣмъ-то раздосадована. Ея губки надулись, и на смугломъ лицѣ ясно обозначилась, между бровей, такая же складочка, какая замѣчалась и на лицѣ Аггушки, когда тотъ серчалъ.

IV.

Смѣхъ и горе.

Прошла недѣля. Всякъ занимался своимъ дѣломъ. Дмитрій управился съ флигелемъ и поджидалъ барыню.

Наступило воскресенье.

Послѣ обѣдни, въ домѣ Лисина и на дворѣ его, сошлись, по обыкновенію, участники кассы; то было третье собраніе Товарищества. Кряжевъ сидѣлъ за столомъ и писалъ; Лисинъ обходительно толковалъ съ мужичками. Дымъ отъ трубокъ, отъ цымбалокъ и папиросъ клубами ходилъ по горницѣ и волнами уносился въ растворенныя окна. Шелъ оживленный говоръ, слышались ѣдкія, остроумныя замѣчанія, прорывался отрывистый смѣхъ. Глухой гулъ смѣшанныхъ голосовъ слышался на улицу. Кряжевъ писалъ, не поднимая головы; не мѣшалъ ему ни шумъ вокругъ него, ни дымъ, ѣвшій глаза, ни духота, ни жаръ. Подъ окномъ раздался лошадиный топотъ. Кто-то выглянулъ въ окно и сказалъ, что пріѣхалъ красногоркинскій учитель.

Вскорѣ показался въ дверяхъ и самъ Семенъ Васильевичъ, на этотъ разъ почти совсѣмъ трезвый. Онъ поздравствовался съ Лисинымъ, съ Кряжевымъ и еще съ двумя-тремя крестьянами и усѣлся на лавку, въ сторонѣ. Освѣдомившись, каково идетъ касса, и узнавъ отъ Лисина, что хорошо, онъ пожелалъ взглянуть на уставъ. Лисинъ со всею предупредительностью представилъ ему уставъ тотчасъ же. Положивъ тетрадку на подоконникъ, учитель сталъ пробѣгать ее, а мужички промежъ себя втихомолку переговаривались: „для коего шута принесло сюда этого“... Семенъ Васильевичъ, наскоро просмотрѣвъ уставъ, возвратилъ его Лисину. Поговорили о кассѣ. Учитель не однажды зам

тилъ, что это „хорошее дѣло“ и для бѣдныхъ людей много помощи можетъ оказать. Лисинъ, съ своей стороны, утверждалъ, что ихній околотокъ скоро процвѣтетъ, „яко цвѣтъ сельный“, что „правительство и министры охотно разрѣшили кассу въ селѣ Смуринѣ“, и что только недобрый человѣкъ и круглый невѣжда супротивъ такого благодѣянія можетъ итти. Лисинъ всласть наковырялъ всякихъ ученыхъ словъ и остался вѣсьма доволенъ собой. Онъ, вѣроятно, еще долго бы услаждалъ свой слухъ мягкими звуками собственнаго голоса, ежели бы учитель не поворотилъ круто разговоръ въ другую сторону.

— Вотъ и я, Илья Петровичъ, потому собственно и пріѣхалъ... Охота бы тоже къ вамъ въ кассу поступить!—сказалъ онъ.—Какъ бы это, а?

— Что жъ! Это, полагаю, можно будетъ... Пропагацды никакой тутъ нѣтъ!—послѣ минутнаго молчанія, промолвилъ Лисинъ, взглядывая исподлобья на Кряжева.—Только сегодня не успѣть. Сегодня и то ужъ мы закалякались: гляди, еще на часъ работы будетъ. Дмитрій Михайлычъ! Очередныхъ-то еще много?—обратился онъ къ Кряжеву.

— Человѣкъ пять еще!—отвѣтилъ тотъ, не поднимая головы.—Обѣдать захотѣлъ... что-ли? Хозяйка торопитъ?..

— Нѣту! А вотъ мы здѣсь съ Семеномъ Васильичемъ толкуемъ. Тебя бы надо!—отозвался Лисинъ.

Дмитрій подошелъ къ нимъ.

— У насъ, вѣдь, Семенъ Васильичъ, такъ!..—сказалъ Кряжевъ, когда ему объяснили, въ чемъ дѣло:—вы сегодня вотъ заявите, а мы въ будущее воскресенье насчетъ этого съ членами переговоримъ. Послѣ собранія и узнаете. А теперь сказать ничего не можемъ.

Когда учитель, распрощавшись, вышелъ на дворъ, насмѣшливая улыбка пробѣжала по его губамъ, и онъ какъ-то презрительно глянулъ на окна дома, гдѣ шумѣла касса, и откуда на ту пору сѣрыми волнами выносился табачный дымъ.

— Отцу благочинному, мое почтеніе!—крикнулъ ему съ крыльца Лисинъ.—Здоровеньки-ли? За дѣлами-то и не спросилъ...

— На спину все нынче жалуется, а то ничего!—отвѣчалъ Семенъ Васильевичъ, взлѣзая на лошадь.

За околицей онъ опять насмѣшливо улыбнулся, обругалъ кого-то „дурачьемъ“ и принялся хлестать немилосердно лошаденку. По дорогѣ онъ заѣзжалъ въ три кабака, въ каждомъ выпивалъ по два стаканчика и, пріѣхавши домой, вмѣсто ожидаемыхъ дядюшкою-благочиннымъ новостей, могъ только несвязно мычать.

Почти въ то же самое время Аггушка проходилъ по Закручью, намѣреваясь, за селомъ, перебраться черезъ Вожицу по камнямъ. Онъ, какъ и всегда, былъ въ своей истрепанной одежонкѣ, подпоясанной обрывкомъ веревки, босой и безъ шапки.

— Не изъ кассы-ли ужъ пробираешься?—окликнулъ племянника Григорій Ивановичъ Прокудовъ, увидавъ его изъ окна.

— Нѣту!—проурчалъ Аггушка, продолжая шагать по улицѣ.

— Подь-ка ты сюда!—крикнулъ Прокудовъ.

Аггушка почесался и неохотно завернулъ къ дядѣ во дворъ.

— Ну, что! Заборъ-то тамъ у ручья загородилъ?—спросилъ Григорій Ивановичъ, когда Аггушка усѣлся противъ него на лавку, у стола.

— Давно загородилъ!—молвилъ племянникъ.

— То-то! Каждую весну городишь, а проку нѣтъ!

— Давалъ бы еще погнилѣе колья-то!

— Гм! Съ тобой развѣ, парень, сговоришь! Не таковскій ты!..

— Это точно...

— И взаправду, знать, антихристъ народился... Всякая ижица впередъ азовъ лѣзетъ!—глубокомысленно замѣтилъ Прокудовъ.

Аггушка ничего не сказалъ на это, только облокотился на столъ и исподлобья поглядѣлъ на дядю. Съ минуту собесѣдники помолчали.

— Не хошь-ли въ носки, а?—спросилъ Григорій Ивановичъ.

— Давай, пожалуй!—согласился племянникъ.

Аггушкѣ съ перваго раза не повезло, и дядя дулъ его засаленными картами по носу до того, что аггушкинъ носъ скоро разгорѣлся на славу. Дядя хохоталъ, и отъ радостнаго смѣха все его тучное тѣло такъ и вздрагивало. Аггушка злился и не могъ скрыть своей ярости: губы у него такъ и подергивало. Прокудовъ видѣлъ это, и того пуще разбиралъ его хохотъ.

— А вотъ тебѣ, вотъ, да вотъ!—приговаривалъ дядюшка, нахлестывая племянника по носу.—Что горитъ, небось, переносье-то?

— Ничего, стерпимъ!—отзывался тотъ, стискивая зубы.

Но вдругъ счастье повернулось къ Аггушкѣ; онъ выигралъ.

— Ну, держись!—пробормоталъ онъ, вращая своими посоловѣвшими глазами.

— Ну! ты-жъ гляди, не шибко размахивайся!—сказалъ Прокудовъ, подставляя носъ.

Аггушка уже ничего не видалъ и не слыхалъ. Онъ, словно, опьянѣлъ. Ухвативши сколько попало картъ, онъ опустилъ одну руку дядѣ на плечо,—и вдругъ такіе хлесткіе удары посыпались на дядюшкинъ носъ, что Прокудовъ взревѣлъ отъ боли, ухватился одной рукой за носъ, а другой замахалъ на Аггушку. А тотъ стоялъ, наклонившись надъ нимъ, и внимательно, съ явнымъ злорадствомъ, глядѣлъ на него. Жилы на его загорѣлыхъ рукахъ напряглись, какъ веревки, ноздри раздулись, зрачки расширились, какъ у полоумнаго...

— У-у, дьяволъ! Змѣиное отродье!—вдругъ разразился Прокудовъ и задышалъ прерывисто и тяжело, точно загнанная лошадь.—Пошелъ къ чорту! Сломать бы вамъ шею всѣмъ! Подлецы! Прислужники антихристовы!

Аггушка разомъ какъ-то пожелтѣлъ изъ лица, хотѣлъ что-то сказать, но только махнулъ рукой и, выходя, такъ двинулъ дверью, что окна въ избѣ задребезжали.

По вечеру, Евгенія прибѣжала къ братниной хаткѣ и, заставъ ее запертою, рѣшилась обождать Аггушку. Она отдернула палку, которою приперта была дверца, и вошла въ избу. За нею тотчасъ же послышались шаги... Дѣвушка обомлѣла отъ испуга: въ избу за нею входилъ Дмитрій Кряжевъ.

— Нѣтъ его, что-ли?—спросилъ онъ, оглядываясь.

— Его нѣтъ!—отвѣчала дѣвушка, усаживаясь на лавку, подъ окномъ.

Дмитрій сѣлъ поближе къ двери и закурилъ трубку.

— Куда его унесло!—немного погодя, проговорилъ онъ, какъ бы про себя, выпуская клубъ дыма.

Евгеша промолчала: въ хатѣ нѣсколько минутъ было не слышно живого звука...

— Отчего это, Дмитрій Михайлычъ, вы никогда со мной не поговорите?—вдругъ съ слабой, мимолетной улыбкой замѣтила Евгеша.

— Да что мнѣ съ вами говорить!..—серьезно промолвилъ Кряжевъ, нажимая пальцемъ горячій пепелъ въ трубкѣ и съ силою разгоняя рукой дымъ. Онъ какъ бы немного смутился отъ прямого приступа своей собесѣдницы.—Извѣстное дѣло, вы—городскія... Что вамъ съ нами, мужиками, взять!

— Это вы такъ только говорите... Одежда-то у васъ деревенская, а вы на мужиковъ многимъ не похожи!—возразила Евгеша.

— А на кого же бы мы это похожи? Нѣшто на барина?—съ усмѣшкой спросилъ Дмитрій, уставясь глазами въ полъ.

Въ ту минуту въ сѣнцахъ раздались шаги, и въ избу вошелъ Аггушка—пасмурнѣе осенней темной ночи. Онъ распоясался, повѣсилъ на гвоздь веревку и опустился на скамью.

— Ахъ, братецъ! Что безъ тебя-то у насъ было, какъ ты ушелъ!—заговорила Евгенія, обращаясь къ Аггушкѣ.—Ужъ какъ дяденька ругался—страсть! Хочетъ тебя съ земли прогнать, избу грозится раскатить, и тебя въ расправу свести хочетъ... Ужъ и мнѣ-то отъ него попало... Все тобой попрекаетъ.

— Попомнитъ онъ меня! Я ему закажу!.. тихимъ, раздумчивымъ тономъ молвилъ Аггушка и не сказалъ объ этомъ въ тотъ вечеръ болѣе ни слова.

Сестра уговаривала его помириться съ дядей, но онъ упорно молчалъ и принялся снимать и переносить на вышку какіе-то сухіе пучки травы, висѣвшіе у него за перегородкой.

— А къ намъ, братъ, сегодня опять 4 человѣка записалось,—сказалъ Аггушкѣ Кряжевъ.

— А-а, ну васъ и съ кассой-то!—окрысился тотъ, разбирая спутавшіеся пучки травы.—Забавнѣе съ Гришкой въ носки играть. По крайности хошь человѣка въ жаръ вгонишь... Проберешь во-о какъ,—до слезъ.

— И не сообразишь, о чемъ ты тутъ... Этакія загадки все загадываешь!—замѣтилъ Кряжевъ.—Только, гляди: не пришелъ бы и ты къ намъ, когда ни на есть!

— Не милостыньку-ли просить?—язвительно усмѣхаясь, возразилъ Аггушка.—Ну, ждать долго; зубы позеленѣютъ. Нѣтъ, Митюха! Я ужъ скорѣе обворую васъ всѣхъ, чѣмъ подъ окнами съ коробушкой прошать пойду... А на кассу мнѣ на вашу наплевать! — И Аггушка дѣйствительно плюнулъ и пошелъ съ травой на вышку.

— Ну, каши съ тобой, надо быть, не сварить!—выходя, молвилъ Кряжевъ.

— Пойдемте къ Крестамъ!—прощебетала ему Евгеша, выходя за нимъ вслѣдъ.—Тамъ сегодня дѣвушки пѣсни поютъ...

— Что мнѣ тамъ дѣлать?—проворчалъ

Кряжевъ и подумалъ: „чего она привязывается, ровно банный листъ!“

— У-у, какой вы!—молвила дѣвушка, срывая съ земли желтый цвѣточекъ, и лукаво, какъ котенокъ, посматривая на Кряжева.

Кряжевъ нахмурился. Не могла, видно, Евгенія подобрать ключа къ Митюхиной душѣ; видно, хитро отпирался этотъ замокъ. „Каменный человѣкъ!“ думала дѣвушка... Молча, дошли они до села. Кряжевъ повернулъ къ своей избѣ, а Евгеша, мурлыча себѣ подъ носъ пѣсенку, прошла къ Крестамъ и тамъ до глубокой ночи просидѣла съ дѣвушками. Писарь балагурилъ съ нею и потчевалъ ее пряниками и орѣхами, но не ему улыбались ея темные глазки, и не отъ его сладкихъ рѣчей и вкусныхъ пряниковъ полымемъ занималося ея смуглое лицо. У Крестовъ долго за полночь слышались пѣсни и говоръ...

Въ тотъ же вечеръ Евграфъ Зайцевъ въ свою сѣрую тетрадку вписалъ еще одно стихотвореніе и въ немъ подчеркнулъ слѣдующій куплетъ:

«Скрылось солнце, скрылись рощи,
Скрылся милый видъ полей:
Но могу-ль сравнять мракъ нощи
Съ мрачностью души моей?»

А Кряжевъ съ вечера долго продумалъ о кассовыхъ дѣлахъ, о заявленіи красногоркинскаго учителя, о навязчивой дѣвкѣ и о томъ: кой чортъ вселился въ Аггушку...

V.

Смуринцы помогаютъ Кузьмѣ.

Сѣрое, пасмурное утро разсвѣтало надъ Смуринымъ. Мелкій, теплый дождь моросилъ, словно сѣялся изъ сита. Соломенныя кровли и темныя бревенчатыя стѣны отъ дождя потемнѣли еще пуще. Кое-гдѣ топились печи, и въ сыромъ воздухѣ припахивало дымомъ. По улицѣ, отъ избы къ избѣ, переходилъ сельскій староста, Гаврила Матвѣевичъ, и, стуча подъ окнами, сзывалъ народъ на сходку. Народъ собирался вяло. Наконецъ, передъ правленіемъ сермягъ сошлось довольно, и сходка состоялась. Тутъ сельскій староста, отъ лица старшины, предложилъ міру помочь Кузьмѣ Ивановичу Чиркову въ добромъ дѣлѣ. Надо было до 30 подводъ, чтобы съѣздить въ Чернопятье и привезти оттуда известку. Крестьяне очень хорошо чуяли, что такое предложеніе равняется для нихъ приказу и сильно понахмурились.

— Вѣдь, онъ, Гаврила Матвѣичъ, на свой счетъ взялся придѣлъ-то подновлять. Такъ сказываютъ. Ну, и пущай его самъ подновляетъ!—заговорилъ Дмитрій Кряжевъ, обращаясь къ старостѣ.—Для чего до насъ-то онъ добирается? Коли подводъ надоть, такъ найми! Легкое-ли дѣло, лошадей маять да телѣги ломать... Дегтю одного сколько изведешь! Три дня еще проваландаешься... Эку шутку сшутилъ: тридцать подводъ!—Нѣтъ, Гаврила Матвѣичъ, ты ужъ уволь міръ отъ этой известки.

— Да мнѣ что! Коли міру не любо, такъ такъ и скажемъ!—недовольнымъ тономъ замѣтилъ староста: старшина ему строго настрого наказалъ, чтобы подводы къ завтрему были непремѣнно выставлены.

„Самъ бы шелъ толковалъ... вотъ что!“ мысленно ворчалъ староста на Сысоя Ивановича, поглядывая искоса на Кряжева.

— Верстъ, чай, 80 будетъ!—молвилъ одинъ изъ толпы.

— Кабы не съ хвостикомъ!—замѣтилъ другой.

— А хвостикъ-то, примѣрно, какъ будетъ?—спросилъ третій съ усмѣшкой.—Этакъ, пожалуй, и цѣлая сотня набѣжитъ...

Сходка взволновалась и загудѣла.

— Для церкви Божіей послужите, не Кузьмѣ Иванычу!—пояснилъ сельскій староста.—Это ужъ точно, что такое дѣло, не понудишь! Коли совѣсть не зазритъ, такъ и толковать нечего! Вотъ и все.

— Поколь до рабочей-то поры и съѣздить!—вмѣшался Антонъ Кудряшевъ.

Прокудовъ, Безпалый, Иванъ Прохоровъ и другіе закручьевцы поддержали Антона, заявивъ, что они не прочь послужить храму Божію.

— Такъ пошто же онъ взялся на свой то счетъ дѣлать, коли для Бога на грошъ разступиться жаль?—вступился Кряжевъ. Мужики ему известки привезутъ, да еще, гляди, что ни на есть подѣлаютъ... Подписку, звона, по барамъ собираетъ. А тамъ и почнетъ величаться,—скажетъ: „все одинъ орудовалъ“. Для чего міръ-то морочить!

— Кто его морочитъ!—началъ, было, Безпалый.

— И какая такая подписка! Чего пустое-то болтать!—перебилъ Кудряшевъ.

— Не пустое, Антонъ Васильичъ! Знаемъ, что̀ говоримъ... Не на вѣтеръ пущаемъ!—съ твердостью возразилъ Кряжевъ.

Сходка раздвоилась. Часть перешла на сторону закручьевцевъ, часть пристала къ Кряжеву. Послѣднихъ сначала было больше, но затѣмъ, чѣмъ далѣе затягивалась сходка, тѣмъ ряды ихъ рѣдѣли пуще и пуще. Лисинъ помалчивалъ, переходилъ отъ одной кучки къ другой и вскорѣ совсѣмъ куда-то скрылся. Крестьяне видѣли, что, отказавши въ подводахъ, они вооружатъ противъ себя не только Кузьму Ивановича, но и старшину, и старосту, и писаря, и всѣхъ закручьевскихъ, безъ того уже точившихъ на нихъ зубы. Все Митюхино краснорѣчіе разбивалось о чувство страха къ сильнымъ. Въ душѣ всѣ соглашались съ нимъ, а послушаться его было все-таки боязно. Сходка позатянулась, такъ что мужики порядкомъ измокли, стоя на дождѣ, а бабы то и дѣло поглядывали въ ихъ сторону, опасаясь не на шутку, чтобы мужья „съ утра не назюкались". Наконецъ, міръ порѣшилъ такъ: „неволить никого не слѣдъ, а кто хошь—поѣзжай"...—Вотъ все, что могъ сдѣлать Кряжевъ, на этотъ разъ... 22 подводы отыскались тотчасъ же. Дмитрій, конечно, отказался и ушелъ домой. Отказался и братъ его, Василій, ссылаясь на свою хворость и на домашній недосугъ. Затѣмъ, староста объявилъ, чтобы вызвавшіеся ѣхать за известкой зашли до отъѣзда къ Кузьмѣ Ивановичу.

— Гм! Митюха-то, а?—язвительно замѣтилъ Прокудовъ, обращаясь къ своимъ.—Да ужъ знамо дѣло: Богу, алибо чорту служить... Кому-нибудь одному...

— Это такъ!—моргая глазенками, отозвался Андрей Безпалый.—Это ты на счетъ печати-то? Слышали мы тоже...

— Да, вездѣ говорятъ,—вмѣшался Кудряшевъ.—Вонъ онамнясь Онуфричъ съ Дѣдова приходилъ за виномъ... Такъ и тамъ, слышь, поговариваютъ... Смѣется, говоритъ: „печатей-то у васъ еще не прикладывали?" „Нѣтъ!" говорю. „Ну такъ, говоритъ, скоро *самъ* заявится! Ей-Богу, право—такъ и говоритъ.

Староста многозначительно покачалъ головой.

Оказывалось, что Кузьма Ивановичъ предлагалъ крестьянамъ свезти его хлѣбъ изъ Каменева въ Чернопятье по 2 рубля ассигнаціей за возъ. А отъ Смурина до Чернопятья, какъ сказано, считалось верстъ 90, а было, можетъ статься, и болѣе.

— Порожнякомъ же поѣдете! уговаривалъ Чирковъ.—А чтобы порожнякомъ вамъ пусто не ѣхать, я вамъ и навалю... Навалю я вамъ, братцы, немного, чтобы, значитъ, конямъ-то полегчае было. А денежки-то, глядишь, пригодятся. Такъ-то... По рукамъ, братцы, что-ли, а? Навалю, и съ Богомъ!..

— По малу ужъ больно дашь-то, Кузьма Иванычъ! Не сходно...—замѣтилъ одинъ изъ крестьянъ.

— Все одно мнѣ! Поѣзжай пустой, коли 2 рубля не сходно... Разбогатѣли, видно... и слава Богу!—отрѣзалъ Кузьма Ивановичъ.

И повезли смуринцы хлѣбъ Кузьмы Ивановича въ Чернопятье. Чернопятье было, какъ уже сказано, большое, торговое село, гдѣ у Чиркова находились хлѣбные склады. Пять дней потеряли смуринцы: свезли хлѣбъ ни за грошъ, даромъ привезли известку. А Чирковъ не дремалъ; задешево купилъ онъ для храма Божія кирпичей на заводѣ и для той же цѣли употребилъ кирпичи, уцѣлѣвшіе отъ графскихъ конюшенъ; дерева досталъ онъ даромъ; подрядчику за работу уплачивалъ изъ собранныхъ по подпискѣ денегъ и изъ церковныхъ суммъ. Вообще, подновленіе придѣла стало Чиркову не убыточно, а честь всетаки честью...

Толки на сходкѣ и рѣчи Митюхины, конечно, не прошли мимо его ушей, и онъ крѣпко намоталъ себѣ на усъ то, что завелся на Смуринѣ такой человѣкъ, который видитъ насквозь его благочестіе и его общественныя заслуги не ставитъ ни во что. „Погоди, дай время, голубчикъ!" мысленно обращался, бывало, Кузьма Иванычъ къ Кряжеву, посиживая на своемъ кованномъ сундучкѣ, какъ на тронѣ. „Постой! И до тебя доберемся!".

VI.

Васильево горе.

Дня черезъ три послѣ сходки, Агафья, Васильева хозяйка, поднялась до свѣту, поручила бабкѣ истопить печь и управиться съ обрядомъ и затѣмъ, не сказавъ никому ни слова, пошла изъ деревни позаоколицей въ поле, свернула на еле проѣзжую дорожку и направилась къ Борковскому лѣсу.

Тамъ, за лѣсомъ, въ 7-ми верстахъ отъ Смурина, есть мельница—и называется эта мельница Верейскою отъ того, что отъ нея неподалеку, на бугрѣ, до послѣдняго времени торчали двѣ черныя обгорѣлыя вереи—остатки отъ погорѣвшаго барскаго дома, красовавшагося нѣкогда здѣсь. Уже лѣтъ 20 тому назадъ, дворовые—братъ съ сестрой—сжалили

усадьбу. Братъ въ Сибирь ушелъ, сестра умерла въ острогѣ, а усадьба такъ и порѣшилась. Лѣтъ 8 тому назадъ, бывшій господскій староста, Андрей Полѣтовъ, прикупилъ у баръ, сверхъ надѣла, еще десятинъ 5 землицы, построилъ себѣ хату, вѣтряную мельницу, завелъ за мельницей липовую рощицу, устроилъ въ ней пчельникъ и обнесъ свои владѣнія высокимъ валомъ. Андрей Полѣтовъ слылъ въ околоткѣ за знахаря. Поговаривали даже, что къ нему изъ города господа въ коляскахъ пріѣзжали: кто зубы лѣчить, кто—что; лошадей порченныхъ и съ норовами приводили; не мало также и толстыхъ купчихъ пріѣзжало къ нему животы править. Андрею денежка-таки перепадала. Закладка новаго дома, свадьба и крестины также не обходились безъ него. Заболѣетъ-ли скотина, или къ человѣку какая-нибудь хворость привяжется, потеряется-ли у бабы холстъ, или телушка куда забредетъ, обойденная нечистымъ, съ ребенкомъ-ли что попритчится—за все, про все шли къ Андрею Полѣтову. Онъ же, значитъ, замѣнялъ и лѣкаря. (Въ Черешинскомъ уѣздѣ одинъ лѣкарь приходился на 100,000 душъ). Андрей получалъ съ крестьянъ вознагражденіе, по большей части, натурой, что для крестьянъ тоже было не безвыгодно. Онъ былъ вдовъ и бездѣтенъ и жилъ на своей мельницѣ, вдали отъ всякаго человѣческаго жилья, одинъ одинешенекъ съ чернымъ, старымъ котомъ и съ двумя грязными, косматыми дворняжками. Но отъ всякихъ напастей и озорства охраняло его вѣдовство, его знахарская слава.

Когда Агафья, набродившись по лѣсу и порядочно измокши, дошла до поселочка, Андрей готовился пустить въ ходъ свою мельницу-вѣтрянку и, кряхтя, поворачивалъ ее крыльями на западъ. Кончивъ свое дѣло, прикрѣпивъ къ столбу воротила толстой бичевкой и увидавъ, что крылья пошли, задвигались и застучали, мельникъ близко подошелъ къ Агафьѣ и посмотрѣлъ ей пристально въ лицо.

— Никакъ со Смурина... Да нешо никакъ Митрева невѣстушка? Глаза-то ужъ больно нонече плохи стали!—проговорилъ мельникъ глухимъ голосомъ и немилосердно щуря свои подслѣповатые глаза.

Это былъ старикъ лѣтъ подъ 70, но еще довольно крѣпкій, широкоплечій, средняго роста, съ небольшой лысиной и съ густыми прядями сѣдыхъ волосъ на затылкѣ и на вискахъ. Онъ былъ въ синей пестрядиной рубахѣ и сѣромъ азямѣ, обшитомъ по краямъ синимъ сукномъ... Его добродушное старческое лицо, все въ глубокихъ морщинахъ, сдѣлалось задумчиво, и кроткіе глаза его, едва мерцавшіе изъ-за густыхъ рѣсницъ, уставились въ землю, когда баба начала излагать ему свое горе. А горе то было большое... „Коровка, вишь, не пьетъ, не ѣстъ ужъ колькой день, все больше лежитъ, языкъ сухой совсѣмъ, ровно тряпка, а глаза такіе-то ужъ скучные, невеселые, что просто бы и не глядѣла лучше! А коровка-то одна только и есть...“ Андрей снялъ свою высокую, темнорыжую войлочную шляпу, замаранную въ мукѣ, провелъ рукой по лысинѣ разъ и другой и тихо спросилъ: „съ коего времени это съ ней прилучилось-то?“

— Пятый день, голубчикъ! Пятый день!—отвѣчала Агафья, утирая рукавомъ слезы и покраснѣвшій отъ слезъ носъ.—Измаялась я съ ней. Просто тошнехонько. Пособи ты, ради Христа!—и баба повалилась знахарю въ ноги.

— Запустили... Пораньше бы надоть... Ну, да ужъ пойдемъ, попытаемъ...—И Андрей пошелъ въ избу, а Агафья, плача, слѣдовала за нимъ.

Въ избѣ ничего не показывало, чтобы хозяинъ ея занимался знахарствомъ и вѣдался съ высшими, невидимыми силами. Только старый, престарый черный котъ сидѣлъ на лавкѣ и блеснулъ своими большими зеленоватыми глазами на Агафью, когда та переступала высокій порогъ. Въ избѣ все было на-чисто прибрано и подметено. Андрей сходилъ въ чуланъ, принесъ небольшой пучечекъ какой-то сухой, сѣровато-желтой травы, опрыснулъ ее водой, посыпалъ крупной солью и, захвативъ ее въ обѣ горсти, ушелъ въ темный уголъ, за печку, и началъ читать не то заклятье, не то какую-то молитву. Выйдя изъ-за печки, мельникъ бережно завернулъ траву въ бумажку и суровой ниточкой крѣпко-накрѣпко перевязалъ ее.

— Ну, съ Богомъ! Слушай теперь меня хорошенько!—началъ онъ шопотомъ, съ разстановкой и не поднимая глазъ, словно бы говоря про себя:—со двора ты не гоняй ея дня два или три: пущай поотстоится. Дай ей эту травку, да такъ, чтобы ни одна душа не запримѣтила. Потомъ, свѣжаго сѣнца давать хорошо, солью спрыскивать маненечко. Подстилочки свѣжей тоже хорошо бы. А бумажку я тебѣ дамъ съ прописью,—ты ее въ щелочку запихни куда ни на есть во дворѣ. Только гляди, не увидалъ бы кто...

Агафья опять повалилась въ ноги... А Андрей сходилъ въ чуланъ за бумажкой.

Бумажку и свертокъ баба бережно запрятала за пазуху, въ ту самую тряпицу, изъ которой только-что вынула и положила на столъ десятокъ яицъ и пять аршинъ холста.

— Не возьму, не возьму, не надо!— промолвилъ Андрей, рѣшительно помахивая рукой на яйца и холстъ.—Знаю я ваши достатки... Пошла, пошла! И безъ твово проживу...

Не уступилъ Андрей на Агафьины просьбы, не взялъ ничего.

— А Кряжевъ Митрій какъ живетъ-можетъ?—спросилъ онъ на прощанье у Агафьи; та сказала, что „живетъ помаленьку“.

Старикъ съ Дмитріемъ былъ въ очень добрыхъ отношеніяхъ,—и на Смуринѣ тому не мало дивовались.

„Боюсь, кабы не поздно...“ прошепталъ мельникъ и, опершись на огородъ, посмотрѣлъ вслѣдъ Агафьѣ; въ лицѣ его, чудилось, такъ и застыла какая-то глубокая, грустная думушка. Онъ промычалъ что-то, снялъ свою войлочную шляпу, перекрестился трижды и пошелъ на мельницу засыпать зерно, пользуясь крѣпчавшимъ вѣтеркомъ.

Когда Агафья уже подходила къ Смурину, къ Василью, поправлявшему соху, прибѣжали впопыхахъ ребятишки и сказали, что его „буренка, кажись, подохла,— свалилась у изгороди и не встаетъ“. Василья даже всего передернуло. Онъ не пикнулъ, а только вдругъ побѣлѣлъ, словно полотно. Онъ побросалъ доску и топоръ, что̀ были у него въ рукахъ, и бѣгомъ, безъ памяти, пустился въ поле. Туда же съ воемъ бѣжала и Агафья, оповѣщенная уже какою-то встрѣтившеюся бабой. А буренка лежала у изгороди, вся вытянувшись и оскаливъ свои бѣлые зубы; ея большіе глаза, словно заволоченные слезой, неподвижно уставились вдаль. Прибѣжалъ Василій, глянулъ и взревѣлъ, какъ малый ребенокъ. Крупныя слезы такъ и покатились по его лицу, губы такъ и задергало. Оперся онъ плечомъ о загородь и громко зарыдалъ. Агафья, сплескивая руками, стояла надъ коровой и сквозь слезы, какъ сквозь сѣрый туманъ, глядѣла на нее.

— Охти мнѣ, охъ! Тошнехонько!—причитала она, то наклоняясь надъ буренкой, то выпрямляясь и какъ-то судорожно перегибаясь всѣмъ тѣломъ назадъ.—Что теперича мы... О Господи, Пресвятая Богородица!.. Накось, о-охъ, сердечная ты моя! Ой-ой-ой!—И баба замотала головой и повалилась на траву.

Анютка ухватилась своими маленькими, худенькими рученками за материнъ сарафанъ и голосила благимъ матомъ. Вѣтеръ далеко, но напрасно, разносилъ по полю вопли и стоны.

Потрясающую картину глубокой насущной скорби представляла теперь эта несчастная семья; она лишилась своей последней коровы-кормилицы. Вотъ это горе, такъ горе. Что теперь, кромѣ квасу съ лукомъ, станутъ они хлебать въ скоромные дни? На чемъ они будутъ въ праздники печь овсяныя рогульки? Чѣмъ замаслятъ они себѣ кашицу? Что безъ удобренія выроститъ имъ поле? Не дѣланное, не выдуманное, а настоящее, тяжкое горе разразилось въ то сѣренькое утро надъ Васильевой семьей. Живая буренушка, стоившая 16 цѣлковыхъ, вдругъ стала падалью; пришлось содрать съ нея кожу и продать за два съ полтиной, а окоченѣлый трупъ стащить въ болото и тамъ поглубже зарыть въ землю...

Безъ коровки съ семьей нельзя было оставаться: надо было обзавестись новою. Безпалый предлагалъ, было, Василью за 20 рублей корову съ разсрочкой платы на полгода, да ужъ коровенка-то больно была плоха; рублей 13, 14—красная ей цѣна. Такъ или сякъ, а надо было рѣшиться и дать нажиться отъ своего горя Безпалому-ли, Кудряшову-ли, или другому кулаку. Ежели покупать, такъ ужъ теперь. Вотъ тутъ-то Дмитрій, улучивъ минутку, однажды вечеромъ зашелъ къ брату въ кузницу.

— Вотъ видишь что! Коли бы теперь ты былъ у насъ въ кассѣ,—вотъ подалъ бы ты заявку, что, значитъ, деньги тебѣ надобятся,—говорилъ Дмитрій,—представилъ бы ты двухъ поручителей за себя... нашелъ бы, вѣдь, поди? Потому, ты мужикъ работящій, не пьяница, не озорникъ какой,—и всякое домашнее обзаведеніе есть. Ну, въ воскресенье бы тебѣ и выдали! А опосля, знай, платилъ бы себѣ помаленечку. И выбралъ бы ты корову по своей волѣ, какая тебѣ полюбится. Вотъ оно что,—дѣла-то какія.

Но, вѣроятно, и на этотъ разъ Василій устоялъ бы отъ соблазна и въ кассу бы не записался, если бы не вышло у него съ Прокудовымъ одного дѣла. Взявъ у Григорія Ивановича наканунѣ Николы сѣмянъ, Василій, придя домой, зарубилъ для памяти на косякѣ черточку; эта черточка значила для него день косьбы. Вдругъ Василій случайно черезъ сосѣдей узнаетъ, что Прокудовъ считаетъ за нимъ два дня, а не одинъ. Василій за разгадкой своихъ

недоумѣній идетъ къ кулаку. Тотъ тоже говоритъ, что косьбы за нимъ два дня.

— Какъ же это, Григорій Иванычъ?— выговорилъ Василій, выпучивъ глаза.— Уговаривались-то мы на день—на одинъ...

— Я, вишь, знать, самъ выдумалъ, день-то насчиталъ на тебя, на бѣднаго!—съ насмѣшкой промолвилъ Прокудовъ.

— Надо быть, что такъ!—согласился Василій.

— Ахъ ты свинья, свинья! Вотъ оно добро-то и дѣлай людямъ... А они, вишь, на тебя же... Такъ какъ же? Я вру?

— Глянь въ бумагу-то!—замѣтилъ Василій, уже робѣя за свою смѣлость и мотая головой на божницу, гдѣ хранилась у Григорія Ивановича его записная книга.

Прокудовъ вытащилъ условіе и прочиталъ его вслухъ. По условію тоже выходило два дня. Василій былъ неграмотенъ, и сомнѣніе его сильно разбирало. Зазвали мимо проходившаго Лисина,—и тотъ прочиталъ условіе такъ же.

— Такъ два дня выходитъ!—дрожащимъ голосомъ проговорилъ Василій. — Ну, ладно... Благодарствуй, Григорій Иванычъ! Много довольны! Два дня ужъ отработаю тебѣ, а тамъ не поминай лихомъ!—И Василій понурымъ вышелъ изъ избы, но, переступивъ порогъ, вдругъ пріостановился, подумалъ мгновенье, сдѣлалъ шагъ назадъ и опять растворилъ дверь.

— Грѣха ты не боишься, видно!—сказалъ онъ грубо и жестко.—Креста на вороту у тебя нѣтъ... Истинно, кровопивца!

Василій стоялъ у двери, взявшись за скобку и обернувъ къ Прокудову свое закраснѣвшееся лицо.

— Подавиться бы тебѣ!.. Терпѣли довольно! Безбожная твоя голова! Старикъ исшо... и-ихъ!—и Василій, двинувъ дверью, вышелъ вонъ.

А Григорій Ивановичъ не могъ еще опомниться и притти въ себя: его словно угаромъ обдало, языкъ отнялся, и руки онѣмѣли.

— Ахъ, мразь проклятая!—прерывистымъ голосомъ заговорилъ онъ, продышавшись маленько.—Да это что же будетъ? Всякая-то гадина почнетъ рыло воротить! Это все „каторжный“ ихъ настрочилъ! Пущай же теперь идутъ къ нему. Пущай съ нимъ цѣлуются... Покажу я имъ, покажу-у! Анафемы!..

Лисинъ, молча, но выразительно прихлопнулъ себя по колѣну: „что, молъ, съ ними подѣлаешь!..“

Для Василья же изъ всей этой исторіи вышло добро: онъ рѣшился записаться въ кассу. Только Агафья не могла угомониться и на всѣхъ перекресткахъ галдѣла, что „Митюха сомустилъ у нея Василья“, что „придется Митюхѣ на томъ свѣтѣ отвѣтъ держать“. Но хозяинъ ужъ не слушалъ ея и на всѣ ея причитанья только рукой махалъ.

— Всяко можетъ случиться,—и богатый къ бѣдному постучится!—со вздохомъ приговаривалъ онъ.

Василій, какъ и всѣ смуринцы вообще, былъ рабочій скотъ, но такой скотъ, который чувствовалъ, мыслилъ и даже могъ мечтать. Но мечты были чудны и дики, какъ дикъ былъ самъ человѣкъ. Всѣ онѣ ворочались около хлѣба, гвоздей да денегъ: всѣ онѣ выливались въ самомъ аляповатомъ и грубомъ видѣ. Иной разъ, напримѣръ, Василій мечталъ: выйдетъ вдругъ такой указъ, что простятъ смуринской волости всѣ недоимки, сколько ихъ ни на есть, а съ бѣдныхъ крестьянъ, съ такихъ, какъ Василій, всѣ подати и оброки, и повинности сложатъ. Важная была бы штука! Не сталъ бы тогда Василій на закручьевскихъ работать, на себя бы работать сталъ, все бы домой понесъ. Глядишь, и избу бы новую состроилъ и оконницы бы свѣтлыя вставилъ, такія, какъ вотъ у Кудряшева или у Прокудова. Тулупъ бы новый на зиму завелъ, все, какъ слѣдуетъ. А вдругъ бы вышла еще такая воля: бери всякій себѣ по десяти десятинъ удобной земли и лѣсу. Ну, тогда бы совсѣмъ—шабашъ! Хлѣба бы хватало на круглый годъ, не пришлось бы замѣсто хлѣба мякину ѣсть, не пучило бы этакъ брюхо, и люди не помирали бы такъ шибко, какъ года три тому назадъ. А гвоздь гвоздемъ; вози въ городъ, на продажу,—благо дѣло не къ спѣху: ни кулакъ съ тебя не теребитъ, ни староста не тянетъ! Охъ ты, Господи, жизнь-то какая! Тогда бы, гляди, и помирать не захотѣлось!

Дикія и грубыя мечты! Но онѣ были, онѣ жили въ Васильевой душѣ, ничто не могло заглушить ихъ, или вырвать оттуда. Только онѣ чужого глаза боялись, на свѣтъ не показывались.

VII.

Подарокъ.

Въ воскресенье, послѣ обѣдни, опять, какъ водится, собралась касса; опять Кряжевъ, не разгибаясь, писалъ все утро, и табачный дымъ ѣлъ всѣмъ глаза. Василій, разумѣется, сейчасъ же былъ при-

нятъ въ члены Товарищества; принятіе учителя не состоялось.

— Земли у него нѣтъ, имущества тоже никакого...—говорилъ Кряжевъ.—Сегодня онъ при насъ, а завтра и Богъ знаетъ гдѣ. Одно слово,—человѣкъ съ вѣтру. Не крестьянинъ онъ! Пущай сами свою кассу заводятъ... Да къ тому и испиваетъ. На водку про него намъ не напасти капиталовъ... Ну его!

Лисинъ, принимая въ расчетъ, что учитель родной племянникъ благочиннаго, не прочь былъ принять его въ Товарищество. Того же мнѣнія держались и еще нѣкоторые члены. Но большинство стояло за Кряжева. Когда Семенъ Васильевичъ явился въ собраніе, Лисинъ съ сожалѣніемъ объявилъ ему о результатахъ его заявленія.

— Что будешь дѣлать? Члены порѣшили!—политично отозвался Лисинъ.—По чести сказать, я говорилъ за васъ!

— Это все, поди, Дмитрій Мыхайлычъ... Это онъ противъ меня? Знаю.

Лисинъ не возразилъ, лишь хитренько усмѣхнулся...

Чертыхаясь, поѣхалъ учитель изъ Смурина съ недоброжелательствомъ къ Митькѣ Кряжеву и съ твердымъ намѣреніемъ пожаловаться дядюшкѣ. Заступничество за міръ, за общественные интересы съ каждымъ новымъ днемъ прибавляло Кряжеву новыхъ враговъ.

А съ закручьевскаго берега попрежнему, съ лаской и участіемъ, задумчиво смотрѣли на него темные глазки. Евгенія попрежнему въ рабочіе дни сидѣла на берегу, на своемъ обычномъ мѣстѣ, и слѣдила за Кряжевымъ. Дѣвушкѣ все пуще и пуще нравился этотъ красивый, смѣлый и умный крестьянинъ. Правда, она не разумѣла Митюхиной души, но все же таки видѣла, что онъ мужикъ не спроста, не заурядная птица, не смуринскаго поля ягода. Евгенія была не глупа, умѣла подмѣчать... Смуринцы его слушаются, закручьевскіе его терпѣть не могутъ: одни его шибко хвалятъ, другіе ругаютъ его такъ, какъ еще, кажется, никого не ругивали. На усадьбѣ онъ, говорятъ, первый человѣкъ, къ барынѣ ходитъ, когда вздумается, чай у нея пьетъ и говоритъ обо всемъ. По всему этому питерячка отличала Кряжева. Она поминутно слышала, что Дмитрій „каторжный, безпокойная голова", и сама была не прочь думать, что Кряжевъ и въ самомъ дѣлѣ безпокойная головушка. Онъ какую-то кассу заводитъ, закручьевскихъ обижаетъ. Онъ съ Андреемъ-мельникомъ знается, можетъ быть, и съ нечистой силой кумится. Можетъ быть, антихристъ на него и печать свою ужъ положилъ. Все-то онъ норовитъ сдѣлать не такъ, какъ вообще на деревнѣ дѣлается. Взялъ, вонъ, вдругъ да раньше Николы засѣялся. На Смуринѣ до той поры раньше Николы никто еще не засѣвался; Кряжевъ первый переступилъ Николу вешняго. Думали: „вырастетъ-ли ужъ у него что ни на есть?" Выросло,—да еще какъ важно-то! Еще и хвастается, что раньше всѣхъ управился съ яровымъ... Что до всего этого было Евгешѣ? Ей полюбилась эта безпокойная головушка, шибко полюбилась.

Только напрасно Евгеша ломала голову, какъ бы ей ухитриться—сблизиться съ этимъ человѣкомъ, переступившимъ Николу. Въ Закручье онъ ходитъ рѣдко, на Крестахъ не бываетъ, сидитъ въ кузницѣ или дома, на крылечкѣ у себя, играетъ на гармоникѣ, а ежели и выйдетъ на улицу, такъ все о чемъ-то съ мужиками толкуетъ. Встрѣтилась она съ Кряжевымъ, правда, у брата раза два-три, перекинулась словечкомъ-другимъ, да ничего изъ того не вышло. Кряжевъ неразговорчивъ съ нею, сердитъ, все хмурится, отворачивается, а если что и молвитъ, такъ ровно нехотя, ровно изъ-подъ палки. Дѣвушка нарочно яркой пунцовой лентой подвязала свои темные волосы, и концы лентъ распустила по плечамъ; сережки въ ушахъ, словно жаръ, горятъ. И не смотритъ. Евгеша не знала, о чемъ бы съ нимъ молвить, чтобы половчѣе вышло, чтобы онъ развеселился. Разсказывала она о Питерѣ и сама много смѣялась, а онъ, ровно каменный, и не пикнетъ; можетъ быть, слушаетъ, а можетъ быть, и нѣтъ. Говорила она о дядиныхъ дѣлахъ,—тоже ни отвѣта, ни привѣта; даже о кассѣ спрашивала и дождалась отъ него только нѣсколько короткихъ и сухихъ „да" и „нѣтъ". Эта холодность еще пуще разжигала дѣвическую страсть. Евгеша не отчаявалась добиться своего.

Во-первыхъ, она знала, что Дмитрій не женатъ и ни съ какой женщиной „не живетъ"; иначе, на деревнѣ говорили бы, ибо за Дмитріемъ съ закручьевскаго берега поглядывали въ оба и ни одного темнаго пятнышка въ немъ не пропускали безъ замѣчаній и ругани. Значитъ, соперницы Евгешѣ нечего было бояться... Во-вторыхъ, осколочекъ зеркала, въ который она смотрѣлась каждый день не по одному разу, поддерживалъ ея надежды... „Нѣтъ! Ты мертвымъ-то не прикидывайся! Пройдемъ!" мысленно говаривала она ему. Кряжевъ же просто сторонился

нея потому, что не находилъ, на чемъ бы и для чего было бы сходиться ему съ этой питерячкой, съ племянницей закручьевскаго кулака. Пригожа—правда, да что жъ изъ того? Мало-ли на свѣтѣ пригожихъ дѣвокъ!

Въ то воскресенье, какъ Василій поступилъ въ кассу, Дмитрій по вечеру побывалъ у Аггушки, объявилъ ему о томъ, что братъ и еще два ведровскихъ записались къ нимъ въ кассу, и выслушалъ отъ того глухое ворчанье, имѣвшее тотъ смыслъ, чтобы „они убирались отъ него ко всѣмъ чертямъ". Возвращаясь на деревню, онъ повстрѣчалъ Евгешу и хотѣлъ, было, молча пройти мимо, какъ та прямо подошла къ нему и почти загородила ему дорогу.

— Вотъ вамъ за ключъ! Вѣдь вы курите, такъ вамъ пригодится! — молвила дѣвушка, подавая ему бисеромъ вынизанный кисетъ для табаку.

— Ну-у, это слишкомъ дорого будетъ, коли кузнецы постольку за работу получать начнутъ! — возразилъ Кряжевъ, не принимая кисета, и попятился немного назадъ.

— У меня денегъ нѣтъ. А это вы возьмите! — настаивала дѣвушка, насильно впихивая въ руки Кряжеву кисетъ.

— Да не за что! Для чего я возьму?— отказывался Дмитрій, съ недоброжелательствомъ поглядывая на кисетъ, оставшійся у него въ рукѣ.

— Ну, такъ хоть на память возьмите. Я сама его шила...—тихо промолвила дѣвушка и чуть не бѣгомъ пустилась отъ него по дорогѣ къ братниной хаткѣ.

— Фу, ты, дьяволъ!—прошепталъ Кряжевъ, растерянно оглянувшись на дѣвушку и съ досадой потряхивая на ладони кисетъ.—Видно, что въ Питерѣ живала!

Впрочемъ, придя домой, Кряжевъ бережно уложилъ бисерный кисетъ на дно своего старенькаго сундучка, перешедшаго къ нему по наслѣдству еще отъ дѣда, во всю крышку котораго, внутри, была наклеена раскрашенная картинка, изображавшая на бѣломъ конѣ Георгія Побѣдоносца, поражавшаго змія.

И долѣе, чѣмъ Кряжевъ ожидалъ, мерещилась ему въ тотъ вечеръ пригожая, навязчивая дѣвчонка.

VIII.

Отрѣзанный ломоть.

Въ половинѣ іюня возвратилась Водянина и пріятно удивилась, что флигель подъ школу уже совсѣмъ готовъ. Она нашла учителя, закупила книгъ и всякихъ учебныхъ принадлежностей и расчитывала, что разрѣшеніе на открытіе школы скоро послѣдуетъ.

Кряжевъ той порой принялся возиться надъ устройствомъ общественной лавки. Обѣщанную книжку Лизавета Петровна привезла ему, и онъ ее внимательно прочелъ не однажды, потолковалъ съ барыней и все, наконецъ, уразумѣлъ досконально, что ему было нужно. Теперь забота шла уже съ другой стороны. Лисинъ, такъ горячо ухватившійся, было, за лавку, предлагалъ устроить ее въ своемъ домѣ: помѣщеніе у него большое, онъ торговое дѣло знаетъ и не прочь, за малое вознагражденіе, послужить для міра. Онъ обѣщалъ даже дать въ долгъ на первое обзаведеніе рублей полтораста. Дмитрій же находилъ, что удобнѣе будетъ помѣстить лавку на смуринской сторонѣ, а не въ Закручьи, и указалъ на Ѳедора Горѣлаго, какъ на человѣка знающаго и надежнаго. Лисинъ зналъ, что „Ѳедоръ точно человѣкъ аккуратный и съ головой", но полагалъ, что у Ѳедора помѣщенья будетъ мало. Разсужденія о мѣстѣ позатянулись, и дѣло кончилось тѣмъ, что Илья Петровичъ уступилъ. Но тутъ вдругъ оказалось, къ несчастью, что обѣщанныхъ денегъ Илья Петровичъ дать не можетъ, потому что раньше весны у него, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, свободныхъ не будетъ. Съ Кряжевымъ Лисинъ по прежнему состоялъ въ дружбѣ, захаживалъ къ нему, зазывалъ къ себѣ, толковалъ о лавкѣ, о томъ, о семъ, подсмѣивался надъ закручьевцами. Но Дмитрію чудилось, что Лисинъ сталъ меньше заниматься лавкой съ той поры, какъ было рѣшено помѣстить ее у Горѣлаго.

— Это по мнѣ все единственно! — съ веселымъ, беззаботнымъ видомъ толковалъ Илья Петровичъ, перебѣгая глазками туда и сюда и никуда не смотря въ особенности.

А Кряжеву думалось, что Лисинъ далеко не такъ холодно и равнодушно относится къ этому вопросу. Выходило такъ, что Лисину хотѣлось помѣстить лавку у себя и все дѣло захватить въ свои руки. Впрочемъ, отстаивая Горѣлаго, Дмитрій и не помышлялъ обороняться отъ Лисина; онъ просто находилъ лучше помѣстить лавку на смуринкомъ берегу и дать лишній заработокъ бѣдному, честному малому. Только теперь Кряжевъ сообразилъ, что Илья Петровичъ, хлопоча о лавкѣ, о себѣ хлопоталъ и имѣлъ на общественныя деньги какіе-то свои собственные виды.

Прямыхъ уликъ на лицо не было, но Кряжевъ все-таки съ пущей осторожностью сталъ водиться съ своимъ хитренькимъ союзникомъ. „Поколѣ онъ намъ нуженъ, потолѣ и стану за него держаться. Теперь онъ на руку намъ. А какъ разварзаемся съ нимъ, такъ можно и по шапкѣ!..“ Не могъ Кряжевъ положиться на Лисина, никакъ не могъ столковаться и съ Аггушкой. Тотъ прямо говорилъ ему, что онъ за всѣ ихъ кассы и лавки гроша ломанаго не дастъ, что наплевать ему на всю эту благостыню. Правда, Кряжевъ всегда находилъ у Лизаветы Петровны доброе слово и совѣтъ; но барыня часто о чемъ-то грустила, сидѣла задумавшись. Не могла же она повѣрять свои чувства и думы кузнецу. Да и къ тому же, она и въ Грайвороновѣ пробыла не долго—всего недѣлю, и опять уѣхала въ Петербургъ, пообѣщавшись возвратиться черезъ мѣсяцъ.

Кряжевъ томился порой. Одиночество его тяготило. Работая у себя на дворѣ, въ лѣсу или въ полѣ, или сидя надъ горномъ въ своей темной, низкой кузницѣ, онъ живо ощущалъ это одиночество. Ему казалось, если бы онъ былъ не одинъ, дѣла можно бы было передѣлать страхъ сколько! Если бы еще у него были книги подъ рукой, да если бы хватало у него времени читать ихъ, знать, какъ живутъ, о чемъ думаютъ и что подѣлываютъ люди на бѣломъ свѣтѣ, въ другихъ мѣстахъ, тогда, можетъ статься, одиночество не давало бы ему знать себя такъ сильно. А теперь онъ отъ одного берега отсталъ, къ другому не присталъ; ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ. Вотъ развѣ школа поможетъ ему къ другому берегу причалить... Положеніе было незавидное, нерадостное. Закручье на него зубы точило, начальству своему онъ не потрафилъ; Чирковъ, отецъ благочинный и другихъ много недруговъ только и ждали, какъ бы подставить ему ногу, смять и затоптать. Лисинъ выглядитъ Іудой, хоть и прикидывается другомъ: ему пальца въ ротъ не клади! А Аггушка и въ правду чудной человѣкъ...

— Я никакъ въ толкъ не возьму...—говорилъ ему намедни Аггушка.—Чего тебѣ такъ любо, да радостно? Завелъ ты кассу, выдаешь по грошу,—заплату на портки развѣ положить хватитъ! Потомъ, теперича лавка опять... Шиломъ вѣдь, братъ, воды не нагрѣть...

— Скажи ты мнѣ, Аггуха, Христа ради, вотъ что: какого тебѣ рожна еще надоть?—съ задумчивой, тихой усмѣшкой возразилъ Кряжевъ.—Ты, кажись, самъ не знаешь, чего тебѣ охота...

— А и то, вѣдь... Мнѣ иной разъ и самому доподлинно такъ сдается...—промолвилъ Аггушка.—Только какъ, знаешь, погляжу я на закручьевскія хоромы, такъ вотъ ровно всю душу и воротитъ! А кассы, да лавки имъ все-таки не на задній зубъ!

Очевидно, что „чудной“ въ помощники и въ союзники Кряжеву не годился; но Кряжевъ не унывалъ. Не такого сорта былъ онъ человѣкъ, чтобы охать и опускать руки. Для того въ немъ слишкомъ было много силъ.

Сидя въ кузницѣ, онъ находилъ время для думъ; онъ выковывалъ гвоздь за гвоздемъ, глаза и руки его были заняты, а голова работала. Немудрено, что здѣсь, у кузнечнаго горна, Дмитрій принималъ свои рѣшенія, строилъ свои планы и надежды. Самая работа давала ему досугъ, просторъ для размышленій. Очень можетъ статься: обработывай онъ свой несчастный клочекъ земли—этотъ глинистый и каменистый клочекъ почвы,—и онъ былъ бы двойникомъ брата Василья. Былъ бы онъ лишь посильнѣе да позлѣе...

Затѣмъ, житье въ столицѣ, частыя хожденія въ городъ много помогли ему развить наблюдательность. Кряжевъ много видѣлъ и много думалъ. Онъ лучше цѣнилъ настоящее положеніе своихъ смуринцевъ и отношеніе ихъ къ Закручью, чѣмъ многіе ученые, спеціально посвятившіе себя разработкѣ вопроса объ улучшеніи быта сельскаго населенія. Кряжевъ совершенно ясно видѣлъ, какъ Закручье обираетъ смуринцевъ, зоритъ ихъ; смуринцы же принуждены волей-неволей кланяться Закручью и работать на него. Смуринцы несли Закручью болѣе, чѣмъ отдавали казнѣ, и трепетали Закручья чуть-ли не пуще, чѣмъ всякой власти—свѣтской и духовной.

. . . . . .

Закручье тутъ и есть, подъ бокомъ: тамъ и лавка, тамъ и хлѣбушко,—да и писарь со старшиной на той сторонѣ... Грозенъ и не милостивъ закручьевскій богъ! Онъ послѣдній сараишко раскатитъ, послѣднюю овцу со двора сведетъ, послѣдній тулупъ съ плечъ стащитъ... „Ровно, вѣдь, колесо какое заведено! Такъ идетъ и идетъ!“ въ изумленіи, бывало, раздумывалъ Кряжевъ, вглядываясь въ безвыходное положеніе смуринцевъ.

Митюхина кузница почасту стояла запертою. Хозяинъ ея хлопотахъ о

лавкѣ. Понадобилось ему не однажды и въ городъ гонять своего Чалаго, туда и сюда. Много было затрудненій, обидъ и всякихъ мелочныхъ непріятностей. Около 100 рублей у Кряжева было своихъ, 100 рублей ему ссудила Лизавета Петровна. Надо было выхлопотать торговое свидѣтельство, переговариваться съ городскими купцами, добиться у нихъ кредита. Но кредита онъ не добился, благодаря отчасти лавочнической подозрительности и недовѣрію, отчасти же проискамъ закручьевскихъ кулаковъ, напугавшихъ своихъ городскихъ собратій. Впрочемъ, черезъ недѣлю послѣ Петрова дня, кое-какъ пополамъ съ грѣхомъ, лавочка открылась въ домѣ Ѳедора Горѣлаго. Вывѣски, правда, не было; но и безъ вывѣски на смуринской сторонѣ всякій зналъ дорогу къ избѣ Горѣлаго...

Закручьевскія бабы законошились и зачали языки чесать.

— Товары-то какіе у нихъ, слышала?— говорила Прокудиха золовкѣ Андрея Безпалаго, стоя на порогѣ своей лавки и подпершись руками въ бока.—Все бракъ, да оборышъ. Сахаръ-то, голубушка ты моя, подмоченный, неспорый, такъ и сыплется, ровно песокъ... И сладости тоись ни-ни. Патока наша вкуснѣе будетъ...

— И чай-то оченно ужъ не хорошъ, совсѣ-ѣмъ какъ трава!—подтвердила молодуха, ополаскивая кадушку и стоя на крыльцѣ, съ заголенными выше колѣнъ ногами.—Дрянь, какъ есть... Гляди еще, кабы не отравиться; помрешь, чего добраго!

— Ой, голубонька! Что ужъ тутъ хорошаго выйдетъ!—тароторила Прокудиха на все Закручье.—На какія денежки заводить вздумали, на чьи животы крещеные позарились! Накось! Кому свою душеньку запродали, а? Ужъ припечатаетъ *онъ* ихъ, не отвертятся... ни-ни! Ни въ жисть!...

Закручью, со злости и досады, оставалось только грызть себѣ ногти! И дѣйствительно, пошли слухи, что товаръ въ общественной лавкѣ все оборышъ и дрянь. Въ слухахъ было, впрочемъ, нѣсколько и правды. Смуринцы понапугались и въ лавку ходили мало и неохотно. Но Кряжевъ не унывалъ и надѣялся поставить лавку хорошо и прочно. А, между тѣмъ, слухи объ антихристѣ, о томъ, что скоро онъ пойдетъ по всѣмъ волостямъ и почнетъ печать наводить на тѣхъ, кто его деньгами нечистыми поживился, упорно держались, благодаря стараніямъ закручьевскихъ языковъ, и все пуще и пуще стали расходиться по околотку и смущать добрыхъ людей. Откуда взялись эти темные слухи, кто переносилъ ихъ изъ деревни въ деревню, какъ росли украшенія къ нимъ?—сказать трудно. Сначала они передавались шопоткомъ, на ухо, потомъ погромче и наконецъ стали, просто, ходячею молвой.

„Вотъ мы, темные-то люди, всякому вздору бабьему вѣримъ, пустого мѣста боимся!"—раздумывалъ Кряжевъ, когда долетали до него слухи объ антихристовой печати.

Одно слово,—необразованный народъ! — въ отвѣтъ на тѣ же слухи поговаривалъ Лисинъ, презрительно пожимая плечами.

Подобные слухи, какъ извѣстно, не рѣдко возникаютъ въ разныхъ мѣстахъ деревенской Россіи.

IX.

Лѣтнія видѣнія.

Кряжевъ еще на разсвѣтѣ отправился въ Ведрово заказывать для школы скамьи и столы, по новому образцу. Онъ уповодъ ужъ потерялъ все равно, и потому, на обратномъ пути, зашелъ на перепутье къ Андрею мельнику и напился у него чаю со свѣжими душистыми сотами. Потолковали они со старикомъ и посмѣялись вдоволь надъ антихристовой печатью. Наконецъ, Кряжевъ направился домой.

Былъ полдень. Безоблачное и горячее раскидывалось надъ деревнями и полями іюльское небо. Кряжевъ дошелъ до Борковскаго лѣса и сталъ пробираться по еле протоптанной тропѣ. Все зеленѣло кругомъ него, и полуденное солнце, казалось, пронизывало насквозь своимъ яркимъ лучемъ трепещущую листву. Сосны съ темнобурою корой и бѣлоствольныя березы мелькали вперемѣшку; колючій можжевельникъ и верескъ кустились тамъ и сямъ; мѣстами виднѣлся, весь алымъ цвѣтомъ усыпанный, шиповникъ; въ густомъ, дикомъ малинникѣ, перепутавшемся съ крапивой, краснѣли спѣлыя ягоды... Тихо въ лѣсу. Лишь пичужки почирикиваютъ, слегка хруститъ подъ ногами Кряжева желтая, сухая хвоя, да темный, прошлогодній листъ; таинственный шопотъ-шорохъ расходится кругомъ. Хорошо въ лѣсу. Кряжевъ не любовался кругомъ себя на игру свѣта и тѣней, не любовался на голубое небо, такъ нѣжно сквозившее между листьями; но онъ наслаждался по-своему. Онъ вдыхалъ въ себя запахъ дикихъ цвѣтовъ и травъ

лѣсныхъ и чувствовалъ, что здѣсь дышится легче, что здѣсь воздухъ „вольнѣе“, нежели въ избѣ. Онъ чувствовалъ, что здѣсь лучше, веселѣе, чѣмъ въ дымной, низенькой кузницѣ, у горячаго горна. Сосновая смола лучше пахнетъ, чѣмъ перегорающій уголь. Но онъ не присматривался къ живописно-рисовавшимся стволамъ деревъ и къ синевѣ небесной отчасти потому, что уже свыкся съ этими красотами съ дѣтства и не поражался ими; отчасти потому, что онъ былъ занятъ однимъ дѣломъ, одною мыслью.

Вотъ уже близка опушка, лѣсъ рѣдѣетъ, и синяго неба больше становится видно надъ головой. Вдругъ Кряжевъ останавливается, какъ вкопанный. Шагахъ въ десяти отъ тропинки, за двумя старыми соснами, онъ увидѣлъ, въ тѣни, три странныя фигуры; двѣ фигуры слишкомъ знакомыя, одну незнакомую вовсе. На толстомъ гниломъ пнѣ, подъ склонившимися вѣтвями сосенъ, немного сгорбившись, сидѣлъ старикъ старый-престарый. Широкій, сѣрый балахонъ, весь въ дырахъ и заплатахъ, неуклюже облекалъ его высокое, худое и согбенное тѣло. Ноги были грязны и босы. Какая-то зеленоватая фуражка безъ козырька лежала у старика на колѣняхъ. Голова его была гладко выстрижена; колючая, съ просѣдью, борода оттѣняла его страшно худое, желтое лицо, изрытое морщинами. Мутные, слезящіеся глаза смотрѣли въ землю. Костлявыми, дрожащими руками онъ упирался на палку. Передъ старикомъ угрюмъ и сумраченъ, какъ всегда, стоялъ Аггушка и все къ чему-то присматривался и зорко озирался по сторонамъ, словно боясь подглядыванья и засады. Медвѣдка лежалъ въ густой осокѣ, протянувъ между лапъ свою косматую морду... Вѣтви слегка пошевеливались, и свѣтъ золотистой полоской пробѣгалъ по сѣрому балахону старика, по рыжей шерсти Медвѣдки, по блестящимъ глазамъ Аггушки и такъ бѣжалъ далѣе—за высокіе кусты.

— Не бойсь! Схороню я тя, вотъ какъ! Ни одному живому глазу не видать!—говорилъ шопотомъ Аггушка старику.

— Охъ, родной ты мой!—зашамкалъ ему тотъ, въ отвѣтъ, своими беззубыми челюстями, покачивая своей стриженой, дрожащей головой.

Что далѣе шамкалъ старикъ, Кряжевъ уже не слыхалъ. Онъ пошелъ далѣе. По глазамъ Аггушки онъ видѣлъ, что тотъ хотѣлъ быть со старикомъ наединѣ, хотѣлъ остаться незамѣченнымъ. А коли Аггушка хотѣлъ, такъ шутить съ нимъ было нечего. Кряжевъ былъ изумленъ; онъ долго протиралъ глаза, думалъ: ужъ не пригрезилось-ли? Хотя онъ не вѣрилъ, но все же таки слыхалъ, какъ говорили на деревнѣ, что лѣтомъ, въ жаръ, въ лѣсной глуши, часто „блазнитъ“, и *лѣсной* иной разъ до того водитъ въ круги, что его несчастная жертва совсѣмъ заблудится и изнеможетъ. Но нѣтъ! Дмитрій видѣлъ своими глазами Медвѣдка, видѣлъ „краснаго чорта“ и какого-то старика, слышалъ ихъ рѣчи.—„Что за притча такая? спрашиваетъ самъ себя Кряжевъ.—Что за старикъ, отколѣ взялся онъ? И съ чего Аггушка съ нимъ въ лѣсу? Уговариваетъ, обѣщаетъ укрыть старика отъ кого-то, укрыть такъ, что ни одинъ живой глазъ не увидитъ. Тутъ что-то недобро...“ Припомнилось и то Кряжеву, что на двери аггушкиной хатки за послѣднее время висѣлъ большой тяжелый замокъ, между тѣмъ какъ прежде Аггушка припиралъ дверь кое-какъ коломъ, или оставлялъ ее отворенною...

Кряжевъ напрасно терялся въ догадкахъ.

Когда онъ вышелъ изъ лѣса, солнце своимъ горячимъ окомъ глядѣло на землю съ синихъ высотъ, жгло и палило землю, жгло и палило согнутыя спины жницъ. Желтая, колосистая рожь падала подъ острыми серпами, и нахлобученныхъ суслоновъ все болѣе и болѣе поднималось на колючей жнивѣ. Евгеша, вся разгорѣвшись, жала вмѣстѣ съ рабочими. Дѣвушка, правда, отвыкла отъ жнитва, но тетка посылала ее не столько собственно для работы, сколько для присмотра надъ работницами, пока сама управлялась дома.

Вечеромъ, когда рабочіе шли паужинать, Дмитрій прямо изъ кузницы собрался купаться и направился къ ивовымъ кустамъ—къ обычному мѣсту своего купанья. Онъ пошелъ не по дорогѣ, а берегомъ Вожицы. Вечеръ былъ чудесный, и Кряжевъ тихо подвигался по узкому межнику: одинъ лишь неширокій загонъ отдѣлялъ его отъ рѣчного обрыва. Вдругъ онъ слышитъ плескъ воды, невольно поднимаетъ голову и видитъ—Евгешу. Дѣвушка съ наслажденіемъ погружалась въ прохладныя волны. Заходящее солнце, казалось, пронизывало насквозь ея нѣжное тѣло своимъ золотисто-розовымъ свѣтомъ... Вотъ ея бѣлыя плечи показываются изъ воды... Она идетъ на берегъ... Она выжимаетъ свои длинные, черные волосы, разсыпавшіеся у нея по спинѣ, и сладко потягивается...

Сердитъ возвратился въ тотъ вечеръ

изъ кузницы Кряжевъ домой. Сердито двинулъ онъ дверью и съ такимъ видомъ припиралъ ее коломъ, словно бы ожидалъ ночью какого-нибудь вражескаго нашествія.

Сумраченъ сѣлъ онъ за столъ, откусилъ немного черстваго ржаного хлѣба, глотнулъ изъ ковшика воды и залегъ спать.

Книга третья.

I.

Пришлецъ.

Глухая осень стояла надъ Смуринымъ. Сѣрое небо висѣло надъ землей. Жнива печально торчала на поляхъ, и печально стлалась по землѣ мокрая, блеклая трава. Голыя деревья шумѣли жалобно. Мокрые плетни, грязная дорога, лужи средь улицы, бревенчатыя избы, отъ дождя казавшіяся еще чернѣе, закоптѣлыя, высокія трубы, отсырѣвшія соломенныя стрехи, бабы, у бань и по задворкамъ треплющія ленъ, ребятишки въ старыхъ отцовскихъ азямахъ, съ рѣпою въ рукахъ, по берегу рядъ кузницъ, скривившихся на бокъ, и изъ дверей ихъ тамъ и сямъ выглядывающія мрачныя фигуры въ сажѣ и въ золѣ...

Смеркалось. Весь день моросилъ дождь. Къ вечеру онъ сталъ стихать, хотя клубы сѣрыхъ, дымчатыхъ облаковъ попрежнему заволакивали небо отъ края до края. Вѣтеръ, проносясь надъ полями и болотами, словно стоналъ надъ печальной сторонкой.

По дорогѣ къ Смурину шелъ путникъ и—по виду—какъ будто бы солдатъ. Путнику можно было дать лѣтъ подъ 60. Его усатое, красное лицо сильно обвѣтрѣло и выглядѣло какъ-то необыкновенно воинственно. Позаношенная военная фуражка была сдвинута на гладко выстриженный затылокъ. Сѣрая шинель была подобрана съ боковъ, на спинѣ мотался кожаный, порыжѣвшій ранецъ, а въ рукахъ была толстая, большая палка. Но путникъ, нельзя сказать, чтобы опирался на эту палку; онъ скорѣе отпихивался ею, какъ отпихиваются шестомъ, плывя на плоту. Онъ шелъ, немного покачиваясь, и зорко вематривался въ даль, задернутую туманомъ. Когда, наконецъ, онъ сталъ различать вдали темныя смуринскія хатки и расползшіяся по берегамъ Вожицы кузни, то вдругъ взмахнулъ своимъ длиннымъ костылемъ, перекинулъ его, на подобіе ружья, черезъ плечо и хриплымъ дребезжащимъ голосомъ затянулъ:

„Тучи темны, тучи грозны—
По поднебесью идутъ“ ..

Когда онъ шелъ уже по деревнѣ, на толстыхъ губахъ его, подъ прикрытіемъ сѣдыхъ и длинныхъ усовъ, мелькала добродушная улыбка. Дойдя до моста, онъ оглянулся на Смурино, поглядѣлъ на Закручье и пріостановился.

— Эй ты, малецъ! Какъ бы пройти къ Андрею Безпалому?—крикнулъ онъ мальчугану, сидѣвшему на мостовыхъ жердяхъ, замѣнявшихъ перила.

— Эво, дяденька! Эвоно, гдѣ коровато стоитъ...—указывалъ мальчуганъ, тыча пальцемъ въ воздухъ.

— Вотъ, какъ нынче! Ай, да Андрюха! Молодчина, братъ!..—пробормоталъ путникъ, идя по мосту и не сводя сѣрыхъ глазъ съ тесовыхъ хоромъ съ мезонинчикомъ, на которыя показалъ ему мальчикъ.

— Гэй! Хозяева дома? Щи да каша есть?—рявкнулъ служивый подъ окномъ Андреева дома, стуча по стѣнѣ палкой.

— Что тебѣ надо, почтенный? — спросилъ его самъ Андрей Безпалый, показываясь въ ту минуту изъ воротъ.

— Ха! Ишь какъ раздобрѣлъ, волкъ тебя зарѣжь!—заговорилъ путникъ, подходя къ Андрею.—Не признаешь? А? Ну, кланяйся да благодари,—не грѣхъ, чай... Мѣстечкото припасъ про меня, небось, а?

Безпалый стоялъ, вытаращивъ глаза и держась одной рукой за приворотный столбъ.

— Братецъ?!—сорвалось наконецъ у него съ языка.

— Я самый... А ты что думалъ? Ты думалъ, что нехристи и косточки мои всѣ растрясли... Богъ помиловалъ, привелъ еще свидѣться... — скороговоркой хрипѣлъ служивый.

Братья обнялись и расцѣловались.

— Ишь, домина-то! Ровно усадьбу состроилъ...—говорилъ пришлецъ, идя съ Андреемъ на дворъ и указывая глазами на хоромы.—Кубышку-то, поди, накопилъ до краевъ... Полнехонька, а?

— Кубышку!—съ жалкой гримасой промолвилъ кулакъ.—Было бы съ чего копить-то... Времена-то нонче не тѣ...

Плохія, братъ, времена! Народъ избѣднялъ, избаловался...

— Ну, ну! Лазаремъ-то не прикидывайся, добро! На макарьевскаго-то нищаго ни съ коего боку не смахиваешь.

— Да нѣтъ, взаправду... Пьянство у насъ нонече такое пошло, что и-ихъ! Этого винища проклятаго...—съ жаромъ началъ, было, Безпалый.

— Тсс! О водкѣ ни-ни! Этакимъ манеромъ о водкѣ говорить я никому не даю, потому... Да, вотъ, ужо самъ увидишь, почему... Я на это строгъ!

Войдя въ избу, помолившись образамъ, поздоровавшись съ хозяйкой, съ племянникомъ и съ малыми ребятами, служивый снялъ съ себя ранецъ, скинулъ шинель, отряхнулъ шапку и все это повѣсилъ у двери, на гвоздь. Онъ обтеръ о рогожу сапоги, поставилъ въ уголъ свой посохъ и наконецъ усѣлся.

— Ну, вотъ и въ лагеряхъ! Все по мѣстамъ и амуниція, какъ слѣдуетъ... У насъ, вѣдь, живо! У Бога—не долго, у насъ—какъ разъ! А теперь закуримъ!—говорилъ служивый и, вытащивъ свою коротенькую трубку-носогрѣйку, набилъ ее какимъ-то сѣрымъ кореньемъ и съ чувствомъ принялся затягиваться.

— Какъ же это ты, братецъ, надумалъ-то къ намъ, а? Сколько ужъ годковъ ты и вѣсти не подавалъ о себѣ!—началъ Андрей Безпалый, отмахиваясь отъ ѣдкаго дыма, который пускалъ на него служивый.

— Да ты скажи наперво: радъ ты мнѣ, или нѣтъ?—перебилъ гость.

— Чтой-то, братецъ, ты говоришь такъ!—возропталъ хозяинъ.

— Ты постой, постой!—опять остановилъ его гость.—Бобовъ не разводи! А коли ты мнѣ радъ, такъ выставляй полуштофъ бѣленькаго, да закуску и все, какъ слѣдуетъ...

Скоро явилась водка и закуска; притащился и самоваръ—чуть ли не ведерный.

— Ну, съ этимъ-то грѣхомъ проваливай! Къ шуту его!..—гаркнулъ солдатъ, помахивая на самоваръ трубкой.—Ишь, пузо-то штыкомъ не пробьешь! Какъ и у тебя, братъ, видно...—съ громкимъ, раскатистымъ смѣхомъ добавилъ служивый, тыча брата въ брюхо кулакомъ.—Отъѣлся, волкъ его зарѣшь! Ишь жиру-то...

Андрей Безпалый ойкалъ отъ братниныхъ ласкъ, и оконницы дрожали отъ богатырскаго солдатскаго хохота.

Гость исподволь усидѣлъ полуштофъ, поѣлъ всю закуску, безъ разбора, и такъ вдругъ зазѣвалъ, что хозяева сейчасъ же спохватились „дорогому гостю“ покой дать—и захлопотали о постели.

— Важно!—возопилъ солдатъ, поднимаясь съ мѣста и потягиваясь.—А тревоги у васъ по ночамъ не бываетъ, а?—спросилъ онъ, уже взлѣзая на полати.

— Какъ это можно...—возговорилъ Безпалый.—У насъ насчетъ этого спокойно... У каждаго амбара, почитай, караульный ходитъ...

— Да не то! Я вотъ на счетъ клоповъ, да прочаго...—пояснилъ служивый.

— Гадовъ нѣтъ,—затянула хозяйка,—а вотъ клопы-то...

— Есть? Такъ!—подхватилъ солдатъ съ азартомъ.—Ну, да я ихъ завтра ужо всѣхъ кипяткомъ вышпарю. Всю артиллерію пустимъ въ дѣло,—котлы, чугуны, горшки...

Гость улегся и скоро захрапѣлъ... А Безпалый въ тотъ вечеръ съ женой долго проговорилъ о „дорогомъ гостѣ“, свалившемся имъ, какъ снѣгъ на голову, только потяжелѣе снѣга... Ларіонъ Назаровичъ тремя годами былъ моложе брата Андрея и, какъ холостой, пошелъ за брата въ рекруты. Послѣ того прошло уже много времени; 15 лѣтъ о немъ не было ни слуху, ни духу. Дослужившись до чистой отставки, Назарычъ жилъ на мѣстахъ, былъ сторожемъ при одной богадѣльнѣ въ Петербургѣ, служилъ на желѣзной дорогѣ и еще гдѣ-то. Наконецъ, захотѣлось ему провѣдать родной край и повидать изъ своихъ, кто уцѣлѣлъ въ живыхъ. Дома его считали уже давно умершимъ, и не было о немъ рѣчи, такъ что Андреевы ребята даже и не знали, что у нихъ есть дядя „военный“. Самъ Безпалый былъ всѣхъ больше пораженъ появленіемъ брата: предположенія о его смерти, по времени, обратились въ твердую увѣренность, и Безпалый не иначе говорилъ о братѣ, какъ добавляя: „царство ему небесное“. И вдругъ „братъ покойникъ“ оказывается живешенекъ и здоровешенекъ, полштофа усиживаетъ, какъ ни въ чемъ не бывало, а силой-то еще съ кѣмъ хочешь потягается.

— Вотъ такъ штука!—говорилъ Безпалый женѣ.—Накось! Ровно съ того свѣту сорвался, ей-Богу, право...

— Онъ что же это—у насъ и останется?—спросила жена.

—Да Богъ его знаетъ! Вишь, вѣдь, толкомъ-то отъ него ни лѣшаго не добьешься... Мелетъ, мелетъ, — гагайкаетъ!... Може, останется,—може, опять унесетъ его—съ досадой проворчалъ Безпалый.

— А коли останется, такъ работникъ-то онъ плохой будетъ!—сообразила жена.— Испиваетъ, видно, шибко... Пришелъ, не успѣлъ и лба перекрестить,—сейчасъ и за водку!

— Ну и поживетъ, Богъ съ нимъ! Не объѣстъ,—молвилъ хозяинъ.

— Не объѣстъ, такъ обопьетъ! Не легше того!—замѣтила жена, а хозяинъ безпокойно заворочался на постели, хотя еще ни одинъ клопъ не кусалъ его.

Укусило Андрея одно давнишнее воспоминаніе. Когда братъ пошелъ въ солдаты, Андрей остался—по уговору—долженъ ему 100 рублей серебромъ, полушубокъ да холста. Все это онъ обѣщалъ выслать ему и не выслалъ: сначала было не изъ чего, а потомъ было изъ чего, да жаль денегъ стало. Оказія въ городъ все какъ-то откладывалась, долгъ не отсылался, хотя братъ года два въ письмахъ все напоминалъ ему о долгѣ, молилъ Христомъ Богомъ выслать ему деньжонокъ. А потомъ братъ писать пересталъ, время-то пошло, да пошло, долгъ-то забылся, а братцу царства небеснаго у Бога помолили. Вотъ въ эту ночь и припомнились Андрею братнины письма, оставшіяся безъ отвѣта; припомнились 100 рублей, и полушубокъ, и холстъ.

На другой день, передъ завтракомъ, гость опять предложилъ любезному братцу, на радостяхъ, выставить полштофа. Невѣстка нахмурилась, но братъ не прекословилъ, и полуштофъ явился на столѣ. Впрочемъ, Безпалый замѣтилъ косвенно, что не велика польза, коли человѣкъ, то и знай, вино лачетъ, но служивый сурово остановилъ его.

— Гм! А ты не знаешь, сколько казна доходу-то отъ вина получаетъ, а?—прикрикнулъ онъ.—Вы, деревенщина, ничего не понимаете!...

Закручьевцы, узнавъ, что къ Безпалому братъ пришелъ, стали, послѣ обѣда, одинъ по одному набираться въ Андрееву избу. Заявился и Прокудовъ Григорій, и Антонъ Кудряшевъ, и племянничекъ его, и кабатчикъ Иванъ Прохоровъ, съ братомъ, и нѣсколько бабъ. Служивый разсказывалъ о различныхъ приключеніяхъ во время стоянокъ на зимнихъ квартирахъ, о лагеряхъ, куда къ нимъ Государь пріѣзжалъ и дѣлалъ смотры, разсказывалъ о тяготахъ и опасностяхъ боевой жизни, о своихъ кавказскихъ походахъ, о битвѣ при Черной рѣчкѣ, гдѣ товарищъ подъ градомъ пуль и картечи, въ виду непріятеля, перетащилъ его на рукахъ черезъ мостъ и отправилъ его—безчувственнаго—на перевязку. Хозяева и гости, разинувъ ротъ и вытаращивъ глаза, слушали и дивовались, а тѣ изъ бабъ, у кого родные ушли въ солдаты, прослезились и тихо плакали.

— А какую бы, примѣрно, на Кавказѣ можно было протекцію устроить, а?—освѣдомился Антонъ Кудряшевъ, когда служивый принялся расписывать и расхваливать кавказскую природу.

Кудряшевъ, какъ и всѣ вообще кулаки, на каждый вновь открывшійся уголокъ земли смотрѣлъ съ чисто своеобразной точки зрѣнія: нельзя-ли, молъ, въ немъ какую-нибудь протекцію предпринять. Подъ словомъ „протекція“ въ Закручьи разумѣлось: нельзя-ли и тамъ кого-нибудь облопошить, открыть новые, невиданные и неслыханные, источники богатства и набить себѣ потуже карманъ.

— Отчего же это мужичковъ тамъ не поселяютъ, а? Вѣдь, это бы пречудесно было!—замѣтилъ Кудряшевъ, когда служивый объяснилъ ему, что рабочихъ рукъ тамъ мало, и потому онѣ больно дороги.

— А ужъ земелька, братцы, фю-ю!—присвистнулъ солдатъ.

— А насчетъ питейныхъ какъ?—полюбопытствовалъ кабатчикъ.—Ишь ты! Вотъ и поди!—отозвался онъ, подмигивая брату и толкая его локтемъ, когда солдатъ сказалъ, что тамъ виноградное вино по грошу.

— Вотъ, Максимушка, забраться бы намъ куда, а? Э-эхма!...—И кабатчикъ опять подмигнулъ.

Когда же солдатъ принялся разсказывать о дикихъ кошкахъ, о кабанахъ, о барсахъ и шакалахъ, кулаки призадумались. Видимо, эта сторона кавказской жизни имъ пришлась не по сердцу.

— Ишь, звѣрья-то тамъ сколько!—молвилъ Прокудовъ, почесывая затылокъ.—Ходи, значитъ, да оглядывайся! того и смотри, что на зубы попадешься, али на какую ни на есть гадину наступишь... Т-э-экъ! Да какъ же ихъ не избиваютъ, а? Ихъ изводить бы надоть; потому...

— А вотъ шелъ бы, да и изводилъ!—посовѣтовалъ ему Назарычъ.

— Гм! Изводилъ... Ловокъ больно...—огрызнулся Прокудовъ.—Это дѣло не наше... Это ужъ отъ правительства, значитъ, надоть...

Григорій Ивановичъ, какъ и всѣ его собратья-кулаки, разумѣлъ дѣло такъ: правительство, какъ и все вообще на бѣломъ свѣтѣ, существуетъ для торговыхъ людей, а потому оно и обязано все дѣлать для того, что-бы, по возможности, облегчить житье-бытье этихъ почтенныхъ людей. „Потому, мужикъ что?... мужику ничего не надо: пожитковъ у него не много, на

крохи его никто не позарится. Съ нимъ и хлопотъ не въ примѣръ меньше: человѣкъ онъ темный, ничего ему не надо. Живетъ онъ себѣ да работаетъ,—ему и горюшка мало!—размышлялъ Прокудовъ.—Не то, что торговое дѣло! При нашемъ дѣлѣ глаза да глаза нужны, замокъ да замокъ, собачище да и собачище! Поломаешь иной разъ голову-то, такихъ трудовъ примешь, что ой-ой! Заботушка да думы,—и совсѣмъ бѣда!"

Закручьевцы, со своей стороны, скоро посвятили Назарыча въ свои дѣла, при чемъ Кряжева, разумѣется, изобразили такъ, какъ будто бы онъ былъ самъ дьяволъ во плоти. Когда сказанія дошли до кассы и до „общественной лавки", — служивый усмѣхнулся.

— Ишь вы, толстые!—загудѣлъ онъ.— Не любо, не бойсь, стало, а? Митька-то васъ, видно, того, значитъ... поприжалъ? Ха! Волкъ его зарѣжь!...—И старый солдатъ, глядя на вытянутыя и нахмуренныя лица собесѣдниковъ, разразился неистовымъ хохотомъ.

Такъ въ разсказахъ, въ распросахъ и угощеньи прошло нѣсколько дней. Любезнѣйшій братецъ, по наущенью жены, намеками и обиняками, допытывался у служиваго, какъ онъ думаетъ на счетъ своей головы? думаетъ-ли онъ уйти отъ нихъ, или расположится на житье?

— Помаршировалъ и баста! Довольно! Всю Россіюшку-матушку исколесилъ и въ грязь, въ слякоть, и въ жарынь! Наглядѣлся всего таки на бѣломъ свѣтѣ; посмотрю еще теперь на ваше смуринское житье-бытье!—безъ всякихъ обиняковъ объяснилъ служивый.—Спина болитъ, передъ погодой ноженьки ноютъ. Въ болотѣ по цѣлымъ днямъ приходилось по колѣно въ водѣ стоять. Ну, да и грудь... Иной разъ такъ захватитъ, что хоть волкомъ вой, такъ въ пору! Свинцовка-то не даромъ побывала. Такъ вотъ, братъ, я и думаю: пора костямъ на покой! А до погоста-то придется, надо быть, у тебя привалъ сдѣлать... По совѣсти-то, и не грѣхъ, а? Ты какъ насчетъ этого?—спрашивалъ служивый, поводя усами.

Брату Андрею приходилось только счетъ полуштофикамъ вести. Невѣстка злилась. Но дѣло было уже рѣшено и подписано: старый служивый оставался на привалѣ, у Андрея Безпалаго.

II.

Держись, Чалая!

Уѣздный городъ Черешинскъ стоитъ на одномъ изъ притоковъ большой рѣки и въ 30-ти верстахъ отъ желѣзной дороги. Въ старые годы, то-есть до реформы и до проведенія чугунки, черезъ этотъ городокъ проходилъ важный почтовый трактъ, а въ настоящую пору трактъ брошенъ, и городокъ заглохъ, словно бы вдругъ уединился отъ всего живущаго міра. Городокъ грязенъ, грязенъ до того, что на его улицахъ, вымощенныхъ фашинникомъ, осенью и по веснѣ люди и лошади буквально тонутъ въ грязи по уши, о чемъ, впрочемъ, мѣстный корреспондентъ уже когда-то доносилъ въ газеты. Большою подвижностью черешинцы не отличались никогда. Напримѣръ, они уже четверть столѣтія толкуютъ о мостѣ черезъ рѣку, составляютъ проекты, смѣты, а моста все еще нѣтъ, какъ нѣтъ,—и ходитъ по рѣкѣ, отъ берега къ берегу, дощатый паромъ и перевозитъ возы, тарантасы, людей и скотъ. По базарнымъ днямъ, въ понедѣльникъ и четвергъ, зачастую на паромѣ, по вечерамъ, случаются несчастья, когда сельскій людъ, справивъ свои дѣлишки и подгулявъ, возвращается домой. Полиція въ такихъ случаяхъ, обыкновенно, присутствуетъ на берегу для водворенія порядка; но, тѣмъ не менѣе, ежегодно нѣсколько пьяненькихъ въ этомъ мѣстѣ идетъ ко дну.

Въ Черешинскѣ есть двѣ церкви, и изъ нихъ одна—соборъ; кладбище за городомъ служитъ лѣтомъ мѣстомъ гулянья и называется „Михайловской оградой". Есть въ Черешинскѣ нѣсколько улицъ, въ каждой улицѣ по нѣскольку грязныхъ постоялыхъ дворовъ. Передъ соборомъ разстилается изрытая, базарная площадь; на нее выходитъ рядъ лавочекъ. Кромѣ того, въ Черешинскѣ водится клубъ, деревянный острогъ, обнесенный частоколомъ, училище, больница и сѣрый-пресѣрый одноэтажный домикъ, на синей вывѣскѣ котораго черными буквами значится: „Земская Управа". Въ этомъ низенькомъ, словно какою-то невидимою десницею приплюснутомъ домикѣ собираются черешинскіе земскіе дѣятели и вяло отбываютъ свое дѣло; потолокъ, приплюснутый невидимою десницей, какъ будто давитъ, гнететъ ихъ, и всѣмъ имъ охота поскорѣе избавиться отъ давленія этого потолка, развязаться съ докладами и отчетами Управы и вырваться изъ этихъ сѣрыхъ стѣнъ, съ тѣмъ, чтобы возвратиться къ домашнимъ очагамъ. Черешинское земство до сихъ поръ не слишкомъ отличалось дѣятельностью. Сначала, правда, благихъ намѣреній очутилось вдругъ очень много, и дѣло стало лишь за деньгами. Въ настоящую же пору, когда увлеченіе прошло своимъ путемъ, черешинское зем-

ство, какъ говорится, ни Богу свѣчка, ни чорту огарокъ, дѣйствуетъ безслѣдно и такимъ таинственнымъ образомъ, какъ будто бы оно привидѣніе. Само общество смотритъ на земство не серьезно, а какъ на явленіе постороннее, стоящее внѣ жизненнаго круговорота. Конечно, цифрою окладовъ интересуются, но вопросы о постройкѣ мостовъ, о починкѣ гатей и дорогъ и тому подобныхъ сухихъ матеріяхъ идутъ мимо общественнаго сознанія. „Не нашего ума дѣло!“ говоритъ общественное мнѣніе, кивая на тотъ сѣрый, приземистый домикъ, что ютится въ одномъ изъ глухихъ закоулковъ города. Люди же, которымъ надлежитъ вѣдать гати, мосты и прочее, стараются поаккуратнѣе сдать ихъ на подряды, а подрядчики, въ свою очередь, заботятся лишь о томъ, какъ бы сдать съ рукъ работу. А мосты ломаются, гати проваливаются, и дороги портятся, портятся безъ конца...

Въ 1871 году, очередное земское собраніе было назначено на 21 и 22 сентября, но, благодаря тому, что на первое засѣданіе явилось лишь пять дѣятелей, сессія была продолжена еще на день и закрылась, наконецъ, 23 числа вечеромъ. Съ нашей смуринской стороны на ту пору были въ городѣ: Илья Петровичъ Лисинъ, въ качествѣ гласнаго отъ крестьянъ, и госпожа Водянина, хлопотавшая о земской субсидіи для сельской школы.

День склонялся уже къ вечеру. Солнце желтымъ шаромъ упадало за горизонтъ. Красноватымъ свѣтомъ окрашенныя облака бороздили западную окраину неба, суля вѣтряную погоду...

По дорогѣ къ городу тихо тащился Кряжевъ на своей Чалой, очевидно давая ей передышаться послѣ быстраго бѣга: лошадка вся была въ пѣнѣ и въ поту. Лежа въ телѣгѣ, на охапкѣ сѣна, Кряжевъ посматривалъ по сторонамъ и, съ видимымъ безпокойствомъ, оглядывался назадъ, словно съ минуты на минуту ожидая за собой погони. Передъ нимъ, сквозь легкій туманъ, уже бѣлѣли колокольни, и городъ черными пятнами выступалъ тамъ и сямъ. И надъ этими бѣлыми колокольнями, и надъ темнымъ предмѣстьемъ догорали послѣдніе отблески красной зари. Глядя на городъ, раскидывавшійся передъ нимъ, въ сумеркахъ вечерняго освѣщенія, Дмитрій на минуту задумался о своихъ дѣлахъ и объ этомъ городѣ, отъ котораго теперь зависѣло помочь ему, или подгадить. Общественная лавка у него никакъ не выгорала: кредита у городскихъ купцовъ онъ не могъ добиться по сію пору. Дѣло стало лишь за тѣмъ, чтобы только одинъ купецъ оказалъ довѣріе, а за нимъ ужъ и другіе не откажутъ. Москвинова нужно за бока: Москвиновъ всѣмъ голова и указчикъ.

А Кряжевъ, дѣйствительно, боялся погони. Выѣхавъ изъ Смурина послѣ ранняго обѣда и уже благополучно сдѣлавъ полдороги, Дмитрій вдругъ заслышалъ позади себя колокольчикъ и скоро завидѣлъ вдали пару гнѣдыхъ. Онъ очень хорошо зналъ этихъ высокихъ гнѣдыхъ коней. Это прокудовскіе кони... „Для чего его нелегкая несетъ въ городъ?—мелькнуло у Кряжева въ головѣ.—Это ужъ онъ не на нашъ-ли счетъ?“... Что Гришка злился на Кряжева и желалъ помѣшать ему устроить общественную лавку, въ томъ не было сомнѣнья. Онъ легко могъ прослышать, что Кряжевъ отправился въ городъ. Такъ не ѣдетъ-ли онъ теперь нарочно для того, чтобы запугать городскихъ торговцевъ и уговорить ихъ поостеречься Кряжева? „Ну, ежели такъ, потягаемся! Поглядимъ, чья вывезетъ!“ подумалъ Кряжевъ, ударилъ вожжами и пустилъ свою Чалую во весь скачъ. И Чалая понеслась, расплескивая воду изъ колей и немилосердно кидая по сторонамъ грязью.

— Держись, держись, Чалая!—покрикивалъ Кряжевъ.

Тутъ припомнилъ онъ, что для одиночки и налегкѣ есть въ городъ попрямѣе дорога—полемъ и лугами. Конечно, ѣхать по ней въ позднюю пору было не безопасно: того гляди или лошадь засадишь въ овражекъ, или слетишь да сломаешь себѣ шею. Но раздумывать было некогда. Кряжевъ свернулъ съ большой дороги и телѣжонка его запрыгала по кочкамъ, по рытвинамъ и буеракамъ: она вся вздрагивала и трещала, словно каждую минуту готова была разсыпаться вдребезги. Кряжеву жаль было бить свою усталую Чалку, но все-таки, скрѣпя сердце, онъ хлесталъ и хлесталъ ее ременнымъ арапникомъ, ворча себѣ подъ носъ: „бѣжи, бѣжи, Чалая! Выручи! Хошь поколѣй, да выручи!“... И онъ посвистывалъ, постукивалъ кнутовищемъ, поминутно мызгалъ и дергалъ Чалку вожжами: не спокойно было у него на душѣ. Гнѣдыя, чудилось ему, такъ на него и наскакиваютъ, такъ и разметываютъ надъ нимъ по вѣтру свои вихнистыя, темныя гривы и топчутъ его съ Чалкой своими блестящими подковами.

Такая бѣшеная скачка продолжалась около получаса. Гнѣдыхъ давно уже было

не видно—не слышно. Одна ось въ телѣгѣ у Кряжева стала какъ-то сомнительно поскрипывать. Кряжевъ попридержалъ лошадь и пустилъ ее шагомъ. До города оставалось версты 3... Кряжевъ слышалъ, какъ въ городѣ били часы. Онъ выгадалъ верстъ 6 или 7... Вдругъ опять Дмитрію померещилось, что звенитъ колокольчикъ, и дружный лошадиный топотъ доносится до него по вѣтру. Онъ живо приподнялся въ телѣгѣ и опять припустилъ свою Чалую, и лошаденка, то рысцой, то вскачъ, опять пустилась впередъ, мотая своей косматой гривой и хвостомъ. Черезъ нѣсколько минутъ, путникъ уже въѣзжалъ въ ворота постоялаго двора Устимовой, гдѣ, обыкновенно, бывая въ городѣ, останавливалась Лизавета Петровна.

Наскоро отпрягши лошадь и поставивъ ее къ телѣгѣ подъ навѣсъ, Кряжевъ помылъ въ первой попавшейся лужѣ свои сапоги, посчистилъ съ нихъ кнутовищемъ грязь, заткнулъ арапникъ за поясъ, обдернулся и поразгладилъ пятерней свои сползшіеся волосы. Перемолвившись съ знакомымъ ямщикомъ и узнавъ отъ него, что Гришка еще не пріѣзжалъ, а что ихняя барыня откуда-то недавно пришла съ Каряинскимъ бариномъ и теперь въ номерѣ, Кряжевъ поднялся по скрипучей лѣстницѣ на верхъ, заглянулъ въ переднюю и остановился...

III.

На постояломъ дворѣ.

Тамъ Лизавета Петровна провожала какого-то господина. Господинъ стоялъ уже въ пальто, съ шапкой-бояркой подъ мышкой, въ глубокихъ калошахъ, и крѣпко и долго пожималъ Лизаветѣ Петровнѣ руку.

— Благодарю васъ, Николай Ивановичъ!—говорила Водянина.

— Помилуйте! Не за что! — веселымъ и безпечнымъ тономъ отвѣчалъ тотъ.— Если бы вы сказали раньше, такъ это мы обдѣлали бы съ Андреемъ Никаноровичемъ такъ, просто между собой... Нечего вамъ было дожидаться и собранія. Хотя насъ въ газетахъ критикуютъ, а все-таки мы отъ хорошаго дѣла не прочь. Только, вѣдь, вы сами знаете: что мы? Пѣшечки-съ... Иной разъ и радъ бы, а тутъ...—и говорившій при этомъ оттопырилъ губы и выразительно кивнулъ головой.

— Я вамъ очень, очень благодарна!— повторила Водянина.

— А ужъ я, какъ хотите, побываю къ вамъ, посмотрю вашу школу!—крикнулъ гость, выходя.

— Побывайте!—промолвила ему вслѣдъ Лизавета Петровна.

Изъ сѣней показался Кряжевъ: Водянина увела его въ свою комнату и заперла дверь на ключъ.

— Сегодня для меня, положительно, выпалъ счастливый день! Все мнѣ удается. Я, право, такъ рада!—говорила она, забираясь на диванъ и обращая къ Кряжеву свое веселое лицо.

— Ну и ладно!—отозвался тотъ, опускаясь на стулъ у переддиваннаго столика и поглядывая на барыню.

— Земство даетъ денегъ на школу,— продолжала Лизавета Петровна.—Теперь единовременно отпустятъ 200 рублей. Это на обзаведеніе, а потомъ будутъ выдавать по 150 рублей каждый годъ.—Вѣдь, не дурно, Дмитрій Михайлычъ, а?

— Очень даже хорошо! — согласился тотъ. — Теперь, значитъ, школа у насъ совсѣмъ...

На мгновеніе Водянина призадумалась и, слегка прищуривъ глаза, смотрѣла передъ собой съ такимъ мечтательнымъ видомъ, словно бы передъ нею рисовалась вдали какая-то безконечная, невообразимо-прекрасная картина. Даже ея молящее выраженіе лица стушевалось на этотъ разъ, и голубые глаза смотрѣли довольно и счастливо. Она только-что возвратилась изъ земскаго собранія, гдѣ видѣла многихъ изъ своихъ знакомыхъ, переговорила съ ними и устроила свои дѣла, какъ нельзя лучше, какъ даже сама не ожидала. Предсѣдатель Управы, сѣденькій старичокъ, благополучный мужъ и отецъ многочисленнаго семейства, давно уже открыто и пламенно ухаживалъ за Лизаветой Петровной, чѣмъ и возбуждалъ въ черешинскомъ обществѣ веселый смѣхъ и шуточки. Николай Ивановичъ Каряиновъ, одинъ изъ членовъ земской Управы, человѣкъ очень веселый, „разбитной, обязательный", хотя открыто Лизаветѣ Петровнѣ своихъ чувствованій не выказывалъ, но на самомъ дѣлѣ желалъ бы стать съ нею на самую короткую ногу. Водянина сегодня, какъ на грѣхъ, очень мила въ своемъ черномъ шелковомъ платьѣ, съ шелковымъ пунцовымъ платочкомъ на шеѣ и съ длинной золотой цѣпью на груди. Не даромъ предсѣдатель чуть не растаялъ отъ восторга, когда на прощанье ему удалось поцѣловать кончики ея пальцевъ. Каряиновъ былъ сегодня также обязательнѣе обыкновеннаго. Словомъ, что не могла бы сдѣлать же-

взрачная, хоть и честнѣйшая дѣвушка на свѣтѣ, то съ успѣхомъ выполнила молодая, красивая женщина.

— А я, вотъ, съ Москвиновымъ никакъ не могу сладить,—заговорилъ Кряжевъ.— Не вѣритъ... все отлыниваетъ. Знать, добрые люди разговариваютъ его. Хотѣлъ я васъ попросить: не поручитесь-ли вы за насъ?... — Кряжевъ запнулся и задумчиво повелъ пальцемъ по краю стола.

— Да, конечно, поручусь!—подхватила барыня, приподнимаясь на диванѣ и приближая свое лицо къ Кряжеву. — И вы до сихъ поръ молчали? Ахъ, Дмитрій Михайлычъ! Да отчего же бы я не поручилась-то за васъ? Только поруку-то принялъ бы онъ...

— Гм! да вамъ стòитъ только ручкой повести... Приметъ, безпремѣнно приметъ! —съ увѣренностью вскричалъ рабочій и вдругъ, понизивъ голосъ и просительно глядя на Водянину, добавилъ: —такъ ужъ коли можете, Лизавета Петровна, сходимъ къ нему теперь! Потому, не ровенъ часъ. Вонъ Прокудовъ тоже для чего-то гонитъ въ городъ на своихъ гнѣдкахъ... Боюсь, какъ бы онъ не подвелъ чего...

Водянина поустала сегодня, ей хотѣлось ѣсть и пить, въ горлѣ у нея пересохло. Она уже, было, послала за лимономъ и попросила хозяйку поставить самоваръ. Но, вѣдь, уже сказано, что барыня была „добрая", да къ тому же и день-то выдался очень хорошій. Барыня не поколебалась принести еще одну жертву. И вотъ она живо накинула свою черную суконную шубку съ чернымъ, мерлушечьимъ воротникомъ, и на голову надѣла черный, большой платокъ.

Отправились. На улицѣ было грязно и темно, такъ темно, что перебираться приходилось почти ощупью. Фонари тогда считались еще роскошью, и городская дума предоставляла свѣтиламъ небеснымъ, по ихъ благоусмотрѣнію, озарять отъ поры до времени мракъ и мерзость запустѣнія черешинскихъ улицъ и закоулковъ. Утопая въ грязи и запинаясь за обломки фашинъ, Водянина, въ сопровожденіи Кряжева, вошла наконецъ во дворъ купца первой гильдіи, Силы Феофилактовича Москвинова. Самъ купецъ первой гильдіи стоялъ въ ту пору на крылечкѣ, съ фонаремъ въ рукѣ, и краснымъ, трепетнымъ свѣтомъ озарялась его высокая, дюжая фигура въ синемъ, распахнутомъ казакинѣ, съ патріархальной сѣдой бородой и безъ шапки.

— Овесъ такой, что не только кони, самъ съѣшь да еще оближешься! —толковалъ онъ съ ямщиками, только что отпустивъ имъ нѣсколько мѣръ овса.

Купецъ, какъ видно, былъ въ духѣ и пріятно ухмылялся. Увидѣвъ госпожу Водянину, онъ вдругъ закланялся и замахалъ фонаремъ: очень ужъ онъ удивился такому внезапному нашествію.

— Покорно прошу... пожалуйте! Въ горницу пожалуйте! — заговорилъ онъ, узнавъ, что Водянина съ Кряжевымъ пришла къ нему.

Москвиновъ на всѣхъ людей, съ которыми ему приходилось сталкиваться такъ или сякъ, смотрѣлъ, какъ ловецъ на свою добычу. Поэтому, и въ настоящемъ случаѣ, когда онъ, раскланиваясь встрѣчалъ гостей, въ головѣ его тотчасъ же начали слагаться догадки и соображенія, сводившіяся къ копейкамъ и рублямъ. Изъ темныхъ сѣней посѣтители, между тѣмъ, проникли въ горницу, гдѣ ихъ обдало запахомъ щей, таракановъ и геранью. На стѣнѣ висѣлъ рядъ раскрашенныхъ картинокъ. Тутъ можно было видѣть, какъ Щеголевъ наводилъ пушки на непріятельскую эскадру, какъ Александръ Благословенный вступалъ въ Парижъ; далѣе виднѣлся гробъ Господень: въ углу же, рядомъ со Страшнымъ Судомъ, пріютился Послѣдній день Помпеи въ такомъ жалкомъ, изодранномъ видѣ, что разобрать въ немъ, рѣшительно, нельзя было ничего...

— Товаръ-то у меня еще не дошелъ, на станціи въ Москвѣ залежался! — сказалъ Москвиновъ, когда Кряжевъ объявилъ ему причину своего прихода. —Что будешь дѣлать? Радъ бы радостью, голубчикъ ты мой, да вотъ...

Москвиновъ деревенскихъ называлъ „голубчиками".

— Я хотѣла бы быть поручительницей за нихъ, если можно! — замѣтила Лизавета Петровна.

Москвиновъ опустилъ глазки передъ ея быстрымъ взглядомъ и забарабанилъ по колѣну своими толстыми пальцами, украшенными кольцами и массивнымъ золотымъ перстнемъ.

— Да какъ же-съ, помилуйте! Мы и папеньку вашего очень хорошо знали! — бормоталъ онъ, высчитывая выгоды сдѣланнаго ему предложенія.

Черезъ нѣсколько минутъ дѣло было кончено къ обоюдному удовольствію. Москвиновъ захлопоталъ, было, о самоварѣ и о кренделяхъ, но Лизавета Петровна стала собираться домой. Провожая гостей съ фонаремъ до воротъ, Москвиновъ напомнилъ Кряжеву зайти къ нему завтра по утру. Когда они уже подходили къ

воротамъ, гремя колокольчикомъ и бренча и шурша бубенцами, подкатила къ дому пара гнѣдыхъ и, какъ вкопанная, остановилась у приворотнаго столба. Кряжевъ имѣлъ удовольствіе видѣть, какъ, кряхтя, вылѣзалъ изъ телѣги Прокудовъ, а за нимъ ползъ Антошка Кудряшевъ. Насмѣшливая улыбочка пробѣжала по его лицу, и онъ громко присвистнулъ.

— Ужъ это не они-ли? —оборачиваясь къ нему, спросила Водянина.

— Они!.. Да поздно, соколики, прилетѣли!

Цѣлую мѣру овса задалъ въ тотъ вечеръ онъ своей Чалой и крѣпкимъ, безпробуднымъ сномъ спалъ всю ночь до разсвѣта въ своей телѣгѣ, подъ навѣсомъ сарая... Легла спать и Лизавета Петровна на жесткомъ диванчикѣ, но долго спать не могла: ей представлялся сѣденькій предсѣдатель, расшаркивавшійся передъ ней, и Николай Ивановичъ, поглаживающій свои мягкіе, прелестные баки; ей мерещилось задумчивое, все о чемъ-то тревожно- вопрошающее лицо Кряжева, мелькало лицо купца первой гильдіи, впрочемъ похожее не на лицо, а чортъ знаетъ на что... И добрая барыня шептала съ просонокъ: „Маленькое дѣло, дѣльце! Да! А все-таки... въ ожиданіи лучшаго, большаго“...

IV.

Изъ-за угла.

Свечерѣло. Въ избахъ на Смуринѣ уже горѣла лучина.

Кряжевъ только-что возвратился изъ кузницы и не вздувалъ огня, а, сваливъ гвоздь въ чуланъ, сумерничалъ, лежа на лавкѣ и покуривая трубочку. Вдругъ дверь пріотворилась и дребезжащій голосокъ спросилъ: „Дяинька! А, дяинька! Ты дома?“

— Ну, чего надоть?—въ свою очередь, спросилъ Кряжевъ, всматриваясь въ темноту сѣнецъ и ничего тамъ не видя.

— Вотъ бумажку тебѣ! — явственнѣе пропищалъ голосъ. Маленькая Анютка, племянница Кряжева, переползла черезъ порогъ и явилась передъ дяденькой въ синемъ мамкиномъ шугаѣ, котораго полы и длинные, широкіе рукава таскались по землѣ.

— Какая такая бумажка? Покажь-ко! Откуда Богъ далъ?—спрашивалъ Кряжевъ, поднимаясь съ лавки.

— Аксютка Тишкинская подала... Снеси, говоритъ, отдай дяинькѣ... — И Анютка, не безъ труда, высвободила изъ руки какую-то неуклюже сложенную бумагу.

Кряжевъ той порой высѣкъ огня, вытащилъ изъ-за печки свѣтецъ къ окну и, вставивъ въ него горящую лучину, взялся за посылку. Это, оказывалось, было письмо, начертанное удивительными каракулями.

— Ну, ладно, бѣжи! — сказалъ Кряжевъ племянницѣ, и когда та, благополучно перебравшись черезъ высокій порогъ, скрылась, онъ принялся разбирать писульку и разбиралъ ее такъ долго, что пять лучинъ сгорѣло до тла прежде, чѣмъ чтеніе было доведено до вожделѣннаго конца. Въ письмѣ было нацарапано слѣдующее: „Не ходите севодни вкабакъ Клександру если и звать будутъ противъ васъ они умышляютъ, Сама пришла да нелзя, дядинка григори иванычъ сбезпаловымъ уговаривались и контуютъ ей богу пишу Всю правду истинную, прити нелзя“. Письмо было подписано большою буквою Е.

Ясно, отъ кого посланіе—отъ Евгеніи!.. „Фу ты—пропасть! съ сердцемъ подумалъ про себя Кряжевъ, сжигая бумажку и топча пепелъ ногой.—И чего это только дѣвка лѣзетъ? Думаетъ, больно испужаюсь я ихнихъ... Испужался! Какъ же! А вотъ нарочно пойду къ Лексашкѣ... Вотъ и поглядимъ, да и посмотримъ!“ Только недолго на этотъ разъ пришлось Кряжеву размышлять о томъ: чего эта дѣвка лѣзетъ? Ему ужъ пора было итти къ барынѣ. Онъ наскоро оболокся, потушилъ лучину и вышелъ изъ избы.

Лизавету Петровну онъ засталъ за письменнымъ столомъ.

— А учителя-то все еще нѣтъ!—сказалъ онъ.

— Обѣщалъ, такъ будетъ, хоть въ ночь сегодня, да пріѣдетъ. Уговорились, вѣдь, четвертаго октября открыть школу. Онъ знаетъ, что время дорого...—говорила барыня, надписывая адресы и запечатывая одно письмо за другимъ.— Вѣдь только до Пасхи и поучиться-то имъ! Много-ли же тутъ времени! А вы, Дмитрій Михайлычъ, послѣзавтра сходку-то сберите, мѣшкать нечего. Ужъ 50 человѣкъ у насъ набралось, изъ нихъ 16 чужихъ. А въ Красныхъ-то Горкахъ сколько учениковъ, вы не знаете?

— Да теперь, кажись, больно немного; человѣкъ, надо быть, 12 или около.

— Надо бы и тѣхъ поторопить! Чего они еще тамъ сидятъ, дожидаются!—замѣтила Лизавета Петровна.

— И тѣ сберутъ сходъ!—поддакнулъ Кряжевъ.—Только говорятъ: до конца года порѣшить нельзя... Потому, у нихъ

тамъ какой-то уговоръ, что-ли, Богъ ихъ знаетъ... Да вотъ съ нашими-то какъ еще сладить. Говорилъ ужъ я имъ не одиножды. Вотъ ужо, говорятъ, ослобонимся, успѣемъ еще... Сейчасъ видно, что старостѣ не въ охотку это дѣло... Вотъ оно что!

Дѣйствительно, Дмитрій уже нѣсколько разъ уговаривалъ сельскаго старосту собрать сходку насчетъ школы, и все безуспѣшно. Староста, видимо, отлынивалъ. А дѣло заключалось въ томъ, что смуринцамъ надо было рѣшить вопросъ, слѣдуетъ-ли имъ платить на красногоркинскую школу, когда у нихъ самихъ въ селѣ основывается школа, на счетъ земства и на счетъ ихъ помѣщицы. Вопросъ важный, неотложный и стоящій денегъ. Лизавета Петровна уже много разъ обсуждала его; Кряжевъ хлопоталъ, да не могъ еще ухлопотать. Положили подождать до пріѣзда учителя и до открытія школы.

Потолковавъ еще о школѣ, о томъ, о семъ, Кряжевъ простился съ Лизаветой Петровной, обѣщаясь поторопить своихъ и красногоркинскихъ.

Возвращаясь изъ усадьбы, онъ повстрѣчалъ на Смуринѣ Абрамку, вѣчно пьяненькаго мужичка—кабачнаго завсегдатая. Тотъ сталъ зазывать его въ питейный...

— Туда и иду!—промолвилъ Кряжевъ, съ сожалѣніемъ и злостью взглядывая на обтрепаннаго и спившагося Абрамку.

Когда Кряжевъ вошелъ въ питейный, за стойкой стоялъ самъ хозяинъ „Лександръ Констенкинычъ", лысый человѣчекъ, съ косыми глазками, горѣвшими самою ненасытимою алчбой. Этотъ бѣлый, мягкій, словно разбухшій человѣчекъ былъ извѣстенъ въ околоткѣ за лицемѣра и за самую продувную, алчную бестію, какой еще смуринскій міръ не производилъ отъ вѣка. Теперь, ухмыляясь и косясь, повидимому, разомъ на всѣ углы своего питейнаго, онъ, въ своей обычной, пресмыкающейся позѣ, торчалъ за прилавкомъ. Середи кабака, съ трубкой въ рукахъ, стоялъ Назарычъ, въ облакахъ табачнаго дыма, и о чемъ-то ораторствовалъ. Кудряшевъ съ Безпалымъ сидѣли на лавкѣ и тихонько говорили промежъ себя, не обращая, повидимому, никакого вниманія на служиваго. При появленіи Кряжева, Безпалый чуть замѣтно перемигнулся съ братомъ. Абрамка уже сидѣлъ за косушкой, взявшейся, Богъ вѣсть, откуда. Еще какой-то прохожій мужичекъ забился въ уголъ и перевязывалъ свои грязныя, сырыя онучи концомъ узловатой веревки. Отопившаяся сальная свѣча тусклымъ, жалкимъ свѣтомъ озаряла эту дымную картину, на сѣромъ фонѣ которой ярче всего выступалъ, какъ злой духъ, косоглазый Лексашка, въ своей красной рубахѣ. А тамъ, далѣе, за его пресмыкающейся фигурой, на полкахъ, сквозь сумракъ и дымъ, виднѣлись ряды бутылокъ, штофовъ и полуштофовъ, косушекъ и шкаликовъ съ разноцвѣтною жидкостью.

— Налей-ко, братъ, мнѣ чего ни на есть жиденькаго рюмочку!—лѣниво проговорилъ Кряжевъ, подходя къ стойкѣ и здороваясь съ хозяиномъ.

— Пожалуйте, Митрей Михайлычъ! Чего прикажете? Чистенькаго?—спросилъ тотъ, лебезя передъ Кряжевымъ.

— Все едино! Качай хоть чистенькаго! — отвѣчалъ Кряжевъ и оглянулъ честную компанію.

— А-а-а... па-извольте!—забасилъ солдатъ, оборачивая къ Кряжеву свое красное, пьяное лицо.—Это, ежели вы на счетъ лавки,—мы можемъ... Можемъ!..— И Назарычъ, пошатываясь, помахивая трубкой и сыпля искры, подошелъ къ самому Кряжеву и почти въ упоръ глянулъ на него своими посоловѣвшими глазами.—Ты на счетъ товару, а? Купи! У меня товару—у-ухъ! А, милый человѣкъ? Купишь? Давай торговаться, безъ запросу... по-божески, значитъ...

Сдержанное хихиканье послышалось съ той стороны, гдѣ сидѣли Безпалый съ Кудряшевымъ. Кряжевъ той порой выпилъ стаканчикъ, закусилъ сухой коркой и такъ же въ упоръ поглядѣлъ на служиваго, подумавъ: „Не хитрую же штуку выдумали! Право! Пьянаго солдата натравить захотѣли... Своихъ-то боковъ жаль, стало быть!..."

— Да что у тебя, у служиваго, есть-то?—съ усмѣшкой обратился онъ къ Назарычу.—Вотъ у братца твово есть...

— Я же тебѣ говорю: покупай!—заоралъ служивый. — Сапожныя обноски, портянки старыя да еще...

— Потѣха!—шепнулъ Кудряшевъ.

Явственнѣе раздалось хихиканье. Лексашка косой переступилъ съ ноги на ногу и облокотился на стойку, какъ бы ожидая какого-то представленія. Пьяный Абрамка усмѣхнулся.

— Только-то у тебя и есть, что обноски! — замѣтилъ съ усмѣшкой Кряжевъ.—Коли ужъ очеино ихъ много, такъ заводи торговлю самъ, а мы старой одежой не торгуемъ!

— Какъ ты стоишь передъ начальствомъ, а? Во фрунтъ! Руки по швамъ! Налѣво кругомъ, — маршъ! — загаркалъ солдатъ, размахивая трубкой.

— Какое же ты мнѣ начальство? Кто тебя въ начальники-то ставилъ?—продолжая усмѣхаться, замѣтилъ ему Кряжевъ.

— Аа! Да какъ же ты мнѣ теперь грубить можешь, а? Скрозь строй тебя!— Служивый такъ и лѣзъ на Кряжева съ кулаками.

— Оставь, служивый, до грѣха! Отстань, не замай!—уговаривалъ тотъ.

— Что-о-о?—затрубилъ Назарычъ, все ближе и ближе подшатываясь къ Дмитрію.—Да я изъ твоей рожи, что сдѣлаю, —знаешь?..

— Не кричи, братъ! Не изъ пужливыхъ!—остановилъ его Кряжевъ.—А и не годится тебѣ старику на ссору лѣзть... Тебя уськаютъ, а ты... — И Дмитрій вскользь взглянулъ на Безпалаго.

— Кто его уськаетъ? Не малый робенокъ! Самъ, поди, смыслитъ...—вполголоса промолвилъ Антошка Кудряшевъ.

— Что-о-о?—Уськаетъ?—Кто уськаетъ, а?—Я развѣ песъ какой?—приступалъ солдатъ.

— Тебѣ говорятъ: отвяжись до грѣха... Честью говорятъ!—ровнымъ, спокойнымъ голосомъ твердилъ Кряжевъ, поглядывая на Безпалаго и Кудряшева, ожидая, что тѣ вступятся за Назарыча, и желая сцѣпиться съ ними. Драться же со служивымъ для него не представлялось никакого интереса, ибо служивый никакъ и ничѣмъ не могъ его разобидѣть.

— Аа!—Ну-ко, ну-ко, тронь! Тронь-ко! ну!—бормоталъ солдатъ, плечомъ упираясь въ Кряжева. — Тронь-ко, смѣй! Ну!..—Но ему, видно, и самому наскучило ждать, потому что онъ вдругъ со всего размаха хватилъ Кряжева по спинѣ кулакомъ.

Кряжевъ выпрямился, поднялъ руку и тяжело опустилъ ее служивому на плечо. Тотъ отшатнулся, но въ ту жъ минуту опять полѣзъ съ кулаками на Кряжева.

— Я тебя такъ вотъ тутъ и...—забурчалъ, было, онъ, но Кряжевъ ухватилъ его за горло и такъ быстро двинулъ къ стѣнѣ, что служивый, пятясь, чуть не сшибъ съ ногъ Безпалаго, пробиравшагося съ Кудряшевымъ къ выходу.

— Бросьте, Митрій Михайлычъ! Ну его... Народъ еще, гляди, соберется...— взывалъ цѣловальникъ, выбѣгая изъ-за прилавка.—Тѣ его шибко подпоили... захмѣлѣлъ совсѣмъ.

И когда Кряжевъ отпустилъ запыхавшагося служиваго, тотъ какъ снопъ повалился на лавку и, придя въ себя, тупо поглядѣлъ на Кряжева.

— Не хорошо, не хорошо, служивый! Изъ-за брата подставлять свои старыя кости! Ну, дѣло-ли это, а? Жалость глядѣть на тебя... — говорилъ Кряжевъ съ досадой. — Не тронулъ бы я тебя, да... Ну, прости, что помялъ маленько.

И Кряжевъ пошелъ вонъ.

— А, вѣдь, правду говорилъ! Ей-Богу, правду!—дрожащимъ голосомъ заговорилъ солдатъ и, опустивъ на руки свою сѣдую, стриженную голову, тихо заплакалъ.

Косой Лексашка, глядя на него, глупо ухмылялся во весь ротъ...

Когда Кряжевъ подходилъ уже къ своей хаткѣ, по безмолвной смуринской улицѣ пронеслась во весь духъ тройка лихихъ почтовыхъ лошадей, по направленію къ школѣ. „Надо быть, учитель!“ промелькнуло у него въ головѣ.

V.

Доброе начало.

Владиміръ Дмитріевичъ Верхозовъ, смуринскій сельскій учитель, былъ студентъ казанскаго университета, человѣкъ молодой, лѣтъ 28, средняго роста, худой, сухощавый, съ смуглымъ, желтоватымъ лицомъ, съ карими, большими глазами, отъ страшной худобы казавшимися еще больше, съ рѣденькой, темной бородкой и съ темными же, гладко выстриженными волосами. Верхозовъ былъ очень нервенъ и очень желченъ. Казалось, во весь день не выпадало ни одной минутки, когда бы онъ не волновался. Сидя-ли наединѣ, за книгой, или бесѣдуя въ обществѣ, онъ перекидывалъ, обыкновенно, ногу на ногу и раздражительно покачивалъ ногой, какъ бы въ тактъ мыслямъ, тѣснившимся въ его головѣ. Иногда нога двигалась тише, иногда же начинала покачиваться быстрѣе, учащеннѣе, сообразно тому, замедлялся, или ускорялся ходъ его мыслей. Часто онъ былъ разсѣянъ, не слыхалъ, что ему говорили, и отвѣчалъ невпопадъ. Позабывшись, выйти на улицу безъ шапки, не поздороваться или не попрощаться— было для него самымъ обыкновеннымъ дѣломъ. И онъ худѣлъ, тощалъ съ каждымъ днемъ, сгоралъ, какъ отапливающаяся свѣчка, поставленная на вѣтру...

На другой день послѣ описанной стычки въ кабакѣ, происходило открытіе сельской школы. Отецъ Петръ отслужилъ молебенъ,

и учитель переписалъ всѣхъ учениковъ и ученицъ по имени и по фамиліи. Учитель и священникъ были приглашены на обѣдъ къ Лизаветѣ Петровнѣ. Передъ самымъ уже обѣдомъ пріѣхалъ изъ города Каряиновъ съ судебнымъ слѣдователемъ, чрезвычайно молчаливымъ молодымъ человѣкомъ, недавно лишь познакомившимся съ госпожею Водяниной. Учитель и слѣдователь хранили молчаніе, предоставивъ разговоръ хозяйкѣ и словоохотливому ея обожателю; священникъ изрѣдка вставлялъ свое словцо. Только разъ—и то уже въ концѣ обѣда—Верхозовъ нарушилъ молчаніе, именно когда Николай Ивановичъ, со своею обычною развязностью и ухарствомъ, принялся развивать ту мысль, что крестьяне любятъ пользоваться на даровщинку услугами другихъ, что они чужой трудъ не ставятъ ни во что.

— Прошедшее, по крайней мѣрѣ, не представляетъ, мнѣ кажется, такихъ случаевъ, когда бы нашъ народъ пользовался чьими нибудь услугами даромъ!—замѣтилъ Верхозовъ.—Онъ всегда платилъ щедро.

— Я только положительно знаю, что мужикъ—вообще черный народъ—на учителей, на писателей, вообще на людей, занимающихся умственнымъ, а не ручнымъ трудомъ, смотритъ просто, какъ на бездѣльниковъ, которымъ даромъ деньги съ неба валятся за то, что они бары,—возразилъ Николай Ивановичъ съ самодовольнѣйшимъ видомъ.

— А за что же бы мужику слишкомъ уважать науку? Она до сей поры служила только намъ, а для него она еще почти ничего не сдѣлала путнаго!—съ усмѣшкой замѣтилъ Верхозовъ.

Каряинову, повидимому, учитель не особенно понравился... Священникъ, выходя изъ за стола, замѣтилъ, что „народъ еще теменъ, и долго учить его надо, чтобы добиться отъ него проку“.

— Всѣ мы еще батюшка, темные люди! — съ легкимъ вздохомъ отозвался Верхозовъ, чѣмъ сильно удивилъ отца Петра.

— А позвольте полюбопытствовать, гдѣ вы изволили кончить образованіе?—обратился послѣ обѣда священникъ къ учителю, когда тотъ, закуривъ сигару, принялся шагать по залѣ, а Каряиновъ со слѣдователемъ и съ хозяйкой ушли въ гостиную.

— Кончилъ я въ гимназіи, кончилъ и въ университетѣ, а образованія все еще не кончилъ!—отвѣтилъ Верхозовъ, останавливаясь передъ отцомъ Петромъ, потягивавшимъ длинную трубку.

— Смиреніе паче гордости!—съ улыбкой замѣтилъ священникъ.

Но Верхозовъ уже не слышалъ и опять принялся шагать по комнатѣ. Лобъ его наморщился, густыя брови нахмурились. Священникъ, молча, слѣдилъ за нимъ глазами, вздыхалъ, шепталъ „о Господи Боже“, и красивыми кольцами выпускалъ изо рта пріятный дымъ Жукова.

— Откуда вы такого выкопали?—спрашивалъ вполголоса Николай Ивановичъ хозяйку.—На гвоздяхъ не спитъ?

— Да развѣ Владимиръ Дмитричъ похожъ на такого?..—въ свою очередь спросила Лизавета Петровна.—О, нѣтъ! Онъ—человѣкъ больной, раздражительный... Не знаю, какъ ужъ онъ справится со школой!..

Николай Ивановичъ только плечами пожалъ...

Въ тотъ же день вечеромъ Верхозовъ давалъ вступительный урокъ. Въ классной ярко горѣли двѣ лампы, освѣщая бревенчатыя стѣны, съ длинными рядами моха, и гладко, заново выструганный потолокъ. Около сотни мальчиковъ и дѣвочекъ—отъ 7 до 14 лѣтъ — сидѣло на лавкахъ, за новыми столами. Черная, блестящая доска стояла въ одномъ углу, а на ея приступочкѣ бѣлѣлъ кусочекъ мѣла. Въ комнатѣ припахивало сосной — свѣжимъ, не просохшимъ деревомъ. Лизавета Петровна, въ сопровожденіи Каряинова и отца Петра, явилась на вступительную лекцію. „Добрая барыня“ въ тотъ вечеръ была очень весела: она вся такъ и сіяла, такъ и лучезарилась, при видѣ осуществившейся ея давнишней мечты. Съ какою любовью глядѣли на ребятъ ея голубые, кроткіе, вѣчно молящіе глаза! Съ какою ласкою приглаживала она волосики сидѣвшей съ нею рядомъ дѣвочки! Съ какимъ удовольствіемъ и съ какою надеждою посматривала она на учителя, распрашивавшаго поочередно ребятъ: какъ ихъ зовутъ, кто у нихъ въ семьѣ есть, что они теперь работаютъ и прочее. Каряиновъ сидѣлъ позади Лизаветы Петровны, на краю лавочки и, видимо, скучалъ, позѣвывая въ кулакъ. Отецъ Петръ стоялъ у стѣны и, поглаживая бороду, озиралъ классную. У самой двери помѣстилась кучка дворовыхъ: двѣ-три женщины въ праздничныхъ платьяхъ, кучеръ, староста грайвороновскій и, позади всѣхъ, Кряжевъ. Онъ какъ-то робко, боязливо посматривалъ на маленькаго, чернаго человѣка, который такъ торопливо похаживалъ по комнатѣ, между рядами столовъ, такъ быстро выспрашивалъ обо всемъ ребятъ и такъ заразъ охватывалъ

своими взорами всѣхъ присутствующихъ, словно съѣсть хотѣлъ.

Дворовые дивились, что учитель ужъ „очень просто“ за дѣло принялся.

Однако, ученье, хотя съ виду и было просто, но пошло хорошо. Азбука проходилась по звуковому способу, и черезъ мѣсяцъ ребята начали уже читать и писать.

— Прежде-то, бывало, парень по двѣ зимы учится, да и то ничего не знаетъ, и ни въ зубъ то-ись толкнуть, а у насъ въ четыре недѣли, — вотъ и поди ты!— говорила одна баба.

— Моя-то Машка какъ придетъ домой, такъ сейчасъ и почнетъ писать!—толковала другая.—Ухватитъ уголекъ изъ печи, да и чиркаетъ, и чиркаетъ.

— И-и-и, матка, не говори лучше! Сашутка вечоръ газетину читалъ... Да вѣдь каково внятно! мы инда съ отцомъ диву дались...—восторгалась баба.

Бабамъ было очень любопытно послушать, какъ такъ скоро ребята грамотѣ учатся,—и стали онѣ одна за другой ходить въ школу. Учитель былъ не противъ такихъ посѣщеній, лишь бы не шумѣли. Кряжевъ, побывавъ нѣсколько разъ на урокѣ, однажды вечеркомъ явился къ учителю съ просьбой, „не поучитъ ли онъ и ихъ, стариковъ“. Узнавъ, что желающихъ наберется съ десятокъ, а послѣ, можетъ статься, будетъ и болѣе, Верхозовъ согласился. Условились учиться по вечерамъ въ понедѣльникъ, въ среду и пятницу, часа по два.

„А человѣкъ-то совсѣмъ не страшный! Онъ съ виду-то только этакой“...—думалъ про себя Кряжевъ, идя домой отъ учителя. Учитель ему почему-то все казался гордымъ и сердитымъ. Онъ нѣсколько разъ заговаривалъ съ Лизаветой Петровной на счетъ вечернихъ лекцій, прежде чѣмъ рѣшился, наконецъ, обратиться прямо къ учителю.

VI.

Осенніе вечера.

Деревья стоятъ совсѣмъ голыя. Земля иной разъ по утру и ввечеру подмерзаетъ. Снѣгъ кружится въ воздухѣ. Сѣро кругомъ Смурина и надъ Смуринымъ, все сѣро—и поля, и небо, и туманная даль. Молоченье уже покончили. И Кряжевъ отмолотился, да и брату Василью пособилъ управиться. Не дымятъ овины, и гладкіе, крѣпко убитые токи стоятъ безмолвны и пусты, и лишь вѣтеръ пошевеливаетъ вороха соломы, желтѣющіе за ригами.

Всякъ занимается своимъ дѣломъ. Прокудовъ по субботамъ попрежнему высчитывалъ свои барыши и поглаживалъ себѣ брюшко, съ такимъ видомъ, какъ будто бы онъ одинъ заразъ поглотилъ весь дневной запасъ пищи, потребной для прокормленія всего Смурина. Андрей Безпалый сильно безпокоится, что „братецъ много винища лопаетъ“; а братецъ, покуривая трубку, утверждаетъ попрежнему, что ужъ онъ „поломался-таки на своемъ вѣку“, что „надо и другимъ честь знать“. Все же Закручье вообще частенько постукивало косточками на счетахъ, засѣдало за самоваромъ и гадало-погадывало: „Скоро-ли уймется этотъ лѣшій, Митюха: скоро-ли онъ перестанетъ варзать“, то-есть досаждать почтеннымъ кулакамъ. Антонъ Кудряшевъ все поговаривалъ, что „надо бы безпремѣнно подъ него какую ни на есть химію подвести“. Подъ „химіей“, конечно, разумѣлась вообще какая нибудь пакость... Но ни Антонъ Кудряшевъ, ни сосѣди его до сихъ поръ еще никакой химіи подъ Кряжева подвести не могли. Оставалось только ждать, не поможетъ-ли время — этотъ всегдашній помощникъ злыхъ и добрыхъ начинаній. Смуринцы днемъ работали въ кузняхъ, а по вечерамъ лежали на печи, или починивали кое-что изъ упряжи и сбруи, захаживали въ кабакъ и толковали про то, какую добрую лошадь завелъ Безпалый, больше 100 цѣлковыхъ заплатилъ; про то, что Кудряшевъ на Ведровѣ новый кабакъ открываетъ, а на Борку уже недавно открылъ.

— Вѣдь это, братцы вы мои, что же!— разсуждали смуринцы.—Вѣдь это, значитъ, вся волость его водку пить станетъ!..

Аггушка похаживалъ въ лѣсъ съ ружьецомъ, билъ тетеревей и куропатокъ и часть относилъ на продажу то въ барскій домъ, то къ учителю. Остальную же часть добычи Аггушка оставлялъ себѣ, хотя прежде того вовсе не было замѣтно, чтобы онъ любилъ лакомиться дичиной. Замокъ въ его отсутствіе попрежнему висѣлъ въ пробоѣ. И еще одна странность замѣчалась за Аггушкой: если сестра его, или Кряжевъ, единственныя лица, навѣщавшія его, слишкомъ засиживались у него въ хаткѣ, Аггушка вставалъ, оболокался и говорилъ, что ему надо итти. Евгеша захаживала къ нему часто и все такая невеселая и, плача, говаривала:

— Ахъ, и для чего только я пріѣхала сюда! Знала бы,—утопилась бы лучше. Здѣсь съ тоски же помрешь, все равно! Что за жизнь такая распроклятая! То-ли дѣло было въ Питерѣ...

— Замужъ, что-ли, охота?—замѣтилъ ей однажды братъ.

— Ха! Замужъ! — передразнила дѣвушка.—За Евстигнеича, что-ли?

— Чтожъ! Евстигнеичъ чѣмъ же не человѣкъ?—философствовалъ братъ.—Не дуракъ, чай, обниматься, поди, тоже умѣетъ...

— Ахъ, ну тебя, братецъ, совсѣмъ—и съ писаремъ-то! Не говори лучше, не раздражай!—прикрикнула Евгеша.

— Такъ какого же тебѣ еще рожна надоть?—Я такъ полагаю: дѣвкѣ нуженъ парень,—вотъ и вся недолга!

— Да отвяжись ты, пожалуйста! Ничего мнѣ не нужно... А такъ вотъ только сердце ноетъ, болитъ. И дѣвушка горько заплакала.

— Да я что? Я—ничего... Такъ только, къ слову...—оправдывался Аггушка, крѣпко недолюбливавшій сестриныхъ слезъ, даже, просто боявшійся ихъ.—Не угодишь на васъ...

Въ школѣ шло ученье своимъ порядкомъ. Въ урочный часъ дѣвочки и мальчуганы сходились въ школу, и школа нѣсколько времени стояла тихо; потомъ вдругъ ученики съ шумомъ выбѣгали изъ дверей, и школа оживала. Веселый дѣтскій смѣхъ и говоръ далеко разносился по улицѣ. Кряжеву, около того времени, опять удалось подлить маслица на закручьевскій огонь. Общественная лавка, открывшаяся въ избѣ Федора Горѣлаго, пошла наконецъ хорошо. Много ужъ смуринскихъ забирало въ этой лавкѣ. Слухи, шедшіе съ закручьевскаго берега, о недоброкачественности товаровъ, оказались вздоромъ.

У Кряжева въ ту осень вечера проходили отмѣнно хорошо. Почти каждый вечеръ, если только у барыни не было гостей (а гости вообще бывали рѣдко), Кряжевъ сидѣлъ въ барскомъ домѣ, въ кабинетѣ Лизаветы Петровны. Барыня или читала ему, или разсказывала, или же просто разговаривала съ нимъ. И чего-чего только ни наслушался Кряжевъ въ эти длинные, осенніе вечера, когда вѣтеръ глухо завывалъ по саду, дождь хлесталъ въ окна и крупными каплями текъ по стекламъ, словно весь міръ заразъ хотѣлъ, въ тѣ темныя ночи, выплакать все свое тяжкое, вслухъ недосказанное горе. А въ кабинетѣ было тепло, уютно: топилась печка, и весело потрескивали въ ней сухія полѣнья. Старинные часы мѣрно чикали на стѣнѣ, а Кряжевъ иногда такъ заслушивался и задумывался, что не слыхалъ, какъ часы били ударъ за ударомъ. Только когда чтеніе прекращалось, или обрывался разговоръ, и барыня задумывалась надъ книгою, или выходила въ другія комнаты, Кряжевъ машинально поднималъ голову и пристально смотрѣлъ на верхъ часовъ, гдѣ, изъ-за скалы, выступалъ красиво нарисованный тигръ, съ страшно разверзтой пастью и, въ тактъ съ движеніемъ маятника, поводилъ своими бѣлыми глазищами. Вотъ-вотъ, того-гляди, подожметъ свои мягкія лапы, соскочитъ съ часовъ, вцѣпится Кряжеву въ горло да и почнетъ терзать его на куски.

— Какой это чудной звѣрь!—замѣтилъ онъ разъ барынѣ, кивая головой на старинные часы.

— Это еще дѣдушкины часы!—отвѣтила та.—Любилъ онъ очень такія диковинки покупать... А что? Развѣ страшенъ тигръ?

— Тигръ!—повторилъ Кряжевъ.—Его, значитъ, такъ зовутъ... Гм! Страшонъ... Ночью приснится, такъ испужаешься...

— А люди иной разъ другъ для друга пострашнѣе тигра будутъ!—молвила, съ улыбкой, Лизавета Петровна.

— И то бываетъ!—прошепталъ Кряжевъ и, съ той поры, подолгу и часто заглядывался на страшнаго звѣря, таращившаго на него съ часового циферблата свои буркалы.

Много узналъ, много услыхалъ кузнецъ отъ барыни въ тѣ осенніе вечера. А барыня передавала ему все такъ просто, такъ ясно... И барыня, видимо, старалась добиться того, чтобы рабочій все понялъ, все уразумѣлъ, и когда тотъ перебивалъ ее какимъ-нибудь замѣчаніемъ, доказывавшимъ, что онъ понялъ ея мысль, барыня, видимо, ощущала довольство, и глаза ея съ удовольствіемъ останавливались на ученикѣ. Не даромъ же она и была „добрая барыня". Въ эти вечера Кряжевъ значительно окрѣпъ умомъ и научился смотрѣть гораздо далѣе Смурина и видѣть то, что прежде ему никогда не привидѣлось бы и во снѣ. Онъ узналъ, напримѣръ, что на бѣломъ свѣтѣ очень много живетъ такихъ же крестьянъ-рабочихъ, какъ и онъ, и живутъ они въ такихъ же селахъ, какъ и ихъ Смурино, живутъ такъ же, какъ Смуринцы,—иные получше, иные похуже; но всѣ похвастаться своимъ житьемъ-бытьемъ не могутъ. Узналъ онъ, что заправильщиковъ всѣми дѣлами немного, но они сильны тѣмъ, что учены, все знаютъ, все могутъ и умѣютъ, а крестьяне, какъ слѣпые калѣки, или какъ скотъ, кромѣ своихъ хлѣвовъ, ничего не смыслятъ и думаютъ, что міръ за деревней у нихъ клиномъ сходится, а тамъ дальше что такое,—Богъ

его знаетъ, не сообразишь. Узналъ онъ и о томъ, какія чудеса есть на свѣтѣ, какія машины выдуманы, какіе желѣзные корабли плаваютъ по морямъ и развозятъ людямъ, что надо. И много еще другого узналъ Кряжевъ въ эти ненастные осенніе вечера.

Особенно ему памятенъ выдался какъ-то одинъ вечерокъ...

— Ну, скажите вы мнѣ, Лизавета Петровна, вотъ что!—говорилъ Кряжевъ, облокотивши голову на руки, руками опершись на столъ и пристально смотря на барыню.—Какъ же это ученые-то люди говорятъ этакъ, а?.. Вонъ хошь нашъ мировой, примѣромъ сказать... Вы, говоритъ, лѣнтяи, пьяницы, дармоѣды... Что же это онъ такъ, а? Развѣ онъ не знаетъ, что ежели бы да мы были лѣнтяи-лежебоки, такъ вѣдь намъ и кусать-то стало бы нечего! И пропоицы мы, и такіе-сякіе... Ученый человѣкъ, а говоритъ, Богъ знаетъ что...

Водянина усмѣхнулась.

— Не всѣ же такіе... Другіе про васъ иначе говорятъ...—молвила она и затѣмъ постаралась передать ему въ утѣшеніе, какъ и что говорятъ про нихъ другіе.

— Вотъ вы сказывали: есть, вишь, такіе люди, крѣпко за своихъ стоятъ...—заговорилъ послѣ недолгаго молчанія Кряжевъ.—А, вѣдь, и у насъ такіе-то есть, не учены, сказать по ихнему не смогутъ... А ежели бы всѣ такъ-то, тогда бы, гляди... Учитель ономнясь сказывалъ, какъ одинъ отецъ помиралъ, да сыновей училъ... велѣлъ это, значитъ, себѣ вѣникъ принести... Истинная правда. По прутику-то всѣхъ переломаешь!

Послѣ того разговоръ уже не могъ пойти на ладъ. Кряжевъ скоро простился и ушелъ, оставивъ барыню одну передъ догоравшимъ огнемъ, погруженную въ думы.

Мертвой сторонкой показалось ей Смурино въ тѣ минуты... Ну, вотъ точно погостъ! Вдвинули Смурино въ какой-то глухой уголокъ, да и забыли про него, забыли, что и тутъ люди живутъ. И чудилось ей, что Смурино отдалено отъ всего крещенаго міра за тридевять земель и тридесятью морями, окружено стѣною каменною, высокою, и нѣтъ въ той стѣнѣ ни единой даже щелочки для просвѣта—здѣсь всегда сумерки... Какъ бы проломать эту стѣну? Много, поди, для того силъ надо? Богатыремъ надо быть!.. „Я не богатырь, нѣтъ!“ — говорила самой себѣ Лизавета Петровна...

. . . . . .

А Кряжевъ той порой шелъ по берегу Вожицы, шелъ тихо, не торопясь. Земля въ ту ночь покрылась первымъ снѣгомъ. Между побѣлѣвшими берегами рѣчка тихо катила свои мутныя, темныя воды, отъ снѣга казавшіяся еще темнѣе. Слегка, словно украдкой, поплескивали о берегъ волны. Сѣрая, непроглядная мгла задергивала небо. Вѣтеръ къ ночи стихъ. Деревья стояли неподвижно. И тихо, страшно тихо было въ воздухѣ, какъ тихо бываетъ лишь въ первые дни зимы. Кряжевъ смотрѣлъ на Смурино. Отъ него невдалекѣ темнѣли, словно пришибенныя, хатки. И заходили въ головѣ у него думы. Припомнилось ему и то недавнее время, когда онъ жилъ такъ же, какъ всѣ смуринцы, зналъ столько же, сколько и они, думалъ и чувствовалъ по ихнему. А теперь уже не то, совсѣмъ не то. Прежде у него было желаніе: вдругъ, не учась, изловчиться читать. Но вотъ онъ читать научился. Теперь же ему хотѣлось бы разомъ перелить изъ своей головы во всѣ смуринскія головы свое знанье. Это было уже похитрѣе, чѣмъ научиться читать. Какъ передать смуринцамъ все то, что̀ онъ чувствуетъ самъ теперь, вотъ въ этотъ тихій вечерній часъ! Какъ имъ растолковать все, когда онъ и самъ многаго словами не могъ бы высказать! Ежели бы подмога была, тогда бы такъ. И глядя на безмолвныя, забѣлѣвшія поляны и на черныя, кривыя избенки, Кряжевъ опять почувствовалъ кругомъ себя ту гнетущую, мертвящую пустоту, какая ужъ не разъ давала ему чувствовать себя.

У него на Смуринѣ—вонъ въ тѣхъ лачугахъ, тоже есть родные, близкіе. Есть братъ, мать. Да что онъ подѣлаетъ съ братомъ, если братъ норовитъ сторониться отъ него. А мать уже 5 лѣтъ, почитай, съ той поры, какъ онъ отдѣлился отъ брата, да не захотѣлъ жениться на Марьѣ Сергѣевой, и двухъ словъ съ нимъ не промолвила. Она къ нему и глазъ не кажетъ, возится со своей внучкой и ровно, кромѣ „Васеньки“, нѣтъ у нея сына. Есть у Кряжева и въ Закручьи благопріятель. Ну, да Богъ съ нимъ, съ этимъ благопріятелемъ! Лисанька — хитрая штука: ей пальца въ ротъ не клади. Вонъ и тамъ, за этимъ садомъ, живетъ хорошій человѣкъ, котораго онъ только что оставилъ. Добрая барыня, да все же вѣдь барыня; значитъ, не свой братъ... Вонъ опять тамъ, на косогорѣ въ черной банькѣ, чудно̀й человѣкъ живетъ. Да кто его распознаетъ: что̀ онъ такое есть? Иной разъ Аггушка глядитъ на него такъ, какъ будто к ко-

битъ его, крѣпко любитъ, а въ другой разъ посмотритъ—смѣется и все точно на что-то злится и такія неладныя слова говоритъ, что просто всю душу воротитъ.

— Эхъ, кабы мнѣ собакой оборотиться! —сказалъ разъ Аггушка.—Злющая бы я былъ собака...

— А тебя бы палкой зашибли!—смѣшкомъ замѣтилъ ему Кряжевъ.

— И пущай! Шкура-то не дорогого и стоитъ!—возразилъ тотъ.

Ну, не чудной-ли послѣ этого человѣкъ Аггушка!.. И еще живѣе чувствуетъ Кряжевъ, что нѣтъ около него ни одной души живой, ему близкой, понятной ему, такой, которая бы разумѣла его... „Село, кажись, и родное, а вотъ, поди ты, и собаки своей нѣтъ! Никто къ тебѣ не поластится!“ съ горечью подумалъ онъ. Только то, видно, и будетъ, что всѣ отшатнутся отъ него, какъ отъ чумного, зачнутъ на него пальцами показывать и забудутъ его, а если и вспомянутъ добромъ, такъ развѣ тогда, какъ могила приметъ его грѣшное тѣло, и высокій бугоръ насыплютъ надъ нимъ. Сердце его глухо и какъ-то непривычно для него вдругъ заныло, точно бѣду чуяло... „А ну, добро! Этакъ-то, пожалуй, еще вольготнѣе! Некому хошь по тебѣ плакать будетъ“...—ободряетъ себя Кряжевъ. Мелькаетъ мысль о томъ, что есть, однако, на свѣтѣ *одна душа,* и живетъ она близко—вонъ на томъ берегу...Стоитъ слово молвить, прилетитъ голубка и топоромъ не отгонишь! Но это воспоминаніе о красивой дѣвкѣ не принесло, видно, ему отрады. Лицо его нахмурилось, и глаза невольно отворачивались отъ мутныхъ водъ рѣчки, словно бы въ этотъ зимній вечеръ Кряжевъ опять ожидалъ увидать выходящую изъ водъ красавицу... Какіе хорошіе, добрые глаза; какая ласковая улыбка; какіе волосы черные и блестящіе! Кряжева вдругъ какъ будто жаромъ обдало... „Ну ее къ чорту!“ молвилъ онъ про себя, идя къ своей хатѣ. Всѣ эти думы, которыя мы такъ долго передавали на бумагѣ, въ одну минуту пронеслись въ головѣ его. Завтра эти мрачныя думы скроются, пройдутъ...

VII.

Назарычъ сводитъ счеты.

Въ тотъ же самый вечеръ, въ избѣ у Андрея Безпалаго вышелъ большой шумъ.

— Такъ ты такъ-таки и не дашь, а?—спрашивалъ служивый, сидя на лавкѣ, разставивъ ноги и поглядывая на брата изъ-подъ своихъ сѣдыхъ, нависшихъ бровей.

— Такъ-таки и не дамъ!—подтвердилъ тотъ, отодвигая отъ себя допитую чашку и утирая рукой губы и кстати носъ. — Хошь чаю, такъ пей, налью! А водки нини! И не проси! Да это что же? Просто, деньгамъ одинъ изводъ. На тебя, видно, не напасешься. Знай себѣ косушки ставь! Да что жъ это такое!

— Братъ!—перебилъ, было, солдатъ.

— И не проси, не дамъ!—строго замѣтилъ Безпалый, фыркая отъ сильнаго негодованія.

— Послушай!—снова перебилъ служивый.

— И слушать не хочу...И не проси, и...

— Сми-р-р-р-но! — загремѣлъ солдатъ, вдругъ выпрямляясь, и со всего размаха такъ хватилъ кулакомъ по столу, что рамы въ оконницахъ задребезжали, чашки чайныя ходенемъ заходили по столу, а крышка слетѣла съ самовара и, звеня, покатилась по полу.

Безпалый осовѣлъ: почтенная невѣстушка, весь день разжигавшая мужа противъ служиваго, такъ и присѣла со страху.

— Смир-р-р-но! — заревѣлъ опять солдатъ, замѣтивъ, что Безпалый перебиралъ губами.

Теперь солдатъ стоялъ у стола, вытянувшись во весь ростъ и грозно сверкая глазами на брата и невѣстку, ровно онъ своими взглядами хотѣлъ пришибить ихъ на мѣстѣ.

— Теперь ужъ я буду говорить, а ты слушай, да и уходить не смѣй! Прищемлю!—заоралъ служивый.—Раздуракъ-дуракъ я былъ, что за этакую свинью паршивую въ рекруты пошелъ! Мнѣ на ученьи бока ломали, подъ пушки гнали... Ты знаешь-ли, что такое Севастополь, а? Али это васъ не касается? Не торговое дѣло? Живодеры окаянные! Севастополь— это былъ адъ кромѣшный! Понимаешь? А эта вотъ самая голова была тамъ цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ!

Солдатъ ткнулъ пальцемъ себѣ въ голову.

Замѣсто кого же это я лобъ-то подставлялъ, на смерть шелъ, ногъ лишился, сидючи въ болотѣ по колѣно? За тебя, рыло, за тебя! А ты что въ ту пору подѣлывалъ, а? Кузнецовъ грабилъ, мошну себѣ набивалъ, да дома строилъ? Забылъ, поди, что и Богъ-то есть... Ха! И ты, ты, тварь злая и неблагодарная, смѣешь еще говорить, что я у тебя прошу? Я тебѣ, оболтусъ, приказывать, командовать могу!.. А кто сто рублей моихъ зажилилъ, а? А

полушубокъ, а холстъ? А кто въ землю мнѣ кланялся, кто въ ногахъ у меня ползалъ? Ты, ты, подлая рожа! Что буркалы-то уставилъ, али не домекнешь, а?

— Да что же, братецъ...Ты ужъ другой мѣсяцъ у меня живешь...—началъ Андрей Безпалый. — На одну водку, ей - Богу, сколько...

— Молчи, паскудина! — гаркнулъ солдатъ, стуча по столу.—Ничего мнѣ теперь отъ тебя не надо! Только не зови ты меня больше братомъ! Не братъ ты мнѣ! Слышишь?..

Безпалый шмыгнулъ за перегородку и вынесъ оттуда три синихъ ассигнаціи и разложилъ ихъ передъ братомъ на столѣ. Теперь братаны стояли прямо другъ противъ друга, только уголъ стола и самоваръ раздѣляли ихъ. Служивый смотрѣлъ прямо на Андрея, желая подловить его взглядъ, но тотъ, видимо, избѣгалъ такой встрѣчи...

— Это еще что! Ахъ, ты, Іуда! Бери; убирай ты свои пятишницы къ лѣшему!— И Назарычъ, судорожно скомкавъ ассигнаціи, бросилъ ихъ на полъ.

— Братецъ! Да что же, право, я ужъ и не знаю... можно и водки принести...— бормоталъ Безпалый, поглядывая на ассигнаціи, лежавшія у его ногъ, и боясь, какъ бы солдатъ въ сердцахъ не наступилъ на нихъ и не изорвалъ бы ихъ своими сапожищами.

Безпалый мысленно уже каялся, что изъ-за косухи такая исторія вышла.

— Не срамись, по крайности, братецъ!— жалобнымъ тономъ заговорилъ Безпалый, увидавъ, что служивый лѣзетъ за своимъ походнымъ ранцемъ, засовываетъ въ карманъ своихъ штановъ трубочку, накидываетъ на плечи свою сѣрую шинель и берется за палку и шапку.

— Сказано: не зови меня братомъ! Не братъ я тебѣ...—проговорилъ служивый. —Мнѣ изъ-за тебя срамиться нечего... Я не виноватъ, что насъ одна мать на свѣтъ уродила! Правду Митрей-то про васъ говоритъ: живодеры вы, хуже всякаго Іуды... Того хошь совѣсть маломальски зазрила, взялъ да повѣсился... А вы Христа-то десять разъ продали бы, да и не удавились бы... Потому совѣсти у васъ ужъ больно мало... Вотъ что!

Безпалый побѣлѣлъ отъ злости. Все лицо его какъ-то странно подергивало; губы едва-едва шевелились.

— Что̀ жъ! Подь къ Митюхѣ! Онъ тебѣ, може, цѣлый штофъ выставитъ!—пробормоталъ Безпалый, кривя насмѣшливо губы.

— И пойду!—сказалъ солдатъ, идя къ двери и оборачиваясь.

— Такъ деньги-то не возьмешь, что-ли?—спросилъ Безпалый, наклоняясь и поднимая съ пола свои пятишницы.

— Это тебѣ отъ меня на гробъ, да на саванъ! — промолвилъ служивый и вышелъ изъ избы.

Безпалый съ чувствомъ отплюнулся ему вслѣдъ, покрестился на образъ и, присѣвъ къ столу, началъ разглаживать ассигнаціи, грязныя и потемнѣвшія. Съ любовью посмотрѣлъ на нихъ Безпалый и запряталъ опять въ сундукъ, обругавъ своего братца „служиваго“ дуракомъ...

Велико было изумленіе Кряжева, когда онъ въ описываемый вечеръ подошелъ къ своей хаткѣ. На ступеняхъ его крыльца сидѣлъ Назарычъ въ своей солдатской сѣрой шинели и, прикорнувшись къ стѣнѣ, не то дремалъ, не то спалъ. Мѣшокъ и длинная палка лежали съ нимъ рядомъ на землѣ.

— Что за диво?—вслухъ проговорилъ Дмитрій.—Служивый! А, служивый!

И Кряжевъ, наклонившись, притронулся къ плечу спавшаго.

— А? Что?—забормоталъ тотъ съ просонокъ, но, сообразивъ, въ чемъ дѣло, поднялся и всталъ на ноги.—Ухъ, ноги-то отсидѣлъ какъ... да и озябъ же, продрогъ совсѣмъ!—продолжалъ солдатъ, берясь за свой ранецъ.

Онъ оперся на палку и посмотрѣлъ на Кряжева.

— Ночевать пустишь?—спросилъ онъ.

— Войди!—проговорилъ тотъ и, отдернувъ колъ, отворилъ дверь.

Назарычъ послѣдовалъ за нимъ. Зажгли лучину. Дмитрій собралъ кое-что поужинать и поставилъ водки.

— Вишь, какъ иззябъ!.. Выпей-ко, добро, и согрѣешься, — предложилъ Кряжевъ.

Солдатъ выпилъ стаканчикъ и закусилъ немного.

— Ты чего это?—спросилъ своего собесѣдника Кряжевъ, замѣтивъ, что тотъ какъ будто бы прослезился.

— А это такъ ужъ... у меня это бываетъ... глаза слабы!—пробормоталъ служивый, утирая глаза и принимаясь за трубку.

Кряжевъ же порѣшилъ, что братья, видно, изъ-за чего-нибудь маленько повздорили.

VIII.

Чѣмъ лѣчился, тѣмъ и ушибся.

Отецъ Василій, или отецъ благочинный, какъ звали его въ околоткѣ, былъ изъ

себя мужчина видный, представительный, лѣтъ 45, высокаго роста, широкоплечій, съ высокою грудью, съ необыкновенно пріятнымъ голосомъ и мягкими манерами. Его благообразное лицо украшалось темно-русой бородкой, а голова на плечахъ сидѣла въ такой неприступно горделивой позѣ, какъ будто бы отецъ Василій отъ роду никогда и никому не кланялся, хотя достовѣрно извѣстно, что онъ низко-низко кланялся, бывая въ консисторіи по дѣламъ. Вообще же это былъ священникъ новаго покроя, человѣкъ кабинетный и даже отчасти ученый. У помѣщиковъ, подобно прочимъ сельскимъ священникамъ, онъ не заискивалъ, а если и заискивалъ, то съ такимъ глубокимъ чувствомъ собственнаго достоинства, что всѣ признаки заискиванія какъ-то стушевывались, и со стороны казалось, что отецъ Василій дѣлаетъ величайшее одолженіе ближнимъ, обязываясь у нихъ. Впрочемъ, и то надо сказать: сами помѣщики были не прочь позаискивать у героевъ нашего времени, у Чиркова съ братіей. Съ Чирковымъ и съ подобными ему благочинный былъ очень хорошъ, такъ какъ онъ уже давно разгадалъ и уразумѣлъ, куда вмѣсто „дворянскихъ гнѣздъ“ должно было итти съ поклономъ; на прихожанъ-мужиковъ отецъ Василій смотрѣлъ свысока и безъ крайней надобности ихъ къ себѣ на глаза не пускалъ, отсылая ихъ къ своему помощнику, младшему священнику, отцу Александру. Самъ въ праздники съ крестомъ ходилъ рѣдко и съ крестьянами хлѣба-соли не водилъ. За все это крестьяне его прозвали „гордымъ“.

Отецъ Василій пописывалъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, тиснулъ даже во дни оны статеечку въ „Домашней Бесѣдѣ“, представлялъ длинные отчеты въ статистическій комитетъ и, не безъ чванства, называлъ себя членомъ-корреспондентомъ этого комитета, потому что, кромѣ обязательныхъ свѣдѣній, онъ представлялъ въ комитетъ свои добровольные труды. Онъ читалъ два-три духовные журнала, изъ газетъ же предпочиталъ „Современныя Извѣстія“. О паствѣ онъ мало заботился, предоставивъ свое стадо отцу Александру, и изъ-за книгъ и отчетовъ не видалъ копошившейся кругомъ него бѣдности. Приходъ для него былъ не дѣйствительностью въ сермягахъ и въ драныхъ шугаяхъ, а просто рядами отвлеченныхъ цифръ рожденій, браковъ, смертности и прочаго. Съ рабочими онъ самъ не возился: ихъ договаривалъ, нанималъ, присматривалъ за ними и расплачивался или отецъ дьяконъ, или же племянникъ, Семенъ Васильевичъ, уже извѣстный читателю пьяненькій педагогъ. Домашній обиходъ лежалъ на кухаркѣ и на поповнахъ: отецъ Василій уже вдовѣлъ седьмой годъ.

Съ полуденной стороны дома былъ разбитъ небольшой цвѣтничекъ, обнесенный красивою зеленою рѣшеткой, а немного далѣе, черезъ дворъ, находился садикъ. Отецъ Василій любилъ прогуливаться въ цвѣтничкѣ и даже по вечерамъ иногда самъ поливалъ цвѣты, при чемъ одна которая-нибудь изъ дочерей, Варенька или Людмиленька, носила ему отъ колодца лейку съ водой. Кабинетъ его выходилъ въ палисадникъ, и отецъ Василій также частенько, посиживая съ книгой у окна, любовался на астры, жонкили, бархатцы и на свои любимыя махровыя георгины. Благочинный жилъ въ собственномъ двухъэтажномъ домѣ съ мезониномъ. Въ мезонинѣ, или „въ свѣтелкѣ“, пріютились Людмиленька съ Варенькой, въ верхнемъ этажѣ господствовалъ самъ благочинный, а внизу гнѣздилась школа. У входной двери въ верхній этажъ висѣлъ колокольчикъ съ блестящей ручкой, единственный колокольчикъ во всей смуринской волости. Отецъ Василій любилъ принимать у себя городскихъ гостей, чиновниковъ и въ особенности людей ученыхъ. Каждому гостю съ достодолжной аккуратностью сообщалось, какъ отецъ благочинный трудится на пользу статистики, какъ благодаритъ его комитетъ, и даже владыка съ губернаторомъ почтили его посильные, скромные труды своимъ милостивымъ вниманіемъ. При этомъ отецъ Василій показывалъ гостю письменныя доказательства, совершенно подтверждавшія его слова. Онъ выкладывалъ документъ за документомъ, и съ каждымъ разомъ голова его поднималась все выше и выше, грудь выпячивалась пуще и пуще, благообразное лицо становилось болѣе и болѣе серьезно, и губы крѣпко-на-крѣпко сжимались.

Большой письменный столъ занималъ чуть-ли не треть его кабинета и также составлялъ предметъ гордости хозяйской. На столѣ всегда были навалены книги, кипы газетъ и бумагъ; стояла громадная стеклянная чернильница, громадная песочница; подъ столомъ помѣщалась плетеная корзинка для ненужныхъ бумагъ и писемъ. И между этимъ большимъ письменнымъ столомъ, между кресломъ отца благочиннаго и его приходомъ лежала глубокая бездна.

Слава о смуринской школѣ дошла и до Красныхъ Горокъ, до отца благочиннаго

и его племянника. Дошли также до нихъ слухи о томъ, что, по милости Кряжева, смуринскіе мужики отказались платить на красногоркинскую школу. Прогнѣвался отецъ благочинный, и три дня сряду пьянствовалъ съ горя его любезнѣйшій племянничекъ. Дѣла принимали такой оборотъ, что красногоркинской школѣ не въ далекомъ будущемъ угрожало закрытіе, а учителю полная отставка. Учениковъ было мало, человѣкъ 12. И дѣйствительно, красногоркинскіе стали уже поговаривать, „вѣроятно, по наущенію Кряжева", какъ думалъ отецъ благочинный, о томъ: не лучше-ли имъ въ самомъ дѣлѣ закрыть свою школу, а платить по условію, сколько придется, на смуринскую школу. Тѣмъ болѣе было удобно отсылать имъ своихъ ребятъ на Смурино, что при школѣ была устроена столовая, гдѣ приходящіе могли жить на своемъ хлѣбѣ и на своихъ харчахъ. Отъ барыни была нанята кухарка.

— А у насъ, братцы, надо быть, робята ничему путному не научатся у Семенъ Васильича!—говорили въ Красныхъ Горкахъ.

— Еще бы! Знай себѣ только пьянствуетъ, да надъ робятами озорничаетъ!—замѣчалъ одинъ родитель.

— У меня Гаврюха кою зиму ходитъ, а въ книгѣ читать не умѣетъ!—говорилъ другой.—Надоть порѣшить ее и совсѣмъ, школу-то!

Рѣшили послать ходока на Смурино, разузнать все, какъ слѣдуетъ, и переговорить съ барыней, а затѣмъ, если понадобится, собрать сходъ покончить со школой. Отецъ же благочинный, хотя и называлъ своего непутеваго племянничка „чудышкомъ" и „сокровищемъ", но тѣмъ не менѣе радѣлъ о немъ, и, во всякомъ случаѣ, не могъ допустить, чтобы крестьяне закрыли школу, находящуюся подъ его вѣдѣніемъ.

„Сокровище-то опять, гляди, на мою шею сядетъ! Никуда его не пристроишь!—разсуждалъ самъ съ собою отецъ Василій.—Не хорошо!.. И въ городѣ заговорятъ, забубнятъ, спросятъ: „Отчего, отецъ Василій, крестьяне школу у васъ закрыли?" „Гм! Отчего! Оттого, что народъ ужъ больно распущенъ, всякаго дурака слушается! Ну, чего тутъ этому Митькѣ надо, спрашивается? Зналъ бы сверчокъ свой шестокъ, не совалъ бы свой носъ не въ свое дѣло, куда не спрашиваютъ... Это онъ для своей барыни подрадѣть хочетъ, ребятъ изъ другихъ школъ къ себѣ переманиваетъ!" Отецъ благочинный рѣшился пустить въ ходъ все свое вліяніе, употребить всѣ мѣры для спасенія школы и для обезпеченія за племянникомъ его ста двадцати-рублеваго жалованья...

— Ты, смотри, Семенъ, учи ихъ толкомъ, да не очень муштруй! Слышишь?—говорилъ племяннику отецъ Василій.—Не ударь лицомъ въ грязь... ужъ постарайся!..

— И такъ ужъ, кажется, учу... А какъ ихъ не бить? Нельзя не бить!—возражалъ тотъ.

— Точно, безъ наказанія нельзя, да все-таки не слишкомъ того... понимаешь? Отецъ дьяконъ мнѣ сказывалъ, что Дмитрій смуринскій все мутитъ. Надо уладить это дѣло во что бы то ни стало...

Учитель стоялъ у стола въ своемъ одерганомъ сюртучишкѣ, а благочинный въ свѣтлолиловой рясѣ сидѣлъ, развалившись въ креслахъ, и посматривалъ на племянника.

— Видишь, лицо-то у тебя какое нехорошее... Точно цѣлую недѣлю пьянствовалъ безъ просыпа... Не хорошо, не хорошо, Семенъ!—покачивая головой, промолвилъ отецъ Василій.

— Да я ужъ, дяденька, постараюсь!—бормоталъ Семенъ Васильевичъ, корча изъ себя угнетенную невинность.—Вы тутъ все можете... вамъ только стоитъ со старостой поговорить.

— Вотъ допишу письма, позову его, а ты съѣзди!—сказалъ благочинный, поднимаясь съ креселъ и ходя по комнатѣ.—Съѣзди, посмотри, да такъ, знаешь, какъ будто не нарочно пріѣхалъ, а просто заѣхалъ по пути.—Понимаешь?

— Я, дяденька, такъ все и сдѣлаю, какъ вы изволили говорить!—молвилъ Семенъ Васильевичъ, почтительно отступая къ двери.

— Такъ и сдѣлай!—подтвердилъ и отецъ благочинный.

— А на счетъ Митьки отецъ дьяконъ вѣрно сказалъ... Это онъ... Они тамъ съ барыней все...

— Ну ладно, ступай! Да не пить у меня, слышишь!—крикнулъ отецъ Василій въ слѣдъ племянничку, когда уже дверь затворилась за нимъ

Это происходило въ воскресенье.

Верхозовъ, свободный отъ школьныхъ занятій, читалъ какую-то нѣмецкую книгу и дѣлалъ изъ нея выборки. Классная, если помнитъ читатель, была рядомъ съ учительской комнаткой,—и поэтому Верхозовъ могъ слышать все, что происходитъ по сосѣдству съ нимъ. Часу въ первомъ дня, онъ услыхалъ, что дверь въ классную отворилась, кто-то вошелъ

и ходилъ между столами, осторожно ступая сапогами. Классная никогда не запиралась, въ нее могъ входить каждый, когда угодно, и Верхозовъ вовсе не удивился, заслышавъ скрипъ двери. Но подумалось, не къ нему-ли пришелъ кто-нибудь, не его-ли ищетъ какой-нибудь родитель, желающій помѣстить въ школу свое дѣтище. Онъ быстро прошелъ коридоръ и, растворивъ дверь классной, остановился не безъ удивленія, увидавъ передъ собою Семена Васильевича.

— Что вамъ нужно?—не очень-то мягко спросилъ онъ посѣтителя, принявъ его за писаря-пьянчужку.

— Я думалъ, что можно посмотрѣть...— Извините, пожалуйста! — проговорилъ Семенъ Васильевичъ, торопливо скидая фуражку и съ поклономъ вылѣзая изъ-за партъ.

— Да кто вы такой?—спросилъ Верхозовъ.

— Я тоже-съ учитель... изъ Красныхъ Горокъ...

На это Верхозовъ сказалъ, что учитель изъ Красныхъ Горокъ можетъ осматривать школу, сколько ему угодно, и хотѣлъ, было, уже уйти, какъ Семенъ Васильевичъ объявилъ, что онъ ужъ все осмотрѣлъ, и вышелъ вмѣстѣ съ нимъ изъ классной.

— Дверца-то у васъ безъ запора!—замѣтилъ посѣтитель.

— Запора и не нужно!—возразилъ ему Верхозовъ, быть можетъ, слыхавшій кое-что о неудовольствіи благочиннаго и въ пріѣздѣ учителя подозрѣвавшій какія-нибудь каверзы. — Школу должны всѣ оберегать. Сторожей не надо. Развѣ только какой нибудь отчаянный болванъ рѣшится принести школѣ какой-нибудь вредъ...

— Ахъ, народъ-то здѣсь!—съ легкимъ вздохомъ и улыбкой сожалѣнія началъ, было, гость.

— Что же! Народъ, какъ народъ... какъ вездѣ. Не хуже и не лучше!—серьезно перебилъ его Верхозовъ.

— Такъ-съ. А вы здѣсь, должно быть, еще недавно... Очень пріятно! Будьте знакомы!

Послѣднія слова Семенъ Васильевичъ проговорилъ мягкимъ, заискивающимъ тономъ. Верхозовъ молча поклонился и пошелъ въ свою комнату. Семенъ Васильевичъ, кажется, надѣялся попасть въ учительскую комнатку и тамъ еще понюхать, но не удалось. Даже онъ, при всей своей малой проницательности, замѣтилъ по лицу Верхозова, что тому вовсе непріятно „быть знакомымъ" съ красногоркинскимъ педагогомъ... „Фю, фю, фю! Носъ-то какъ задираетъ! Просто мое почтенье!.. Ровно профессоръ... Ха!"—самъ про себя говорилъ красногоркинскій учитель, взбираясь на лошадь и отправляясь въ обратный...

— Экое сокровище Богъ далъ, а!—въ тотъ же вечеръ говорилъ отецъ Василій, ускореннымъ шагомъ ходя по своему кабинету и съ негодованіемъ поглядывая на пьянаго племянника, стоявшаго прислонившись къ притолкѣ.—Ужъ назюкался, а? Кто денегъ далъ? Говори! Варюшка или Людмила? Ну, что же молчишь-то? Языка лишился, что-ли?—возвышая голосъ, спросилъ благочинный и остановился передъ несчастненькимъ учителемъ.

— Я, дяденька, ей-Богу... какъ вы сказали... рю-юмочку одну... виноватъ, дяденька!.. — бормоталъ племянникъ, еле шевеля языкомъ и глубоко понурившись.

— Такъ ребятъ никого не видалъ? — продолжалъ допрашивать отецъ Василій.— Не спрашивалъ у нихъ: деретъ-ли? И насчетъ книгъ не узнавалъ о молитвахъ, а?.. Да ну-же, говори!

— Виноватъ, дяденька... ей-Богу я вин-н... И племянничекъ такъ выразительно прикрылъ ладонью свои уста, что отецъ Василій только рукой махнулъ.

— Фу, ты, прости Господи! Ну, вотъ и дѣлай дѣло съ такимъ олухомъ!—возопилъ благочинный.—Пошелъ, выспись!

Верхозова, между тѣмъ, чрезвычайно раздражило такое подсматриваніе. Онъ уже подозрѣвалъ, для чего являлся къ нему этотъ пьяненькій, красноглазый человѣчекъ, руки котораго тряслись, и который весь, казалось, разбухъ отъ вина, отупѣлъ и поглупѣлъ. Кряжевъ уже объяснялъ ему, что благочинный стоитъ за своего племянника и на смуринскую школу, перетягивающую къ себѣ послѣднихъ учениковъ изъ Красныхъ Горокъ, смотритъ косо. Для Верхозова было ясно, что въ его школѣ будутъ стараться найти темныя пятна и, при случаѣ, даже не откажутся отъ какого нибудь подкопа. Хотя онъ отъ своихъ питомцевъ, прежде учившихся въ Красныхъ Горкахъ, уже имѣлъ нѣкоторое понятіе о той школѣ, но вознамѣрился видѣть ее лично и отдать визитъ Семену Васильевичу.

— Пусть же видятъ, что я не бѣгу, не скрываюсь отъ нихъ!—въ тотъ же день послѣ вечернихъ чтеній говорилъ онъ Кряжеву.—Самъ къ нимъ приду и посмотрю на ихъ ученье...

Въ четвергъ, черезъ три дня послѣ посѣщенія Семена Васильевича, Верхозовъ объявилъ своимъ ребятамъ, что ученіе у

нихъ будетъ послѣ обѣда, нанялъ бойкую лошадку съ бойкимъ же молодымъ парнемъ и, закутавшись въ сѣрый, толстый пледъ, поскакалъ въ Красныя Горки. Хотя снѣжку уже давно напорошило, но вѣтромъ съ дороги его посмело, и потому ѣздили еще на колесахъ. Ѣзда была хорошая: мерзлая земля была гладко укатана, какъ скатерть. Верхозовъ живо отмахалъ 15 верстъ и не успѣлъ очнуться, какъ тележка его подкатила къ дому отца Василія.

Семенъ Васильевичъ въ то утро пришелъ въ классъ, по обыкновенію, съ пустою головой и не въ духѣ: ему никакъ не удалось достать денегъ, чтобы опохмелиться. Сердито принялся онъ спрашивать урокъ, треснулъ нѣсколько разъ книгой по головѣ одного парнюгу, другого огрѣлъ по затылку, но урокъ все еще шелъ сносно, безъ кровопролитія: ребятишки, словно чуя надъ собой невзгоду, не баловали, и учителю не представлялось случая сорвать свое сердце. Вдругъ мальчикъ, писавшій на доскѣ, уронилъ мѣлъ, мѣлъ покатился подъ переднюю лавку. Другой мальчуганъ бросился поднимать его и наступилъ ногой; мѣлъ разсыпался. Дверь была тотчасъ же заперта, явились прутья. Мальчика, обронившаго мѣлъ, двое старшихъ учениковъ взвалили на столъ, и Семенъ Васильевичъ, вооружившись лозой, сталъ отводить свою душу. Когда мальчикъ охрипъ отъ крика, мѣсто его занялъ другой преступникъ, уничтожившій кусочекъ мѣла. Но это былъ мальчикъ лѣтъ 14, довольно сильный и, во время наказанія, онъ нѣсколько разъ вырывался изъ рукъ своего мучителя и пытался проскочить въ дверь, но учитель лично вступалъ съ нимъ въ борьбу, снова полагалъ его на столъ и хлесталъ съ двойной яростью, такъ что чуть руку не вывихнулъ. Мальчикъ напрягалъ послѣднія, отчаянныя усилія вырваться изъ-подъ розогъ, какъ вдругъ въ дверь раздался стукъ.

— Кто тутъ?—прорычалъ Семенъ Васильевичъ, едва переводя духъ отъ усталости.

— Смуринскій учитель! — раздался за дверями голосъ.

— Ахъ, чортъ тебя...Ну, ты! одѣвайся!— шопотомъ проговорилъ второпяхъ Семенъ Васильевичъ, подсовывая подъ парту прутья.

Затѣмъ онъ любезно впустилъ учителя, съ которымъ самъ желалъ „быть знакомымъ". Отъ Верхозова, повидимому, не укрылось происходившее передъ его приходомъ. Онъ взглянулъ на двухъ заплаканныхъ, раскраснѣвшихся мальчугановъ, со взъерошенными волосами; онъ наклонился и поднялъ съ полу нѣсколько прутиковъ и положилъ ихъ на столъ.

— Не угодно-ли прислушать? Вотъ не угодно-ли сюда, на стулъ?—говорилъ той порой Верхозову Семенъ Васильевичъ, желавшій во что бы то ни стало отвести своего гостя подальше отъ заплаканныхъ мальчиковъ.

— Не безпокойтесь, я постою!—отвѣчалъ гость.—Продолжайте, пожалуйста. Я не помѣшаю. Мнѣ только хотѣлось у васъ послушать...

— Чему вамъ учиться у насъ! Намъ нужно учиться у васъ! — съ смиренной улыбочкой промурлыкалъ учитель.

— Напрасно вы такъ думаете: я еще новичокъ въ этомъ дѣлѣ!—съ улыбкой же возразилъ Верхозовъ.

— Читай „вѣрую"!—приказалъ Семенъ Васильевичъ одному изъ своихъ старшихъ учениковъ.

Тотъ, не переводя духу, прочиталъ „вѣрую" и, произнеся „аминь", остановился, какъ вкопанный. Ученикъ дышалъ такъ тяжело, какъ будто бы безъ отдыху пробѣжалъ съ версту или болѣе. Семенъ Васильевичъ милостиво кивнулъ ему головой.

— Восемью девять? — обратился онъ къ другому.

— Семьдесятъ два!—отрѣзалъ тотъ.

— Скажи „Стрекозу и Муравья"!—приказалъ Семенъ Васильевичъ, беря ласково мальчугана за плечо.

Тотъ отбарабанилъ половину басни безъ запинки, но вдругъ остановился и ни тпру, ни ну, въ смущеньи, можетъ быть, отъ необычной учительской ласки.

— Хорошо же ты знаешь! А сколько разъ учили эту басню, а? Все еще не вытвердилъ! Не хорошо! Лѣнишься! — умѣренно-строгимъ тономъ замѣтилъ Семенъ Васильевичъ.—Садись!

Ученики съ изумленіемъ переглянулись: Терешка по какому-то случаю не заполучилъ на этотъ разъ затрещины, хотя по всѣмъ ихъ соображеніямъ затрещина слѣдовала Терешкѣ.

— Не угодно-ли вамъ что-нибудь самимъ спросить?—съ достоинствомъ предложилъ учитель Верхозову, усаживаясь въ сторонкѣ на подоконникъ.

— Пожалуй!—согласился тотъ и обратился къ одному изъ заплаканныхъ мальчиковъ:—скажите мнѣ: хорошо-ли сдѣлалъ муравей, что не накормилъ и не пустилъ обогрѣться къ себѣ въ муравейникъ стре-

козу? Вѣдь, у него мѣсто было, кормъ лишній тоже былъ... Муравей, вѣдь, запасливъ!.. Ну, что же! Хорошо онъ сдѣлалъ?

Мальчикъ всталъ и, широко раскрывъ глаза, смотрѣлъ на смуринскаго учителя.

— Добрый-ли это муравей или злой, а?—мягко пояснилъ Верхозовъ.

— Добрый! — сказалъ мальчикъ съ замѣтною нерѣшительностью, причемъ Семенъ Васильевичъ самодовольно ухмыльнулся, словно хотѣлъ молвить: „знай-де нашихъ!"

— Почему же онъ добрый?—спросилъ Верхозовъ, задумчиво взглядывая на мальчика.

— А попрыгунья-стрекоза ничего не собрала про запасъ... Такъ ей и надо!—запинаясь и послѣ долгаго колебанія отвѣтилъ мальчуганъ.

— Вы какъ думаете?—спросилъ Верхозовъ другого мальчика, который смотрѣлъ необыкновенно бойко и смѣло.

— Муравей злой... злюка... — отвѣтилъ тотъ, встряхивая сильно волосами.

— Пожалуй, что и такъ!—промолвилъ Верхозовъ.

Лицо Семена Васильевича при такомъ извращенномъ толкованіи басни вытянулось; но онъ все наматывалъ себѣ на усъ для точной передачи дяденькѣ. „Вали все въ кучу! Тамъ разберемъ! — думалъ онъ про себя... Урокъ, между тѣмъ, кончился; ребятишки начали сбираться по домамъ.

— Скажите, пожалуйста, отчего эти двое такіе заплаканные? Больны они, что-ли?—спросилъ вслухъ Верхозовъ.

— Нѣтъ! Это я имъ маленькое внушеніе сдѣлалъ... Нельзя, знаете-съ...—пояснилъ Семенъ Васильевичъ.

Верхозовъ приподнялъ брови и пошелъ вонъ. А Семенъ Васильевичъ такъ расходился послѣ этого непріятнаго и неловкаго посѣщенія, что въ тотъ же день, за послѣобѣденнымъ урокомъ, выдралъ еще трехъ мальчугановъ; такъ что, наконецъ, Людмиленька ужъ безъ церемоніи подошла къ окну и закричала: „не съ ума-ли онъ сошелъ сегодня, что такъ деретъ ребятъ,—на улицѣ слышно"...

IX.

Повседневщина.

Кряжевъ со старымъ Назарычемъ, между тѣмъ, жили-поживали миркомъ, да ладкомъ. На первыхъ порахъ каждый разъ, при наступленіи сумерекъ, служивый говаривалъ: „А я ужъ ночку еще у тебя переночую!" на что Кряжевъ также всегда отвѣчалъ: „ночуй!" По утру гость съ хозяиномъ опять обмѣнивались однѣми и тѣми-же фразами:

— Я ужъ посижу у тебя!—скажетъ, бывало, солдатъ.

— Посиди!—подтверждаетъ Кряжевъ.

Такъ они переговаривались между собой съ недѣлю времени. Солдатъ все показывалъ видъ, что вотъ-вотъ онъ исчезнетъ. Съ такимъ рѣшительнымъ видомъ выколачиваетъ онъ трубку и съ такимъ рѣшительнымъ видомъ снова набиваетъ ее, какъ будто-бы то была послѣдняя трубка, которую ему предназначено выкурить подъ гостепріимнымъ митюхинымъ кровомъ. Дмитрій очень хорошо видѣлъ, что служивый только фальшивыя тревоги производитъ; очень хорошо зналъ, что некуда ему тащить свои старыя кости, свое разбитое тѣло, некуда приклонить ему свою побѣдную головушку. Поэтому, онъ долго никакого вида не показывалъ и, наконецъ, послѣ двухнедѣльныхъ сборовъ, однажды послѣ ужина, сказалъ солдату такъ:

— Чего тебѣ, служивый, уходить отъ меня! Мѣста у меня въ избѣ не убудетъ. Живу я одинъ и хозяйки заводить не охота! А насчетъ пропитанья ежели,—хватитъ! Съ голоду, гляди, не помремъ! Такъ вотъ я и говорю: оставался-бы ты, добро! Куда итти? Походилъ, чай! Такъ-то!

Служивый разгладилъ краемъ коротенькаго чубучка свои сѣдые усы и потомъ съ глубокомысленнымъ видомъ, приставивъ его къ носу, спросилъ:

— А что же я у тебя дѣлать стану? За лежанье на печкѣ нашего брата не кормятъ...

— Эхъ ты, милый человѣкъ! Да, вѣдь, изба-то у меня иной разъ пустая совсѣмъ стоитъ! — возразилъ Кряжевъ. — Зимой я въ кузницѣ, лѣтомъ въ кузницѣ, а то въ городъ, али по деревнямъ уѣдешь... Все едино: избу-то приходится же коломъ припирать. А насчетъ пропитанья говорю: не сумлѣвайся! хватитъ... А ты по дому подѣлаешь что ни на есть, лѣтомъ на работѣ подсобишь... Вотъ мы и квиты! Ну, такъ по рукамъ, что-ли, да и шабашъ?

— Шабашъ, такъ и шабашъ!—проговорилъ солдатъ, поднося къ глазамъ кулакъ, будто почесывая имъ переносицу.

Такъ съ тѣхъ поръ и поселился служивый у Дмитрія. Длинная палка его стояла въ углу, ранецъ висѣлъ на стѣнѣ подъ полатями, а остальное движимое имущество, то-есть, сапоги, фуражка и шинель были то на служивомъ, то лежали на лавкѣ, въ уголку. Трубка съ коротень-

кимъ, чернымъ чубукомъ всегда покоилась на подоконникѣ—замѣчательная пѣнковая трубка: она была съ крышкой и изображала собой медвѣжью голову, изъ ноздрей и сквозь зубы которой во время куренья валилъ дымъ; съ боку на стальной цѣпочкѣ висѣла мѣдная, большая игла для чистки. Трубка была старенькая, и служивый ею очень дорожилъ, какъ подаркомъ „своего стараго друга", убитаго на Малаховомъ курганѣ въ день послѣдняго приступа. Рядомъ съ трубкой, на подоконникѣ же, всегда лежалъ кисетъ, сшитый изъ треугольниковъ разноцвѣтныхъ матерій, — кисетъ тоже очень старенькій, засаленный и рваный, но очень любезный сердцу солдата. Это давнишній подарокъ одной „кумы" — малороссіянки, въ избѣ которой онъ стоялъ лѣтъ 20 тому назадъ. Съ этими двумя вещами солдатъ никогда не разлучался, а если бы его сдѣлать оцѣнщикомъ при продажѣ этихъ двухъ вещей, то онъ, вѣроятно, заломилъ бы за нихъ такую цѣну, что развѣ только Кузьмѣ Ивановичу Чиркову подъ силу было бы пріобрѣсть ихъ. При началѣ сожительства Кряжева со служивымъ, самымъ труднымъ и щекотливымъ вопросомъ представлялся вопросъ о водкѣ; но служивый самоотверженно рѣшилъ такъ, чтобы пить ему въ день не болѣе трехъ рюмокъ: за завтракомъ, за обѣдомъ и за ужиномъ. Дмитрій противъ такого распредѣленія ничего не имѣлъ. Служивый ходилъ за Чалой, кормилъ-поилъ ее, чистилъ и даже иногда водилъ ее гулять по улицѣ, чѣмъ и приводилъ въ большое волненіе умы всѣхъ смуринскихъ мальчишекъ. Служивый мелъ избу, варилъ щи и кашу, только не могъ управиться съ хлѣбами,—хлѣбы попрежнему пекла для нихъ старуха-сосѣдка. Кряжеву времени для работы и досуга стало выпадать болѣе, и это онъ старался выставлять солдату на видъ, а солдатъ ухмылялся и въ шутку называлъ Кряжева „вашимъ благородіемъ". Днемъ, управившись съ обѣдомъ, служивый сидѣлъ на крыльцѣ, если на дворѣ было красно; тутъ онъ покуривалъ свою трубочку, глазѣлъ по сторонамъ, или собиралъ вокругъ себя ребятишекъ. Ребятишки разглядывали медвѣжью голову, разсуждали, спорили и слушали солдатскія пѣсни. Иногда служивый захаживалъ въ кузницу провѣдать Дмитрія, сидѣлъ у него, толковалъ. Въ сумерки, передъ окончаніемъ работъ, онъ опять являлся къ Кряжеву, забиралъ гвоздь и уносилъ его въ чуланъ. Вечеромъ онъ отдавалъ хозяину рапортъ, начиная его словами: „все обстоитъ благополучно". По вечерамъ солдатъ начиналъ свои безконечные разсказы о походахъ и о войнѣ.

— Французы, вотъ-то народъ!—говаривалъ онъ.— Какъ дѣло кончится, какъ объявится перемиріе, они ужъ съ нашими и тарыбары, и папиросками угощаются, и спички подаютъ другъ другу... Англичане,—ну, тѣ горды, не подступайся! Знай себѣ плюетъ. А народъ тоже ничего; выпить любитъ! Пьютъ здорово!..

Иной разъ пріятели засиживались подолгу. Иной разъ заходилъ къ нимъ кто-нибудь изъ смуринцевъ. Захаживалъ и Аггушка изрѣдка. Только служивый никакъ не могъ въ толкъ взять, отчего Аггушка все волкомъ выглядитъ. Служивый разъ и замѣтилъ ему объ этомъ.

— Съ волками живу, потому и самъ волкъ!—объяснилъ Аггушка.

Почасту также служивому приходилось коротать длинные вечера одному: Дмитрій уходилъ то въ школу и послѣ урока сидѣлъ у учителя, то отправлялся къ барынѣ на усадьбу.

Однажды, въ воскресенье, часа въ четыре, Кряжевъ явился къ Лизаветѣ Петровнѣ съ кассовыми книгами и съ отчетомъ, имъ самимъ составленнымъ, и расположился съ нею въ кабинетѣ. Лизавета Петровна, какъ попечительница смуринскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества, должна была просмотрѣть отчетъ и отправить его съ первою почтой въ Черешинскъ. Надо было поторопиться: срокъ представленія отчета уже приближался, да къ тому же и Водянина собиралась уѣзжать. Вдругъ явилась горничная съ докладомъ, что пріѣхали поповны, дочери благочиннаго, и спрашиваютъ барыню.

— Вотъ не во время-то пожаловали!—съ кислой гримасой замѣтила барыня и, попросивъ Кряжева оставить ей до утра всѣ книги, простилась съ нимъ „до завтра" и вышла въ гостиную, гдѣ уже Варенька и Людмиленька ожидали ее.

Людмиленька—перезрѣлая дѣва, воображавшая почему-то, что всѣ мужчины только спятъ и видятъ, какъ бы соблазнить ее и увлечь на путь порока. Она была высокаго роста, съ рыжеватыми волосами, съ прямымъ, длиннымъ носомъ и съ сѣроватымъ лицомъ, покрытымъ веснушками. За носъ въ приходѣ звали ее „рулемъ". Ходила и сидѣла она прямо, не сгибаясь, словно аршинъ проглотила; говорила вяло, медленно, тянула въ носъ. Младшая, Варенька, лѣтъ 19, была поменьше ростомъ, съ свѣтлыми льняными волосами, съ маленькимъ, вздернутымъ носикомъ и вообще выглядѣла поблагообразнѣе и посклад-

нѣе. Она была вертлява и подвижна, какъ гуттаперчевая куколка, говорила бойко, быстро, словно горохомъ сыпала, поминутно хихикала и, увлекшись своимъ разсказомъ, имѣла привычку мотать головой, какъ коренная лошадь, если слишкомъ высоко подтянуть ей поводъ.

Послѣ обычныхъ поцѣлуевъ и освѣдомленій о здоровьѣ, гостьи разсѣлись и, какъ водится, затолковали о погодѣ, какъ о такомъ предметѣ, на которомъ могутъ сходиться и простолюдинъ, и князь, и люди всевозможныхъ партій и оттѣнковъ. Лизавета Петровна освѣдомилась, что у нихъ новенькаго.

— Максимку сегодня водили въ правленье. Недоимки все не платитъ, пьянствуетъ, жену бьетъ; на сторонѣ, говорятъ, завелъ себѣ...—затянула Людмиленька.

— Ну ужъ, сестрица, вздумала о чемъ разсказывать!—перебила ее Варенька.—Очень интересно Лизаветѣ Петровнѣ знать, что дѣлаютъ съ мужиками... Ничего у насъ новенькаго нѣтъ... Скука! просто хоть умирай!..

— Отчего же вы думаете, что крестьянскія дѣла меня не могутъ интересовать?—спросила ее съ улыбкой Лизавета Петровна.

— Да что вамъ въ нихъ! Хи, хи, хи!—возразила Варенька.—Что вамъ въ томъ, кого наказывали, да какъ, да за что! Сестрица всегда какую-нибудь пошлость выдумаетъ...

А сестрица, въ отвѣтъ на такое легкомысленное замѣчаніе, очень презрительно повела носомъ. Разговоръ коснулся смуринской школы. Варенька освѣдомилась объ учителѣ и, замѣтивъ вскользь, что она уже видѣла его въ Красныхъ Горкахъ, захихикала и призналась, что онъ походитъ на цыгана.

— Папаша говоритъ, что онъ, должно быть, бунтовщикъ!—болтала дѣвушка.—Я никогда не видала бунтовщиковъ... Интересно бы, право, познакомиться съ нимъ...

Людмиленька же, узнавъ, что учитель холостой, вдругъ сжала губы и съ такимъ цѣломудреннымъ видомъ поправила и подобрала платье, какъ будто бы ужасный мужчина уже готовъ былъ ринуться въ гостиную, ухватить ее за ея желтое бареже вое платье и совсѣмъ увлечь въ бездну. Подали чай. Но чѣмъ далѣе шло время, тѣмъ замѣтнѣе Варенька волновалась, хихикала уже совершенно безъ толку и некстати, вертѣлась въ креслахъ и ахала все чаще и чаще. Наконецъ когда Лизавета Петровна вышла въ другую комнату, Варенька вдругъ сорвалась съ мѣста и, не слушая увѣщаній сестрицы и не обращая никакого вниманія на ея помаванія носомъ, шмыгнула за Лизаветой Петровной.

— Ахъ, Лизавета Петровна! Голубушка, милая! Я къ вамъ съ просьбой... съ большой, съ огромной просьбой!—защебетала поповна, едва переводя духъ.

— Что такое? Если могу...—начала, было, Водянина и не кончила, потому что Варенька, вмѣсто дальнѣйшаго объясненія, принялась лобызать ее самымъ неистовымъ образомъ въ губы, въ щеки, въ шею, въ плечи.

— Я слышала, вы скоро ѣдете въ Петербургъ... Ахъ, милая, милая Лизавета Петровна!—пересыпая поцѣлуями, стрекотала Варенька.—Голубушка, Христа ради, возьмите меня съ собой! Я хочу учиться акушерству. Вонъ Машенька выучилась... счастливица! А папенька не пускаетъ...—Тамъ, говоритъ, все невѣрующіе какіе-то... Возьмите меня! Онъ проститъ... Ничего не будетъ, право...

— Да вы серьезно хотите учиться?—спросила ее Лизавета Петровна, пристально смотря ей въ лицо.

— Ахъ, разумѣется, серьезно... а то какъ же еще! Я буду учиться такъ... Просто, кажется, съ ума сойду! Только бы ужъ мнѣ кончить!

Тутъ же уговорились, что Варенька, за день до отъѣзда, отпросится у тятеньки въ Грайвороново погостить на недѣлю, будто бы по просьбѣ Лизаветы Петровны, и немедленно же по пріѣздѣ въ Петербургъ напишетъ обо всемъ отцу.

— Нашъ учитель можетъ дать вамъ письма къ нѣкоторымъ учащимся! Я скажу ему,—замѣтила Водянина.

— Ахъ, пожалуйста! Ахъ, я не знаю, что со мной и будетъ, ей-Богу!—заахала Варенька, всплакнула немного и опять захихикала.

Скоро сестры уѣхали, а Лизавета Петровна просидѣла почти всю ночь, любуясь на цифры и сличая ихъ. Дѣла Товарищества шли хорошо. Школа тоже процвѣтала.

И спитъ спокойно „добрая барыня", и грезятся ей хорошіе сны.

X.

Изъ-за школы.

Отецъ благочинный, узнавъ о посѣщеніи Верхозова, распалился гнѣвомъ.

— Это что же за ревизоры такіе заѣздили!—восклицалъ онъ.—Предписаніе у него есть, что-ли?—Если есть, такъ покажи!—

Мы отъ гласности не прячемся! А всякому мальчишкѣ не позволимъ къ намъ въ школу носъ совать.

Отчасти изъ желанія отплатить „мальчишкѣ“ за его посѣщеніе красногоркинской школы, отчасти побуждаемый опасностью своего собственнаго положенія, отецъ Василій вознамѣрился сдѣлать визитъ смуринской школѣ. Недѣли черезъ двѣ, какъ-бы мимоѣздомъ, онъ завернулъ въ школу и, узнавъ отъ прислужницы, что войти въ классъ можно, прямо направился въ классную и засталъ Верхозова за урокомъ. Отецъ Василій благословилъ ребятъ и въ короткихъ, но довольно напыщенныхъ словахъ отрекомендовался учителю. Тотъ, съ своей стороны, назвалъ ему себя. Гость внимательно слушалъ и слѣдилъ за тѣмъ, что дѣлается и говорится въ школѣ.

— Позвольте полюбопытствовать, — вдругъ обратился онъ къ Верхозову, засучивая, по обыкновенію, рукава своей щегольской лиловой рясы.—Молитвы они знаютъ?—И благочинный кивнулъ головой на школьниковъ.

— Старшее отдѣленіе знаетъ, а младшее нѣтъ!—отвѣтилъ учитель.

— А младшее что же-съ? — спросилъ посѣтитель.

— Младшее еще не подготовлено, и молитвы ему не по силамъ! — пояснилъ учитель. — Вѣдь мы еще только второй мѣсяцъ учимся...—Поспѣваемъ, какъ можемъ...

— Напрасно, напрасно-съ! Откладывать бы не слѣдовало...—совершенно мягкимъ тономъ замѣтилъ благочинный, слегка покачивая головой и какъ бы съ нѣкоторымъ сожалѣніемъ взглядывая на питомцевъ.—Если они еще не твердо читаютъ, такъ они могли бы заучить молитвы со словъ старшихъ. Это, вѣдь, не долго... Вы же наизусть имъ что-нибудь, я думаю, задаете?..

— Младшіе у меня наизусть еще ничего не учатъ!—сказалъ Верхозовъ.

— Нѣтъ-съ! Я съ вами не согласенъ...—возразилъ отецъ Василій, поднимая голову.—И если позволите, то посовѣтовалъ бы вамъ не откладывать этого дѣла и приступить сейчасъ же къ молитвамъ...

— Да вѣдь я же о томъ и хлопочу, чтобы ихъ поскорѣе развить на столько, чтобы они могли сознательно читать!—подхватилъ учитель.—Я о томъ и стараюсь. Я самъ тороплюсь. Курсъ у насъ маленькій,—три года, да и то не цѣлыхъ: только по семи мѣсяцевъ...

— Такъ, такъ! Извините, что побезпокоилъ!—закланялся отецъ Василій.—Вы знакомы съ моимъ племянникомъ? Очень радъ, очень радъ... Онъ, правда, новыхъ методовъ не знаетъ, но человѣкъ старательный и свое дѣло понимаетъ. Прошу покорно къ намъ! А вы, дѣтушки, что-то нашу церковь забыли нынче. Не хорошо! Заглядывайте! Я ужъ давно васъ никого не вижу. Да! А на заднихъ-то партахъ у васъ темненько! — добавилъ священникъ, протягивая руку по направленію къ задней стѣнѣ.—Окошечко бы тутъ вотъ прорубить надо!..

— Да! Здѣсь окно и будетъ!—подтвердилъ Верхозовъ.

— Да и тѣсненько, кажется, у васъ немножко!—промолвилъ священникъ, озираясь по сторонамъ.

— Въ тѣснотѣ люди живутъ... Хуже было бы, если бъ школа стояла пустая. А у васъ много учениковъ?—съ улыбкой полюбопытствовалъ Верхозовъ.—У васъ, кажется, просторно...

— Да! Было много, да нѣкоторые вышли...—отозвался благочинный, поднимая голову и выпячивая впередъ грудь. Затѣмъ, поклонившись еще разъ, благословивъ учащихся и попросивъ ихъ не вставать, онъ вышелъ вонъ.

Но отецъ Василій не тотчасъ же уѣхалъ со Смурина. Онъ еще повидался съ нѣкоторыми учениками, бывшими питомцами красногоркинской школы, поспрашивалъ у нихъ, достаточно-ли у нихъ книгъ, есть-ли бумага, перья, аспидныя доски и грифеля; не бьетъ-ли ихъ учитель, ходятъ-ли они въ церковь? Мальчики отвѣчали, что всего у нихъ вдоволь, что учитель—добрый, и въ церковь они ходятъ. Такъ и уѣхалъ благочинный, пообѣщавшись прислать своимъ прежнимъ питомцамъ нѣсколько евангелій и житій святыхъ.

Верхозовъ же очень хорошо понималъ, съ какою цѣлью пожаловалъ къ нимъ въ школу отецъ Василій. Ни за собой, ни за школой Верхозовъ предосудительнаго ничего не зналъ: поэтому, онъ нисколько не смутился бы, если бы въ одно прекрасное утро нагрянули на него враслохъ всѣ благочинные на свѣтѣ. Онъ только потѣшался тревогой, какую произвела смуринская школа въ мирныхъ весяхъ. При этомъ, конечно, закрадывалось къ нему въ душу нѣчто въ родѣ темнаго предчувствія, что какія-нибудь мелочи очень легко могутъ затормозить его дѣло; могутъ возникнуть ложныя толкованія самыхъ простыхъ и обыкновенныхъ явленій: могутъ явиться недоразумѣнія, оттуда могутъ родиться придирки и подвохи, личные

счеты, да и мало-ли еще что! Верхозовъ теперь сталъ въ положеніе человѣка, ворохнувшаго то, чего не слѣдовало бы трогать. Все это на Верхозова не могло нагонять страховъ, но для раздраженія больного, желчнаго человѣка пищи было слишкомъ достаточно.

На этотъ разъ госпожа Водянина уѣзжала изъ Грайворонова на годъ, а „можетъ быть, и надолѣе", какъ говорила она. Барыня много разсказывала Кряжеву о той сторонѣ, куда она ѣдетъ; тамъ почти круглый годъ лѣто, тамъ высокія горы заходятъ за облака, бездонныя пропасти чернѣютъ между горъ, и люди въ той землѣ живутъ не по нашему. Наконецъ, наканунѣ отъѣзда, какъ было условлено, явилась Варенька. Въ самый день отъѣзда стоялъ трескучій морозъ. Старыя стѣны барскаго дома пощелкивали, окна вплотную разрисовались узорами, дрова ярко горѣли въ печахъ, и въ комнатахъ припахивало березовой корой. Время было послѣобѣденное; сизыя сумерки заглядывали въ окна. Лизавета Петровна сидѣла на своемъ маленькомъ чемоданчикѣ, въ высокихъ сапогахъ и въ дубленомъ полушубкѣ, на груди котораго перекрещивался сѣрый, съ красными каемками, башлыкъ. На короткихъ волосахъ ея была уже надѣта бѣлая барашковая шапочка. На столѣ лежали дорожная сумка и небольшой карманный револьверъ. Кряжевъ, молча, сидѣлъ у печки на скамеечкѣ и взглядывалъ, молча, на добрую барыню. Ужъ не загадывалъ-ли онъ о томъ, при какихъ обстоятельствахъ, когда и какъ приведется ему встрѣтиться съ нею? Вѣроятнѣе, что онъ просто грустилъ.

— А вы, Дмитрій Михайловичъ, пожалуйста, будьте осторожнѣе! — нѣсколько разъ повторяла ему Лизавета Петровна.

Кряжевъ кисло усмѣхался и раздумчиво покачивалъ головой.

Глаза же барыни свѣтились въ тѣ минуты упованіемъ и надеждой, словно передъ нею развертывалось уже вблизи то самое чудесное зрѣлище, до котораго она давно уже хотѣла досягнуть. Докуривъ послѣднюю папиросу, Лизавета Петровна встала, крѣпко пожала руку Кряжеву, перекинула черезъ плечо сумочку и вышла на крыльцо. Черныя хатки и бѣлыя, снѣжныя равнины прощались съ нею тихо, неслышимо своимъ мертвеннымъ безмолвіемъ. Ясное, блѣдно-голубое небо, съ бѣлымъ полумѣсяцемъ въ вышинѣ, обдало ее холодомъ... Колокольчикъ звякнулъ, полозья скрипнули, и кибитка заныряла въ ухабахъ. Барскій домъ заперли. Кряжевъ пошелъ на Смурино...

Велико было смущеніе и замѣшательство отца Василія, когда онъ узналъ, что Лизавета Петровна увезла его дочку, и смущеніе это чуть-ли еще не увеличилось, когда черезъ недѣлю онъ получилъ по земской почтѣ письмо отъ Вареньки со штемпелемъ с.-петербургскаго почтамта. Дочь извѣщала его, что, ожидая помѣхи со стороны отца, уѣхала, не сказавшись, а учиться акушерству ей, между тѣмъ, очень хотѣлось; что добрая Лизавета Петровна снабдила ее на первое время деньжонками и даже помогла ей найти комнатку, удобную и дешевую, и познакомила ее съ очень хорошими людьми; что она ужъ подала прошеніе, надѣется въ началѣ января поступить, а черезъ два года, кончивши ученье, непремѣнно пріѣдетъ къ родителю уже повивальной бабкой. Варенька просила его не безпокоиться, не гнѣваться на нее и дать ей возможность кончить ученье. „Изъ нашихъ, изъ духовныхъ нынче очень много учатся акушерству", писала она въ успокоеніе отцу. Сумраченъ и унылъ засѣлъ отецъ Василій за сочиненіе письма къ своей бѣглой дочери. „Много непріятностей и горя причинила ты мнѣ своимъ необдуманнымъ и легкомысленнымъ поступкомъ", писалъ онъ, между прочимъ. „Но ежели ты въ самомъ дѣлѣ будешь учиться хорошо, то Богъ съ тобой, пусть хранитъ тебя Божія Матерь, а я тебѣ каждый мѣсяцъ буду высылать 25 рублей деньгами, да холста. Только не входи ты, Варя, въ политику... А ежели, паче чаянія, ты впутаешься въ какіе-нибудь дрязги, то такъ и знай: не будетъ тебѣ отъ меня благословенія, и 25 рублей въ мѣсяцъ высылать не стану".

Работница же отца Василія, бывшая его совѣтницей на поприщѣ практической жизни и стоявшая на короткой ногѣ съ его племянникомъ, держала по этому поводу совѣщаніе съ просвирницей и Семеномъ Васильевичемъ, и по рѣшенію ихъ выходило, что Варвару Васильевну слѣдовало вытребовать по этапу и водворить на мѣсто жительства, а для того, чтобы опять куда-нибудь не убѣгла,— задать ей хорошую баню. Хотя благочинный въ данномъ случаѣ и одобрялъ нѣкоторыя домостроевскія правила, но приложить ихъ на дѣлѣ не могъ. Онъ боялся прослыть тираномъ и потемнить свою славу, созданную статьями въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ". Отецъ Василій очень хорошо зналъ, что учитель русскаго языка

въ уѣздномъ училищѣ пописываетъ очень ядовитыя статейки въ обличительномъ вкусѣ. „Попадись-ка такому на зубокъ, такъ онъ тебя по косточкѣ разберетъ!“ совершенно основательно думалъ благочинный. „Вѣдь для нихъ ничего святого нѣтъ... Свистуны, сатирики!..“

Въ день полученія рокового письма, надъ отцомъ Василіемъ разразилась еще другая напасть. По настоянію Кряжева, въ Красныхъ Горкахъ, наконецъ, собралась сходка по вопросу: слѣдуетъ-ли платить на школу, коли ребятишки учатся на Смуринѣ? Поддерживать-ли школу ради 10—12 мальчиковъ, когда на Смуринѣ уже около 70 учениковъ? Не лучше-ли поэтому красногоркинскую школу закрыть за ея непригодностью? Отецъ Василій уже ждалъ этой сходки и теперь, увѣдомленный племянникомъ, накинулъ на плечи свою енотовую шубу, надѣлъ высокую, теплую шапку и, вооружившись тростью съ серебрянымъ набалдашникомъ, отправился на сходку.

— Вы сначала разсудите хорошенько, закрыть школу всегда успѣете... Семь разъ примѣрь—одинъ отрѣжь! Не всякому также слуху вѣрьте!—говорилъ онъ крестьянамъ. — Былъ я тамъ въ школѣ, нарочно заѣзжалъ, все видѣлъ и знаю. Горница крохотная, тѣсно, темно; книгъ при школѣ мало. А учителя тамошняго не одобряю. Да и школа распущена,— крикъ, гамъ, точно въ какомъ кабакѣ. Ребятишки безъ всякаго присмотру, дерутся, озорничаютъ, чьему-то пѣтуху, говорятъ, глазъ вышибли, одному парнишкѣ всю одежду порвали. Такъ въ такую-то школу вы хотите ребятъ посылать, православные? Не добро, не добро вы затѣяли! А въ нашей школѣ учитель изъ духовныхъ, въ семинаріи обучался, ну и самъ я за школой присматриваю. Комната у насъ большая, свѣтлая; книгъ много.

— Семенъ-то Васильичъ шибко ужъ дерется!—замѣтилъ голосъ изъ толпы.

— Какъ дерется?—озадачился отецъ Василій.—Не слыхалъ, отъ перваго слышу... А если онъ прутикомъ... тово... такъ безъ этого, голубчикъ, и генеральскія дѣти не учатся.

— А на Смуринѣ вонъ не дерутъ!— отозвался тотъ же голосъ.

Отецъ Василій презрительно глянулъ на толпу, словно отыскивая дерзкаго. Губы его слегка дрогнули; онъ не привыкъ толкаться съ мужичьемъ и не могъ хладнокровно выносить невѣжественныхъ рѣчей. Онъ не возразилъ на замѣчаніе, но, высокомѣрно поднявъ голову, сухимъ тономъ добавилъ:

— Я вамъ сказалъ, свое дѣло сдѣлалъ, а вы ужъ какъ знаете!

Благочинный кашлянулъ, запахнулся въ свой енотъ и, повернувшись, молча, пошелъ домой. А сходка долго еще галдѣла и не пришла ни къ чему.

Черезъ нѣсколько дней опять собралась сходка, но благочинный на этотъ разъ уже не пожаловалъ. Крестьяне рѣшили: не давать болѣе денегъ на красногоркинскую школу, а платить, ежели понадобится, на смуринскую.

Подошелъ Введеньевъ день. Изстари заведено было, что въ этотъ праздникъ красногоркинскій священникъ, разъѣзжая по своему приходу съ крестомъ, заѣзжалъ и въ смуринскій приходъ къ помѣщикамъ и къ тѣмъ изъ богатыхъ крестьянъ, кто приглашалъ его. Это, быть можетъ, объясняется тѣмъ, что Смурино, нѣкогда малолюдный поселочекъ — принадлежало къ красногоркинскому приходу, гдѣ Введеньевъ день былъ храмовымъ праздникомъ. Въ прежніе годы съ крестомъ ѣздилъ, обыкновенно, младшій священникъ, отецъ Александръ. Онъ и нынѣ объѣхалъ свой приходъ, но въ довершеніе и отцу Василію вздумалось прокатиться на Смурино, благо санная дорога стояла отличная, и термометръ показывалъ 10° мороза.

На другой день праздника, когда въ школѣ шло ученье, онъ подкатилъ къ школѣ со своими церковниками и послалъ подвыпившаго дьячка къ учителю освѣдомиться, благоугодно-ли будетъ тому допустить батюшку въ школу. Верхозовъ отвѣтилъ, что сегодня у нихъ ни церковный, ни табельный день, что у нихъ въ школѣ идутъ занятія, и потому онъ принять священника не можетъ, а если угодно ему зайти въ столовую (что рядомъ съ кухней), то „милости прошу“... Но отецъ Василій въ столовую не захотѣлъ и покатилъ далѣе. А вечеромъ онъ строчилъ письмо за письмомъ въ Черешинскъ и далѣе Черешинска насчетъ красногоркинской школы, насчетъ неправильнаго приговора крестьянскаго схода и еще кое о чемъ. Онъ открякивался и откашливался, и по всему было видно, что одно письмо особенно занимало его, потому что прежде, чѣмъ запечатать его, онъ прочелъ его, по крайней мѣрѣ, разъ 5 или 6. Отецъ благочинный въ тотъ вечеръ былъ сильно возбужденъ. Личности Лизаветы Петровны, Митьки Кряжева и смуринскаго учителя какимъ-то чудомъ

слились для него въ одинъ мрачный, чудовищный образъ. И этотъ гигантскій, мрачный образъ — чудилось отцу Василію—на все, на что бы онъ ни взглянулъ, бросаетъ темныя, густыя тѣни, благодаря которымъ отецъ Василій ни на что не можетъ посмотрѣть спокойно-веселымъ, довольнымъ окомъ.

XI.

Дѣвичья бѣда.

До сихъ поръ въ этомъ разсказѣ Евгеша, племянница Прокудова, занимала немного мѣста, да вѣдь немного мѣста занимала она и въ дѣйствительной жизни. Помогала она теткѣ управляться по дому, шила, вязала, плела кружева къ полотенцамъ, изрѣдка ходила на посидѣлки, но долго тамъ не оставалась никогда. Тетка часто журила ее и на ея сиротской беззащитной головушкѣ вымѣщала при всякомъ случаѣ свою досаду и злость: не туда она и ведро-то поставила, не такъ и помело-то положила, не умѣетъ она и подолъ-то обрубить, какъ слѣдуетъ, что она только передъ парнями „пялится",—словомъ для ея ворчанья придирки находились на каждомъ шагу. Писарь частенько навѣдывался, но совершенно напрасно. Напрасно онъ вписывалъ въ свою тетрадь отъ поры-до-времени стихи въ такомъ, напримѣръ, родѣ:

«Тутъ пастушкѣ дорогой указалъ пастухъ рукой:
Вотъ намъ должно такъ съ тобой
То гулять, то скакать,
Въ рощѣ сей густой!»

Но красавица вовсе не желала ни гулять, ни скакать съ Евграфомъ Евстигнеевичемъ. Она то смѣялась надъ нимъ, то злилась. Разъ даже писарю досталось солоно отъ „пастушки дорогой".

Однажды, какъ-то по осени, Евгеша была на посидѣлкахъ у Антона Кудряшева, куда заявился и писарь. Дѣвушки пряли, шили, но, конечно, не столько работали, сколько пѣсни пѣли да съ парнями перебивали. Парни потчевали дѣвокъ пряниками и орѣхами,—и въ избѣ шла преусердная щелкотня, и было очень весело. Немолчный, громкій говоръ расходился по избѣ, и поминутно рѣзко прорывался крикъ и веселый хохотъ. Вдругъ вспало на умъ одному молодцу ткнуть въ куделю своей возлюбленной горящею лучиной; въ единый мигъ охватило прялку полымемъ, дѣвушки закричали, бросились на помощь къ погоравшей подругѣ и принялись тушить куделю. Въ суматохѣ угораздило кого-то уронить свѣтецъ, лучина погасла, и изба погрузилась во мракъ. Произошла свалка. Кого-то придавили, кого-то сбили съ ногъ, кто-то даже крикнулъ „караулъ"...

— Анютка! Это ты?—пищалъ голосокъ.

— Не пущай, не пущай ее! Ха, ха, ха!—вопили ребята.

Евгеша стала уже, было, пробираться по добру, по здорову къ двери, какъ вдругъ почувствовала, что чьи-то тяжелыя лапы обхватываютъ ее, чьи-то толстыя, мокрыя губы прилипаютъ къ ея шеѣ, и какой-то шершавый сюртукъ прижимается къ ней. Она живо высвободила одну руку и съ размаху впотьмахъ хватила крѣпко кого-то по мягкой и потной рожѣ; шершавый сюртукъ отшатнулся. Еще проходитъ секунда, кто-то вздуваетъ огонь. Блѣднымъ, синеватомъ огонькомъ, шипя и потрескивая, загорается сѣрная спичка. И при этомъ синеватомъ освѣщеніи передъ дѣвушкой мелькнуло лицо Евграфа Евстигнеевича, подергивавшееся отвратительно сладенькой улыбочкой въ то время, какъ его лѣвая щека горѣла яркимъ румянцемъ. Еще секунда, спичка свѣтло загорѣлась, и Евгеша увидала уже въ дверяхъ лишь спину улепетывавшаго преслѣдователя.

— Одначе, кого-то ловко смазали!—замѣтилъ одинъ паренекъ, когда лучина зажглась попрежнему, и все пришло въ должный порядокъ.

— Да, таки жиганули кого-то!—отозвалась одна изъ дѣвушекъ.

— Такъ ихъ и надо, баловниковъ!—отозвалась другая.

Никто не видалъ интимной сцены, происшедшей между писаремъ и Евгешей: только одна Евгеша знала, кого смазали, и помалкивала...

Но писарь не унимался; казалось, поцѣлуй впотьмахъ и здоровая смазка поддали ему еще жару. Наконецъ, сидя однажды въ праздникъ съ Евгешей наединѣ, онъ прямехонько повелъ рѣчь о женитьбѣ.

— Я замужъ никогда не пойду!—замѣтила Евгеша, слегка покраснѣвъ.

— Пустое-съ! Дѣвушки всегда такъ говорятъ!—самоувѣренно возразилъ писарь.

— Что въ замужествѣ хорошаго?

— Какъ, что! Сами хозяйкой будете... Теперь, примѣрно, хоть тетенька... Извѣстно, она женщина хорошая, а все-таки подчасъ, поди, и скажетъ что, и поворчитъ... И на мѣстѣ ежели бы гдѣ жили, тоже немного разгуляешься!

— А замужемъ-то разгуляешься!—насмѣшливо замѣтила дѣвушка. — Знаю я тоже мужьевъ-то. Маленько что не по ихнему, сейчасъ и кулакомъ... На то же самое и наведетъ! Запряжетъ въ работу, какъ казачиху, да и поѣдетъ на тебѣ! Экая, подумаешь, хозяйка!

— Это точно, что мужъ мужу рознь!—согласился Евграфъ Евстигнеевичъ, очевидно, подразумѣвая, что онъ былъ бы вовсе не похожъ на такого мужа, который „сейчасъ и кулакомъ".—Конечно, человѣкъ невоспитанный, это такъ, вѣрно вы говорите... А есть мужья такіе, что съ женъ-то пылинку сдуваютъ!

— Такого-то мужа и днемъ съ фонаремъ не отыщешь!

— Нѣтъ-съ! Зачѣмъ же такъ! Вонъ исправникъ-съ... Разъ, какъ я былъ у него въ городѣ съ бумагами... Жена только-что откуда-то пришла... Спрашиваетъ: душенька, не промочила-ли ноги? Погода-то была въ ту пору дождливая... А она: нѣтъ, говоритъ, душенька, не замочила! и чмокъ его,—это самого-то... Предпослѣднюю фразу писарь произнесъ такимъ нѣжнымъ, трогательнымъ тономъ, какимъ, вѣроятно, не говаривала ни одна исправница въ мірѣ.

Дѣвушка невольно расхохоталась.

— А вы не видали, какъ Кузьмичъ свою Устишу за волосы треплетъ?—спросила она писаря.

— Необразованность мужичья, и больше ничего-съ! Народъ темный и обращенья не знаетъ...

— Очень пріятно, нечего сказать!—замѣтила дѣвушка со смѣхомъ, и этимъ смѣхомъ кончилась бесѣда, потому что въ избу вошла тетка.

Писарь, конечно, не отчаивался: вѣдь у него была въ запасѣ дяденькина власть. Но время еще не ушло; онъ еще успѣетъ обратиться къ этому послѣднему средству. Писарь рѣшилъ поприсматривать за дѣвушкой до поры-до-времени.

А Евгеша той порой худѣла и худѣла. Ни Прокудовъ и никто на деревнѣ не замѣчалъ, что дѣвка сохла не по днямъ, а по часамъ. Только отъ зоркихъ аггушкиныхъ глазъ не укрылась происходившая въ сестрѣ перемѣна.

— А ты, Евгенька, тово... — говорилъ онъ ей между дѣломъ, когда она зашла однажды посидѣть къ нему въ хатку.— Изъ лица-то ты какъ будто осунулась.

— Пройдетъ!—промолвила та, а у самой губы такъ и дрожатъ, и слезы просятся на глаза.

— Гм! — мычитъ Аггушка. — Болѣсть что-ли какая привязалась, а? Чего молчишь-то?

— Я, братецъ, совсѣмъ здорова! Чего ты?—въ свою очередь изумилась Евгенія.

Знала она свою болѣзнь, да какъ сказать-то про нее!

— Ну и врешь! Кабы здорова была, такъ щеки-то, гляди, не опали бы!—упорствовалъ братъ.—Изъ Питера-то ты пришла, щеки-то у тя были ровно краской вымазаны. Еще Митюха говорилъ въ тѣ поры: не румяны-ли Евгенья на щеки-то наводитъ?

— А ему-то что? — какъ-то вдругъ странно оживляясь, спросила дѣвушка, а глазки ея засвѣтились яркимъ огонькомъ, и прежній румянецъ, казалось, готовъ уже былъ заиграть на смуглыхъ щекахъ.

— Спрошай сама! Я почемъ знаю...— сквозь зубы процѣдилъ Аггушка, углубляясь въ свою работу.

Красивая клѣточка выходила изъ его грубыхъ, мозолистыхъ рукъ. Тоненькіе прутики, вымоченные и распаренные въ печи, гнутся въ искусной рукѣ, живо закругляются и образуютъ легкій сводикъ. Скоро будетъ готова клѣтка. Такихъ клѣтокъ Аггушка уже много понадѣлалъ; цѣлый рядъ ихъ стоитъ у него на вышкѣ. Вотъ ужо, по первому пути, свезетъ онъ ихъ на Митюхиной Чалкѣ въ городъ и выручитъ за нихъ деньгу. Аггушка сидѣлъ передъ лавкой на низенькомъ, гниломъ обрубкѣ дерева, наклонивъ голову и позавѣсившись своими рыжими, косматыми волосами. И съ такимъ вниманіемъ щурился онъ на прутики, прилаживая ихъ другъ къ другу, и мычалъ и посвистывалъ, такъ глубокомысленно просверливалъ буравчикомъ дырочку за дырочкой въ тонкой дощечкѣ, что, право, можно было подумать, что въ тѣ минуты вся его душа ушла въ эти палочки и дощечки, которыя грудой были навалены передъ нимъ на лавкѣ. На самомъ же дѣлѣ было не такъ. Онъ подумывалъ о сестрѣ: отчего она худѣетъ и сохнетъ, ровно цвѣтокъ въ полѣ, какъ хватитъ его первымъ морозцемъ. Не зналъ онъ бабьихъ болѣстей, не домекалъ, отчего дѣвка можетъ сохнуть и хирѣть. Слыхалъ онъ, правда, что иной разъ нападаетъ на дѣвку кручина, когда ей охота стаетъ замужъ итти.

— Тетка, можетъ, тя ужъ больно ѣстъ, а?—спросилъ онъ сестру, помолчавъ.

— Огрызается, извѣстно, да ничего...— отвѣчала та.

— А Гришка-то изъ-за меня, поди, тоже косится?

— Нѣту, дяденька—ничего!..

— Гм! — промычалъ Аггушка, снова углубляясь въ свои прутики и дощечки.

А съ Кряжевымъ Евгенія за все это время видѣлась рѣдко, все больше встрѣчалась у брата. Кряжевъ ни полсловомъ не намекнулъ ей о письмѣ, и дѣвушка не знала, какъ отнесся къ нему Дмитрій. Что онъ не воспользовался ея предостереженіемъ, объ этомъ дѣвушка уже знала по той дракѣ въ кабакѣ, о которой три дня сряду толковало Смурино, передавая съ прикрасами изъ устъ въ уста слухъ о страшномъ побоищѣ, при чемъ Кряжевъ чуть не убилъ до смерти солдата и едва не разнесъ весь Алексашкинъ кабакъ. При встрѣчахъ Евгешѣ мало удавалось съ нимъ говорить. Только не шли у нея изъ головы тѣ рѣчи, что довелось ей однажды слышать у Крестовъ. Смуринскія бабы смѣхомъ говорили Кряжеву: отчего онъ по сю пору себѣ хозяйки не ищетъ.

— Для чего мнѣ хозяйка! Я самъ себѣ хозяинъ!—отвѣчалъ онъ тоже какъ бы смѣшкомъ.—Да что у насъ и за дѣвки! Все какія то гнилыя, Богъ съ ними... А мы теперь съ служивымъ важно живемъ...

— Такъ и не поженишься?—приступала одна бойкая бабенка.

— И не поженюсь!—рѣшительно отвѣтилъ Дмитрій.

Только и было. Кряжевъ отошелъ къ мужикамъ, стоявшимъ у питейнаго; бабы посмѣялись, потрунили надъ нимъ и загалдѣли о другомъ. А Евгеша все слышала и все запомнила.

Братъ съ сестрой долго сидѣли, молча. На дворѣ было непогоже. Вѣтеръ завывалъ по полю и нѣтъ-нѣтъ такъ дунетъ, что вотъ, думаешь, сейчасъ и снесетъ Аггушкину хатку съ крутого косогора, гдѣ она пріютилась на самомъ юру. Сухимъ снѣгомъ сыпало въ оконницу и заносило избушку.

— Ишь какъ стонетъ! Точно убиваютъ кого... — вполголоса промолвила Евгенія, прислушиваясь къ завыванію вѣтра и сидя, подгорюнившись, у окна.—О, Господи, прости насъ, грѣшныхъ!..

Опять помолчали.

— И не боязно тебѣ, братецъ, одному здѣсь зиму-то жить, а?

— Чего боязно!—переспросилъ Аггушка. — Воры да разбойники на меня не польстятся, потому корысти мало, а голову-то имъ поберегать надо... Голову-то проломлю,—да исшо и не одну, гляди. Сунься-ка! Топоръ-то—вонъ!—И Аггушка кивнулъ головой въ ту сторону, гдѣ изъ-подъ лавки, дѣйствительно, поблескивало острее топора.—Мнѣ, Евгенька, бояться нечего,—продолжалъ братъ, осторожно нагибая прутикъ. — Вашимъ закручьевскимъ бояться можно,—это такъ! Потому перво-на-перво, что ужъ больно толсты, скоро-то и не поворотишься... А польститься-то у нихъ есть на что. А у меня ни ворамъ красть, ни огню жечь, ни водѣ топить, какъ есть, нечего. Вотъ развѣ клѣтки...—Аггушка усмѣхнулся, тряхнулъ головой и, закинувъ назадъ волосы, поглядѣлъ на сестру.—Никоего лѣшаго не побоимся...

Въ ту самую минуту въ сѣнцахъ захрустѣлъ снѣгъ подъ чьими-то тяжелыми шагами, кто-то завозился, отыскивая скобку. Евгенія вздрогнула и обомлѣла отъ испуга.

— Ой, братецъ! Кто это?—шепнула она.

Дверь распахнулась, и весь въ снѣгу вошелъ въ избу Кряжевъ.

— Дай, братъ, струга!—сказалъ онъ, постукивая о порогъ ногой и стряхивая съ себя снѣгъ.—Ну, и вьюга же... Хошь глазъ выколи!—добавилъ онъ.

Аггушка отыскалъ подъ лавкой стругъ и подалъ его Дмитрію.

— Я думалъ, ты на мельницѣ!—замѣтилъ Аггушка, почесываясь и выпрямляясь надъ своей работой.

— Нѣту!—Служивый за меня поѣхалъ...

— Шибко ты Евгеньку у меня испужалъ... Чуть не померла со страху, инда побѣлѣла...—сказалъ Аггушка, усмѣхаясь.

— Да ты, братецъ, все „чортъ“ да „чортъ“!—перебила его дѣвушка.

— А мы развѣ на чорта не похожи?—спросилъ Кряжевъ.

— Чтой-то вы говорите такое! Ровно, вы, право, сговорились... И то еще опомниться не могу. Сердце такъ и бьется...—И дѣвушка приложила къ груди руку, словно желая прислушаться, какъ скоро бьется ея сердечко.

Сердечко и вправду билось очень сильно. Кряжевъ искоса поглядѣлъ на собесѣдницу, вспомнилъ рѣку и ясный лѣтній вечерокъ и красивую женщину, выходившую изъ воды. Онъ отвернулся, сѣлъ какъ-то бокомъ къ дѣвушкѣ и засвисталъ, глядя на закоптѣлый уголъ печи.

XII.

Лучина догорѣла.

Прошло послѣ этого вечера нѣсколько дней. Служивый засѣдалъ въ кабакѣ съ вѣчно пьяненькимъ Абрамкой. Цѣловальникъ взглядывалъ на нихъ своими косыми глазками и прописывалъ что-то въ книжкѣ,

немилосердно мусляя кончикъ огрызеннаго карандаша. Пьяненькій мужичекъ долго сидѣлъ молча, понурившись, какъ бы раздумывая о чемъ-то; вдругъ онъ съ рѣшимостью поднялъ голову, скинулъ съ себя рваные сапоги и подошелъ съ ними къ стойкѣ.

— Возьмешь? — неувѣренно спросилъ онъ, умильно взглядывая на цѣловальника.

— Драть-то этакую? Да чего тутъ... почитай, однѣ дырья...—презрительно замѣтилъ тотъ, поворачивая передъ собою сапоги и косясь на нихъ своими прищуренными глазками.

— Голенища-то цѣлыя!—возразилъ Абрамка.

— А это... это что?.. А тутъ вотъ...— указывалъ ему Лексашка, тыча пальцемъ въ дырья и въ порыжѣвшую, истрескавшуюся кожу сапогъ.

— Вѣдь стоятъ же что ни на есть!— робко проговорилъ Абрамка.

Цѣловальникъ, молча, опустилъ сапоги на полъ, къ ногамъ ихъ хозяина, а самъ опять принялся за карандашъ и наклонился надъ прилавкомъ съ такимъ видомъ, какъ будто и толковать не стоило.

— Ну, такъ какъ же, а? — спросилъ Абрамка, поднимая сапоги наравнѣ съ головой.

— Двѣ косушки получи!—сквозь зубы процѣдилъ цѣловальникъ, не разгибаясь и не глядя на вопрошавшаго.

— Это какъ же? Нѣтъ ужъ ты, Констенкинычъ, того, знаешь...—возропталъ крестьянинъ, судорожно запахивая свой азямишко.

Цѣловальникъ промолчалъ, словно бы и не слыхалъ ничего. Абрамка отошелъ, сѣлъ на лавку и снова понурился. Погодя немного, онъ подошелъ къ прилавку.

— Ну тя! Бери! Двѣ косушки, да гривну денегъ... На!—сказалъ онъ, подавая сапоги.

—Шелъ бы ты лучше домой, почтенный!—посовѣтовалъ ему Лексашка и, спрятавъ книжку въ выручку, громко позѣвнулъ и потянулся.

— Не дашь?—приступалъ мужикъ.

— Не дамъ!—рѣшительно, вяло отвѣтилъ цѣловальникъ.

— Ну, такъ чортъ съ тобой! Давай двѣ косухи...

Цѣловальникъ посмотрѣлъ на сапоги, забросилъ ихъ въ уголъ и выставилъ передъ мужикомъ двѣ косушки сивухи. Служивый тѣмъ временемъ подремывалъ... А Абрамка не всегда такъ пилъ, какъ въ ту пору, когда читатель познакомился съ нимъ въ кабакѣ у Лексашки Косого. Послѣ отца ему досталась хатка не хуже всякой другой смуринской хатки и хозяйство нераженькое, но такое, что на Смуринѣ съ нимъ всякій дуракъ бы прожилъ. Абрамка женился, прижилъ сына, и все шло ладно. Въ питейный онъ заходилъ только въ праздники, да и то не каждый разъ, недоимки большой не накоплялось, и жили себѣ добрые люди, да вдругъ понадобилось его хозяйкѣ оставить на дворѣ горящую лучину и понадобилось зачѣмъ-то пѣтуху взлетѣть съ навозной кучи на насѣстъ и сбить крыломъ лучинку въ ворохъ соломы. Солома загорѣлась, затлѣлся сухой помостъ, и не успѣлъ Абрамка очнуться, какъ уже весь дворъ занялся. Дунулъ вѣтеръ на избу, и изба загорѣлась. Сосѣди спасали свое добро, бѣгали, орали, и никто никого не слушалъ. Лишь нѣсколько человѣкъ прибѣжали на помощь къ Абрамкѣ, да и то ужъ было поздно. Къ утру отъ избы остались только почернѣлая печь да груда обожженныхъ бревенъ, и Абрамкина хозяйка съ воемъ бродила весь день по пожарищу, чего-то ища. Насилу, насилу Абрамка обстроился, при помощи 13 рублей 37 копеекъ, полученныхъ имъ въ пособіе „на погорѣлое мѣсто“, какъ вдругъ скотинка поколѣла, —вся какъ есть, до послѣдней ярочки. Въ долгъ Абрамкѣ никто уже не вѣрилъ. Той порой недоимки за нимъ накопилось много. Абрамку позвали въ правленіе. Дня два, или три послѣ того ходилъ онъ, ровно въ воду опущенный... Погодя малость, его опять сводили въ расправу. Сынишка, мальчуганъ лѣтъ 8, захирѣлъ съ чего-то, и пришлось его тащить на погостъ. Вмѣсто него, какъ на грѣхъ, жена родила ему двухъ дѣвочекъ. Хозяйство падало все пуще и пуще. Тутъ Абрамка слюбился съ одной солдатской вдовой: своя хата, жена и малыя дѣтки ему опротивѣли. Жена плакала, ругалась; Абрамка колотилъ ее. Разъ даже привелъ онъ къ себѣ въ избу солдатку и вмѣстѣ съ нею шибко побилъ свою хозяйку. За такое озорство старики порѣшили Абрамку высѣчь съ его любезной—и высѣкли. Послѣ того Абрамка вовсе ужъ пересталъ жить дома, перебрался къ солдаткѣ и проживалъ то у нея, то у Лексашки, въ кабакѣ. Недоимки росли. Міръ ужъ давно порѣшилъ, что Абрамка „сбился вдосталь“. А жить-то онъ думалъ прежде совсѣмъ не такъ. Впрочемъ, Абрамка былъ не одинъ; много у него насчитывалось товарищей по смуринской волости...

Кряжевъ въ тотъ вечеръ сидѣлъ у себя въ избѣ передъ лучиной и, справивъ свою работу, готовился отходить ко сну

Вѣтеръ вылъ на дворѣ; бѣлесоватая зимняя ночь давно уже заглядывала въ оконце. Кряжевъ только поджидалъ Назарыча.

— Ну, вотъ никакъ и онъ!—проворчалъ Дмитрій, заслышавъ, какъ въ сѣняхъ захрустѣлъ снѣгъ, и за дверями раздался шорохъ.

Дверь отворилась, и сѣдой паръ клубами повалилъ въ избу, но не служиваго увидѣлъ на этотъ разъ Кряжевъ передъ собой. Изъ-за сѣдого пара явственно рисовалась передъ нимъ знакомая женская фигура, мелькала темноволосая головка, и на ней яркій, пунцовый шерстяной платокъ. Паръ разсѣевался, стлался по полу, и теперь прямо на Кряжева смотрѣли знакомые глаза. Кряжевъ не всталъ, даже не пошевелился. Евгенія тихо подошла къ нему и сѣла на лавку.

— Старикъ-то въ кабакѣ? — спросила она вполголоса, оглядываясь по сторонамъ.

— А ты зачѣмъ?—невольно сорвалось у Кряжева съ языка.

— Я, Дмитрій Михайлычъ... — начала было дѣвушка, но вдругъ голосъ ея оборвался, и рука потянулась къ Митюхину плечу.

— Послушай... Вѣдь я николи не женюсь! — дрогнувшимъ голосомъ молвилъ Кряжевъ.—Потому, не приведи Богъ съ бабой вязаться...Не бѣда, коли бѣдна одна голова...А тутъ и совсѣмъ согрѣшишь.

— Я и сама не пойду замужъ, ежели... Не хочу и не хочу...—перебила Евгеша, прямо взглядывая Кряжеву въ глаза.— Только скажи, по нраву-ли я? Полюбилась-ли? А я... я... Дмитрій...

Евгенія остановилась, тяжело дыша. Грудь ея высоко поднималась; лицо горѣло, какъ въ огнѣ; глаза поминутно затѣнялись дрожащими рѣсницами; губы полураскрылись. По всему было видно, что жгучая страсть охватила ее всю...

— Гм! М-м... — промычалъ Кряжевъ, акъ бы отыскивая и не находя словъ.

— Я уйду, уйду, уйду!—скороговоркой молвила дѣвушка сквозь слезы.

Вѣтеръ съ страшной силою дунулъ въ ту минуту, со свистомъ обогнулъ за уголъ Митюхиной хаты и съ восмъ-ревомъ понесся за околицу.

— Нѣтъ! Ты ужъ теперь не уйдешь отсюда! — прошепталъ Кряжевъ, какъ-то вдругъ раздражительно рванувшись съ мѣста.—Ежели ты сама пришла...и ежели говоришь... Ну такъ...

Необычный румянецъ загорѣлся на его щекахъ, глаза блеснули... И въ то же мгновеніе дѣвушка почувствовала, что ее обняли, да такъ крѣпко, такъ страстно, какъ ей не снилось и во снѣ... Лучина догорѣла и потухла. Красныя искры сыпались на щелеватый полъ...Вѣтеръ, какъ бѣшеный, ревѣлъ кругомъ хатки и стоналъ, душу надрывающимъ стономъ.

XIII.

Загадка безъ разгадки.

— А отецъ-то благочинный, вѣдь, свое дѣло-таки уладилъ! — говорилъ однажды вечеромъ Кряжевъ Верхозову, сидя у него въ комнаткѣ передъ топившеюся печкой.—Закручьевскіе наши ребятъ къ нему въ школу отдаютъ... человѣкъ пять ужъ набралось. Это все, значитъ, намъ на зло! Да у себя по деревнямъ съ десятокъ пареньковъ нахватали. Вотъ теперь, глядишь, у нихъ ужъ больше двадцати... Чирковъ, Кузьма Иванычъ помочь обѣщаетъ... А про нашу школу какіе слухи пущаютъ,—страсть! У насъ и тѣсно, вишь, и темно, книгъ мало! И про васъ тоже, Владимиръ Митричъ... Въ Бога, говорятъ, не вѣрите...

Кряжевъ покуривалъ свою трубочку, и дымъ сѣрыми клубами тянулся къ печному устью. Верхозовъ только-что кончилъ занятія въ классѣ и отдыхалъ. Онъ разгребалъ кочергой уголья и задумчиво смотрѣлъ въ огонь. Верхозовъ, казалось, разсѣянно слушалъ Кряжева и лишь, молча, покачивалъ головой на его разсказъ. Отсвѣтъ огня прямо падалъ на его смуглое, худощавое лицо съ темною бородкой и на его красную рубаху, выпущенную сверхъ штановъ, заправленныхъ въ длинные сапоги. Кряжевъ оставался въ полусумракѣ. Двѣ тѣни ихъ, колеблясь и дрожа, неясно рисовались въ уродливыхъ, громадныхъ размѣрахъ на гладкомъ деревянномъ потолкѣ. Свѣча была еще не зажжена, и дальніе углы комнаты пропадали впотьмахъ.

— Гм! Такъ говорятъ, что я не вѣрю въ Бога?—съ усмѣшкой переспросилъ учитель.—Какъ же это узнали? Я здѣсь, кажется, еще никому не исповѣдывался!

— Не знаю ужъ какъ это...—отозвался Кряжевъ.—Говорятъ, что ребята у насъ слово „Богъ“ маленькой буквой пишутъ. Это, вишь, Семенъ Васильичъ у кого-то изъ нашихъ тетрадку видѣлъ... Можетъ, и выдумалъ...

— Нѣтъ, не выдумалъ!—усталымъ голосомъ проговорилъ учитель—Мои ученики пока еще только маленькія буквы и пишутъ.

Учитель закашлялся какимъ-то глухимъ,

сухимъ кашлемъ и кашлялъ, кашлялъ долго. Онъ протянулъ ноги, откинулся на спинку стула и провелъ рукой по лицу. Горячій румянецъ, пятнами выступившій на его лицѣ, быстро сбѣжалъ, и лицо его побѣлѣло, какъ у мертвеца; темные глаза прямо смотрѣли въ огонь... И опять молчаніе. Кряжевъ поднялся наконецъ съ мѣста, запихалъ свою трубочку за голенище сапога и, какъ будто бы ужъ собравшись итти, взялся за шапку. „Ишь ты, сердечный, какъ мается! Донимаютъ его... Пущай сдохнетъ!“ промелькнуло у Кряжева въ головѣ. Но онъ продолжалъ мять въ рукахъ шапку и не уходилъ.

— А я, Владимиръ Митричъ, насчетъ того опять...—началъ Кряжевъ, переступивъ съ ноги на ногу.

— Что это? На счетъ артели? — перебилъ учитель.

— Да! Вы вотъ вечоръ говорили о земствѣ...

— Ну, что же! Земство поможетъ...— какъ-то вяло, словно нехотя, проговорилъ Верхозовъ. — А больно вамъ охота эту артель устроить, а? Вы думаете, что съ артелью вы, какъ въ раю у Господа, заживете!

— До раю-то гдѣ же намъ?—возразилъ Кряжевъ. — А все же полегче будетъ... Вѣдь мы теперь на кого убиваемся, изъ послѣднихъ кишекъ лѣземъ? На кого? Все на закручьевскихъ. Отъ нихъ и желѣзо покупаемъ, имъ и гвоздь продаемъ. Все къ намъ черезъ ихнія руки идетъ, какъ есть все. И все это въ ихнія руки плыветъ задешево, а къ намъ — втридорога. Ну, вотъ, тутъ и разсуди...—Я онамеднись еще не все поразсказалъ вамъ... Хошь, примѣрно, зимой... Принесетъ имъ крестьянинъ гвоздь-то, да въ холодной горницѣ простоитъ съ часъ и больше, все ждетъ ихнюю милость. А они не поторопятся—ни на столечко! Мужикъ-то продрогнетъ, зуба съ зубомъ не сведетъ. До счета-ли ужъ тутъ, знамо дѣло! Пропадай лишній гвоздь; изъ-за копейки торговаться не будешь, какъ морозъ пальцы сводить зачнетъ. Тутъ кабы только развязаться, да въ избу...—Вотъ, вѣдь, какъ у насъ! Ловко машина подстроена.

Кряжевъ пріостановился; учитель слушалъ и молчалъ.

— Положимъ, я въ городѣ желѣзо покупаю и гвоздь туда вожу на продажу,— продолжалъ Кряжевъ, съ разстановкой и запинаясь.—Ну, мнѣ, значитъ, и ладно. Меня, значитъ, не стригутъ и не брѣютъ. И злятся же за то, Боже ты мой!.. А мнѣ-то, вишь, какъ будто бы... совѣстно... Потому, я одинъ этакъ-то... Я ужъ давно объ этомъ думалъ. Жаль, вѣдь, ей-Богу, жаль! Ну, что ты тутъ подѣлаешь, а?

Кряжевъ печально покачалъ головой, и глаза его тревожно, вопросительно уставились на учителя.

— Ну, что жъ! Хуже не будетъ, можетъ статься... — замѣтилъ тотъ, ероша свои коротенькіе волосы и раздражительно, по обыкновенію, покачивая ногой. — Только закручьевцамъ ваша артель будетъ не на задній зубъ. Что имъ артель! Вы думаете: кромѣ какъ на гвоздяхъ, да на желѣзѣ имъ и прижать васъ будетъ нечѣмъ? На сто ладовъ васъ прижать можно...

Темное облако пробѣжало по открытому лицу Кряжева. Онъ какъ-то недоумчиво перевелъ глаза съ учителя на темнѣвшее окно, задумался и, по привычкѣ, поднесъ палецъ ко рту, какъ бы силясь что-то сообразить...

— Добрый вы человѣкъ, Дмитрій Михайлычъ!—заговорилъ опять Верхозовъ, поднимаясь съ мѣста и ходя по комнатѣ.— Хорошій вы человѣкъ, говорю вамъ по душѣ... А всетаки не сдѣлаете вы того, что вамъ охота.

Далеко за полночь просидѣлъ Кряжевъ у учителя.

Съ недавняго времени, то-есть съ той поры, какъ касса и лавка пошли хорошо, Кряжева стала осаждать все одна и та же мысль: отчего бы имъ всѣмъ, кузнецамъ смуринскимъ, не сложиться и не покупать желѣзо въ городѣ сообща, отчего бы не продавать имъ также сообща свой гвоздь гуртомъ. Вѣдь, закручьевцы отъ нихъ получаютъ постоянные и вѣрные барыши, и съ этихъ-то барышей у нихъ и лавки заводятся, дома строятся— одинъ другого выше, одинъ другого красивѣе, земля прикупается, вырастаютъ хуторки, деньги въ кубышкѣ копятся да копятся. А у смуринцевъ избы валятся, печи готовы разсыпаться по кирпичикамъ, крыши дырявы, а все оттого, что, коли соломы мало, такъ съ крышъ таскаютъ для подстилки скоту, а иной разъ она и въ кормъ идетъ, будто и заправскій кормъ. Отчего же и скотина-то этакъ мретъ на Смуринѣ каждую, почитай весну!.. У смуринцевъ карманы пусты, по амбарамъ пустымъ знай только вѣтеръ въ щели насвистываетъ... Смуринцы все въ долгу да въ недоимкахъ на вѣки вѣчные. А покупай они желѣзо по настоящей цѣнѣ, продавай гвоздь, какъ быть да слѣдуетъ,—вотъ и лишняя деньга у нихъ въ мошнѣ забрякала бы, крыши у избъ прикрылись бы, печи поправились, и полъ

подновился бы: не пришлось бы по зимамъ въ избѣ въ полушубкѣ сидѣть да мерзнуть. И не помирали бы ребята съ холоду, не колѣла бы скотина съ голоду да отъ всякихъ болѣстей. Подати бы платились, недоимки дѣлались бы меньше... Эхъ! И все бы это могло быть, да только какъ сладить съ этимъ дѣломъ? Трудно.

Сговорить смуринцевъ на артель Кряжеву казалось потруднѣе устройства и кассы, и лавки, и всего, что только онъ ни задумывалъ до сей поры. Смуринцы испоконъ вѣковъ такъ-то работаютъ; привыкли они къ кулакамъ—и думушки у нихъ нѣтъ, что дѣло можно бы и иначе повести. Да и деньги нужны... Нищіе—плохіе вкладчики. Кто же поможетъ Кряжеву въ этомъ многотрудномъ дѣлѣ? Лисинъ? Ненадежная подмога Лисинъ; за нимъ самимъ нужны глаза, а то, того и гляди, обморочитъ! А закручьевцы просто ошалѣютъ со злости, только зачни, только словечко молви объ артели...

А много бы можно было подѣлать хорошаго, ежели бы удалась артель...

И чудесный сонъ приснился Кряжеву въ ту ночь. Сидитъ онъ, будто бы, передъ наковальней и куетъ своимъ тяжелымъ молотомъ такъ быстро-быстро. Только ужъ теперь онъ не въ своей маленькой, низкой кузницѣ; онъ уже не упирается головой въ потолокъ, поднимаясь съ мѣста. Нѣтъ! Теперь онъ работаетъ въ большой-большой кузницѣ, въ высокой и свѣтлой. И работаетъ тутъ онъ не одинъ, много народу работаетъ съ нимъ. Вонъ и Ѳедоръ Горѣлый, и братъ его, Дема, и Абрамка, и Назарычъ, и братъ Василій, и сосѣдъ его, Лукьянычъ, и старшина ихъ, Сысой Ивановъ,—всѣ смуринцы на лицо. Всѣ они работаютъ шибко-шибко... У каждаго своя наковальня, свой молотъ. Дымъ не ѣстъ глаза: чадъ уходитъ въ отдушины въ потолкѣ. И не жарко... Въ большія открытыя окна синее небо свѣтитъ, и солнышко таково весело и радостно заглядываетъ въ кузницу, словно въ Христовъ день. И, какъ въ Христовъ день, легко и радостно на душѣ Кряжева. Ребятишки гвоздь уносятъ домой въ плетеныхъ коробушкахъ; бабы въ двери заглядываютъ и не ругаются. „Обѣдать пора!"—кричитъ Кряжеву Евгеша,—и голосокъ ея звенитъ, ровно колокольчикъ. И такая-то она нарядная. Пунцовая ленточка у нея въ волосахъ, и вѣтерокъ эту ленточку пошевеливаетъ. Щечки такъ и пышатъ, глазки огнемъ горятъ, а губы алыя пораскрылись, — и вся она, какъ сама радость, чиста, свѣтла и лучезарна. Теперь она еще лучше, чѣмъ была на лугу, о Николѣ...

А кузнецы той порой какую-то пѣсню поютъ. Пѣсня прекрасна. Пѣсни лучше ея Кряжевъ въ жизнь свою не слыхивалъ. Только никакъ онъ не могъ въ памяти ее удержать, чтобы потомъ дома сыграть ее на своей гармоніи. Ужъ онъ слушаетъ, слушаетъ, силится запомнить, но нѣтъ! Какъ только звукъ вылетитъ, такъ въ то жъ мгновенье и пропадаетъ, забывается, какъ будто бы его и не было совсѣмъ. А чудесная пѣсня такъ и разносится по кузницѣ, изъ оконъ рвется и несется далеко-далеко—и въ поляхъ звучитъ, и въ лѣсу гремитъ, по рѣкѣ плыветъ, отдается за болотами, вѣтромъ по поднебесью разносится...

Стучатъ молоты, летятъ-сыплются красныя искры и тлѣютъ на земляномъ полу, покрытомъ сѣрою золою. Огонь пышетъ въ горнахъ; мѣха пыхтятъ, раздуваются. Потъ льетъ съ красныхъ лицъ, бѣжитъ по спинѣ подъ рубахой; а гвоздей цѣлыя груды, какъ горы, такъ и растутъ... „Вотъ такъ-такъ!" думаетъ Кряжевъ.—„Этакъ-то вольготнѣе будетъ!" И не удивляется онъ ничему, ровно такъ и быть тому слѣдуетъ. Любо ему смотрѣть, какъ всѣ ловко, не переставая, работаютъ; всѣ трезвы, здоровы и веселы... А чудесная пѣсня все несется и несется безъ конца...

Книга четвертая.

I.

Въ ожиданіи антихриста.

Трескучіе морозы прошли; подули февральскіе вѣтры. На Смуринѣ все обстояло благополучно. Придѣлъ Ивана Богослова былъ уже подновленъ и освященъ. За подновленіе его Кузьмѣ Ивановичу Чиркову пономарь за обѣдней первому выносилъ изъ алтаря просвирку на серебряномъ блюдцѣ; Кузьма Ивановичъ послѣ молебна въ царскій день первый подходилъ къ кресту. И пыхтѣлъ онъ, и воздымалъ очи горѣ, и вздыхалъ во всеуслышаніе. Учитель, какъ говорили, по болѣзни скоро долженъ былъ оставить смуринскую школу. Слухъ шелъ, но от-

куда?—неизвѣстно. Антонъ Кудряшевъ открылъ еще одинъ кабакъ на закручьевской сторонѣ. Пятерыхъ ребятъ за зиму „мокроткой“ задушило; двое родилось. Трое пьяныхъ замерзло на дорогахъ. Закручье попрежнему жирѣло, толстѣло и копило деньжища; въ смуринскихъ кузницахъ попрежнему съ ранняго утра стучали молоты, вздыхали мѣха. Такъ шли вообще дѣла. Въ частности же Абрамка пропивалъ послѣдній женинъ холстъ, таскаючи его украдкой къ цѣловальнику, а тотъ „рыжій чортъ“, какъ звалъ его про себя Абрамка, глядѣлъ на него изъ-за прилавка своими косыми глазками, словно дожидаясь, скоро-ли же Абрамка запродастъ ему за косушку свою душеньку. Жена плакалась на него міру; недоимки на немъ росли; уже два воскресенья подъ-рядъ сѣкли Абрамку въ правленіи.

— Такая ужъ линія, значитъ, нашла!—говорилъ онъ, махая рукой.—А недоимки... Нѣшто я ихъ уплачу когда ни на есть...

Абрамка, какъ и многіе изъ смуринцевъ, совершенно отрицалъ возможность уплаты недоимокъ и на дерки, повторявшіяся періодически, смотрѣлъ, какъ на неизбѣжное явленіе,—въ родѣ перемѣны дня и ночи, или временъ года. Абрамка и съ нимъ другіе смуринцы со вздохомъ посматривали на закручьевскія хоромы и, не говоря худого слова, держали свой путь подъ сѣнь вѣчно-зеленой елочки. Тамъ, за шкаликами и косухами, они становились рѣчистѣй и смѣлѣе. Ну его, Сысоя Иванова, и съ писаремъ, и со всѣмъ правленьемъ, и со всѣми податями, съ порками и розгами! А ну ихъ, закручьевскихъ богачей, съ ихъ амбарами и съ толстыми мошнами, съ ихъ зимней наемкой подъ лѣтнія работы, со всѣми ихъ каверзами и прижимками! Ну ихъ совсѣмъ!..—Смуринцы здѣсь оживаютъ: ни женъ, ни плачущихъ ребятъ нѣтъ передъ ними. Имъ тепло, на сердцѣ веселѣетъ,—и съ хрипомъ рвется изъ груди пьяная, безшабашная пѣсенка. И тащатъ, тащатъ смуринцы изъ дому послѣднее лохмотье, послѣднюю надтреснутую дугу, а „рыжій чортъ“ такъ-то любовно косится на нихъ изъ-за стойки.

А есть и такой смиренный народъ, что и адскаго зелья не лачетъ. Вонъ братъ Митюхинъ, Василій,—изъ послѣдней силушки выбивается, то же весь въ недоимкахъ, вязнетъ и тонетъ въ нихъ, словно въ болотѣ, и только что думаетъ приподняться, глядь,—анъ того ниже опустился. Такъ вотъ и всасываетъ, и всасываетъ его въ омутъ. По избѣ вѣтеръ такъ ходенемъ и ходитъ, печь дымитъ во всѣ щели, словно сама загорѣться собирается. Жена ноетъ: то корму для скотины нѣтъ, то мука вся вышла... Тошнехонько, душу воротитъ,—а Василій все-таки не идетъ въ кабакъ.

— До могилки, знать, ужъ маяться!—говоритъ онъ, словно позабывая свои нелѣпыя мечтанья.

И слышно въ каждомъ его словѣ, что человѣкъ забитъ, пришибенъ наповалъ...

Аггушка той порой клѣтки мастерилъ, ходилъ за риги на куропатокъ и на „чучелки“ за тетеревами. Съ сухимъ трескомъ раздавались его выстрѣлы то въ полѣ, то прокатывались по лѣсу изъ конца въ конецъ.

— Аггушка палитъ!—прислушиваясь, говорили на деревнѣ.

Евгенія пока безпрепятственно совершала свои прогулки въ хатку Кряжева прямо черезъ рѣку. Дома она сказывалась, что идетъ на посидѣнки, а на посидѣнки всегда являлась позже всѣхъ... Разъ пришла она къ Кряжеву сильно взволнованная, въ слезахъ. Назарыча не было дома, но дѣвушка все-таки шопотомъ и почти на ухо передала своему возлюбленному одну тайну. Отецъ ея бѣжалъ изъ Сибири и еще лѣтомъ какъ-то пришелъ въ ихъ сторону. Онъ все скрывался у Аггушки, но дѣвушка узнала объ этомъ очень недавно. Старикъ тому назадъ съ недѣлю вдругъ заболѣлъ, и братъ, по его просьбѣ, привелъ къ нему Евгешу. „Вся въ мать, живая какъ есть...“—пробормоталъ старикъ, увидавъ ее передъ собой. Шибко онъ былъ измученъ. Братъ говорилъ, что вся спина у него изсѣчена, а на ногахъ кандалы протерли тѣло до костей. Старикъ за послѣднее время не могъ двинуться, не могъ пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Глядѣть я не могла на него, какъ онъ, сердечный, маялся!—говорила дѣвушка, утирая слезы.—Померъ...—Братецъ вчерась стащилъ его въ лѣсъ, зарылъ въ снѣгъ, покуда земля не оттаетъ... А тамъ похоронитъ ужо.

Такъ все разомъ и объяснилось Кряжеву. Вотъ что значило лѣтнее видѣніе въ лѣсу; вотъ отчего у дверей Аггушкиной хатки появился замокъ, и Аггушка сталъ такъ нежаловать гостей! Объ отцѣ его уже столько лѣтъ не было ни слуху, ни духу: всѣ на деревнѣ думали, что онъ уже померъ, и никто не поминалъ о немъ. Кому же пришло бы въ голову, что у Аггухи на бугрѣ такой гостенекъ гоститъ?

Писарь все еще никакъ не могъ ума приложить: неужто же и въ самомъ дѣлѣ онъ такъ-таки и не нравится Евгешенькѣ. Дѣло, какъ-будто бы, вовсе ужъ нестаточное. И въ досужія минутки онъ часто думаетъ, какую бы такую махинацію подвести, чтобы Евгешенькино сердечко въ полонъ забрать. Ужъ грызетъ онъ, грызетъ свои толстые, грязные ногти и никакой махинаціи не лѣзетъ ему въ башку. Ужъ какъ онъ ласковъ съ ней —и Боже ты мой! Какіе стихи онъ въ тетрадь вписываетъ,—просто, ума помраченіе да и только!..

Но все было напрасно: Евгеша не уловлялась въ разставленныя ей губительныя сѣти. А дѣвушка къ тому времени, какъ на зло, поправилась и пополнѣла изъ лица. Идетъ, бывало, по улицѣ, въ своей питерской шубкѣ, сдвинетъ свои черныя брови, а щечки на морозѣ горятъ, какъ маковъ цвѣтъ. И хорошѣетъ она не по днямъ, а по часамъ—на горе Евграфу.

— Глядикось! — Евгешка-то... Фу-ты, ну-ты!—говорятъ бабы, глядя на Евгенію.

Писарь только томится и облизывается.

А Дмитрій Кряжевъ съ Назарычемъ поживали ладно. За это время дѣло объ артели подвинулось-таки впередъ. Назарычъ, слушая по вечерамъ Кряжева, постукивалъ по столу своимъ здоровеннымъ кулакомъ и даже разъ, помахивая трубочкой, грозно прорычалъ:

— Мы имъ засвѣтимъ! Мы имъ глаза-то протремъ! Ха!

Кряжевъ и самъ усмѣхнулся, глядя на старика, собиравшагося, словно на войну.

— Ну, Андрей Назаровъ! Ты у меня держись только!—хрипѣлъ служивый, заочно обращаясь къ своему братцу—къ Безпалому—и страшно вращая глазами.

— Ты погоди еще стращать-то ихъ... Думаешь, такъ вотъ они и дались!—останавливалъ его Кряжевъ.—Нѣтъ, милый человѣкъ! Отъ нихъ подвоховъ-то будетъ еще не убраться...

— Ну, такъ—въ атаку! Разъ, два-три—и маршъ!—командовалъ Назарычъ такъ усердно, что оконницы вздрагивали.—Мы ихъ пужнемъ! Небо съ овчинку почудится!

Кряжевъ уговорилъ-таки смуринцевъ завести артель. Мужикъ сѣръ, да умъ-то, говорятъ, у него не чортъ съѣлъ. Смуринцы поняли, что работать на себя и покупать желѣзо въ складѣ имъ будетъ выгоднѣе, чѣмъ забирать его у своихъ доброжелателей, что продавать гвоздь самимъ въ городѣ, помимо кулаковъ, опять-таки будетъ выгоднѣе. Эти соображенія бродили еще и прежде у нихъ въ головахъ. Только никакъ они не могли додуматься, возможно-ли этому быть, а если возможно,—такъ какимъ манеромъ состряпать дѣло? Вотъ тутъ-то подмога Кряжева и пригодилась имъ. Онъ первый сказалъ имъ, что это возможно, и растолковалъ, какъ и что надо сдѣлать для того. Нужно сперва сговориться, потомъ написать условіе да послать къ начальству на просмотръ; затѣмъ, на первый разъ надо откуда ни на есть денегъ достать—только не отъ кулаковъ. А тамъ ужъ дѣло само пойдетъ, какъ по маслу.

Смуринцы — по своему тоже народъ практическій, не увлекающійся. Вдоволь покачали они головами, почесались, поохали; ужъ ворочали они—ворочали одно и то же на разные лады. Со стороны, право, иной могъ бы счесть ихъ за дурачье... Но народъ—не дуракъ. И смуринцы въ концѣ концовъ согласились, потому что дѣло-то было ужъ очень просто и хорошо. Шибко забавляла ихъ одна мысль: они будутъ обходиться помимо закручьевскихъ, какъ ровно бы со Смурина тѣ вдругъ куда-то подѣвались.

— Какъ же это, братцы, они на насъ глядѣть-то будутъ? — спрашивали смуринцы.

— Очки, надо быть, въ городѣ купятъ!— замѣчали остроумцы.

Когда Кряжевъ открылся Лисину, тотъ „со всѣмъ его удовольствіемъ“ ухватился за артель. Его рысьи глазки страсть какъ разбѣгались; казалось, и удержу не будетъ имъ.

— Мы ужъ постоимъ! — сказалъ онъ съ жаромъ.—Анекдотъ выйдетъ преотличный...Не будьте въ сумнѣньи... Вотъ ужо какъ нибудь на недѣлѣ въ городъ поѣду по своей надобности, зайду къ Ѳедору Иванычу...Мы ужъ съ нимъ все обсудимъ и обладимъ, какъ быть слѣдоваетъ. Вѣдь онъ у насъ тамъ всѣмъ ворочаетъ. Голова! Всѣ у насъ по его дудкѣ пляшутъ. Потому—сила!..

Здѣсь должно замѣтить, что Лисинъ, подъ словомъ „у насъ“ разумѣлъ, обыкновенно, земскую управу, такъ какъ состоялъ гласнымъ. Пугали Кряжева разбѣгавшіеся безъ удержу его рысьи глазки и его горячая готовность хлопотать съ нимъ заодно объ устройствѣ артели, да дѣлать больше было нечего. Какъ ужъ Кряжевъ ни прикидывалъ обойтись безъ Лисаньки, а все выходилъ клинъ... За то Кряжевъ настрочилъ его такъ, что Ли-

синъ днемъ раньше поѣхалъ „по своей надобности“ въ городъ, поѣхалъ и повидался съ Ѳедоромъ Ивановичемъ.

Ѳедоръ Ивановичъ Вальдъ былъ еще молодой человѣкъ, лѣтъ 36, и чрезвычайно близко принималъ къ сердцу дѣла земства. Въ описываемое время онъ состоялъ членомъ управы, но ему уже сулили предсѣдательство. По крайней мѣрѣ, самъ старикъ-предсѣдатель, человѣкъ съ большимъ вѣсомъ и вліяніемъ въ средѣ черешинскаго помѣщичества, указывалъ своимъ партизанамъ на господина Вальда, какъ на желаемаго себѣ преемника. Да и всѣ въ уѣздѣ почти уже смотрѣли на него, какъ на человѣка, идущаго въ гору. Только самъ г-нъ Вальдъ, по наружности, вовсе не походилъ на героя, восходящаго на высоту. Онъ ходилъ тихо, понурившись, низко опустивъ плечи, словно подъ непосильною тяжестью. Ходилъ онъ какимъ-то колеблющимся шагомъ и, глядя на него идущаго, его невольно приходилось сравнивать съ тростинкой, вѣтромъ колеблемой, или съ утлымъ челномъ, безъ весла и безъ руля ныряющимъ, по произволу морскихъ волнъ. Его большіе, свѣтлые глаза смотрѣли сонливо и какъ-то чрезвычайно неопредѣленно, словно бы они просились спать. Голосъ былъ мягокъ и нѣженъ. Его лицо было красиво, хотя нѣсколько женственно; руки—бѣлыя, мягкія. Русые волосы его зачесывались назадъ, но часто падали ему на глаза. Всѣ манеры его, медленныя и вялыя, указывали на то, какъ будто Ѳедоръ Ивановичъ усталъ, что ничего ему не надо: „уйдите отъ него, пожалуйста! оставьте его въ покоѣ!..“ Это снаружи. Но были такіе вопросы, которые и его заставляли воспламеняться. Напримѣръ, помнятъ, какъ однажды—когда чтенія изъ русской исторіи и литературы, устроенныя имъ въ Черешинскѣ, были оборваны на полусловѣ, безъ всякой, повидимому, осязательной причины,—Вальдъ словно весь вдругъ загорѣлся и такъ швырнулъ чернильницей объ стѣну, какъ едва-ли швырялъ ею въ чорта и самъ Мартинъ Лютеръ.

Господинъ Вальдъ, между прочимъ, совершенно чистосердечно вѣровалъ въ артель, вѣровалъ въ то, что артели суждено обновить старый міръ. Передъ умственными очами Ѳедора Ивановича и во снѣ, и на яву, въ мечтахъ, поминутно и на каждомъ шагу созидались артели, артели и артели, и люди блаженствовали въ нихъ...

Вотъ къ этому-то доброму малому и явился Лисинъ для переговоровъ на счетъ предполагавшейся кузнечной артели въ селѣ Смуринѣ.

— Садитесь!—сонливо и вяло проговорилъ Ѳедоръ Ивановичъ, указывая гостю на стулъ.—Присядьте! Что скажете новенькаго?

Молча слушалъ онъ Лисина, подъ конецъ всталъ и лѣнивой походкой забродилъ по кабинету,—вѣрный знакъ, что артельный бѣсъ начиналъ его мутить. Походитъ-походитъ, постоитъ передъ Лисинымъ, заложивъ руки за спину, промычитъ „н-да“ и опять заходитъ. Онъ поминутно сбиваетъ коверъ и поправляетъ его; онъ почесываетъ за ухомъ, гладитъ бороду. Шаги дѣлаются все тревожнѣе и тревожнѣе; ноздри у него начинаютъ раздуваться, какъ у человѣка, пробуждающагося отъ сна. Однимъ словомъ, Ѳедоръ Ивановичъ проявляетъ въ себѣ всѣ симптомы страданій, которыя обнаруживаются въ немъ каждый разъ, когда онъ испытываетъ на себѣ навожденіе артельнаго духа.

— Вотъ поэтому самому, Ѳедоръ Иванычъ, мы ужъ къ вамъ и обратились!—заканчиваетъ Лисинъ свою повѣсть.—Похлопочите... И на счетъ устава-то... да и деньги-то, вотъ, тоже...Мы такъ ужъ всѣ и рѣшились...

— Хорошо, хорошо! Ладно, что вы надумали ко мнѣ притти!—отозвался г-нъ Вальдъ, опускаясь глубоко въ кресло, уже въ конецъ угнетаемый преслѣдующими его призраками.

— Это все возможно...У насъ, въ Черешинскѣ, кузнечная артель не пошла совершенно по особеннымъ причинамъ. Тутъ, просто, каверзы вышли...А это мы устроимъ. Вы такъ вашимъ и скажите!

Затѣмъ, г-нъ Вальдъ счелъ возможнымъ поговорить о Шульце-Деличѣ *). Лисинъ, какъ ни напрягалъ свои разсудочныя средства, уловить изъ его разсказа ровно ничего не могъ и ограничился лишь тѣмъ, что полюбопытствовалъ узнать: изъ благородныхъ-ли Шульце-Деличъ, или изъ простыхъ?..

Недѣли черезъ двѣ, Кряжевъ опять протурилъ Лисина въ городъ. Лисинъ на этотъ разъ привезъ смуринцамъ обѣщаніе Ѳедора Ивановича выхлопотать имъ отъ земства, на устройство артели, заимообразно 600 руб. сер., съ уплатою въ 10 лѣтъ — въ полугодичные сроки или въ иные, какъ окажется для нихъ удобнѣе. Затѣмъ Лисинъ привезъ черновой образ-

*) Извѣстный нѣмецкій ученый, предлагавшій устраивать артели.

чикъ артельнаго устава. Въ уставѣ Кряжевъ, по соглашенію со смуринцами, сдѣлалъ нѣкоторыя необходимыя измѣненія и дополненія. Наконецъ, послѣ многихъ сходокъ, послѣ толкотни и разсужденій вкривь и вкось, и впрямь, какъ вообще бываетъ на большихъ собраніяхъ, при новомъ дѣлѣ, уставъ былъ написанъ. Цѣликомъ приводить его мы не считаемъ нужнымъ, для желающихъ укажемъ лишь на нѣкоторые его параграфы, а читателей, интересующихся наиболѣе всего *романомъ*, мы отсылаемъ далѣе...

§ 6. Членами артели могутъ быть только кузнецы-работники, и никто изъ артельщиковъ не имѣетъ права поставлять въ артельный складъ гвозди, сработанные наемными рабочими.

§ 9. Артель имѣетъ право во всякое время дѣлать повѣрку книгъ, счетовъ и артельнаго имущества, находящагося въ завѣдываніи старосты и его помощниковъ, и также наблюдать за всѣми ихъ дѣйствіями.

§ 12. Каждый артельщикъ за убытки, причиненные имъ артели, отвѣчаетъ своимъ имуществомъ.

§ 16. Выходящій изъ артели имѣетъ право на полученіе принадлежащей ему части изъ барыша только за то время, по которое онъ состоялъ въ артели.

§ 21. Всѣ участвующіе въ настоящемъ договорѣ и принятые впослѣдствіи, которые по ревизскимъ сказкамъ составляютъ одну семью, имѣютъ только одинъ голосъ.

§ 25. Каждый членъ артели вноситъ каждый мѣсяцъ по 20 коп. сер. для составленія запаснаго артельнаго капитала.

„Договоръ сей, — значилось въ заключеніи,—по явкѣ въ волостномъ правленіи, долженъ быть соблюдаемъ нами свято и ненарушимо до скончанія жизни“.

Особенно много хлопотъ стоило Кряжеву ввести § 25, но онъ все-таки провелъ его.

Лисинъ съ Кряжевымъ свезли уставъ въ городъ, а тамъ уже и пошелъ онъ странствовать по бѣлу свѣту. Отъ г-на Вальда онъ перебрался въ черешинскую почтовую контору, оттуда въ тюкъ, на которомъ поскакалъ почтальонъ до станціи желѣзной дороги; затѣмъ уставъ полетѣлъ по чугункѣ и благополучно прибылъ въ большой городъ, былъ перевезенъ въ почтамтъ и, наконецъ, попалъ въ такія хоромы, о какихъ смуринцамъ матери и пѣстуньи ихъ никогда и въ сказкахъ не говорили.

Когда еще былъ не у шубы рукавъ, т. е. когда уставъ еще не писался, и денегъ у смуринцевъ еще не имѣлось въ виду ни гроша мѣднаго, слухъ объ артели уже ходилъ по деревнямъ, вездѣ возбуждая толки, догадки и споры.

— Вѣдь артель-то такая была ужъ въ городѣ заведена...—Да что изъ нея вышло? Такъ, пустое...—говорилъ Антонъ Кудряшевъ Лисину.

— Нѣтъ, кумъ! Не знаешь ты этихъ дѣловъ!—важно возразилъ ему Лисинъ.— Тамъ, братъ, особенная причина была, а не то чтобы...Ѳедоръ Иванычъ ужъ въ этомъ дѣлѣ до конституціи дошелъ, потому голова, весь ниверсетъ прошелъ... Шульцедѣева слыхалъ? — высокомѣрно вдругъ закончилъ Илья Петровичъ, переступая съ ноги на ногу и засовывая въ карманы руки, съ сознаніемъ своего торжества.

Но Антошка, сверхъ чаянія, не поразился нимало на этотъ разъ ученостью и глубиной глаголовъ Лисина.

— Изъ тутошныхъ, надо быть!—почти съ пренебреженіемъ отозвался Кудряшевъ.—А что намъ Шульцедѣевъ... Наплевать! Намъ и посредникъ-то фю-фю!..— И кулакъ присвистнулъ вызывающимъ образомъ.—Мы и сами съ капиталомъ... Не больно испужались... Шульцедѣевъ! Ишь сказалъ что!.. Гм!

— Профинтятся ужо!—говорилъ Прокудовъ Андрею Безпалому. — Ужъ Митька угодитъ ихъ! Завоютъ во-о какъ, не своимъ голосомъ!

Когда же уставъ былъ посланъ на утвержденіе, и о деньгахъ Лисинъ съ Кряжевымъ заговорили такъ, какъ будто бы тѣ были уже у нихъ въ рукахъ, когда наконецъ самый пропащій смуринецъ, мразь и пропойца, въ родѣ Абрамки, затолковалъ про артель, какъ про такое дѣло, которому быть, не миновать, тогда Закручье просто взбѣленилось. Закручьевскіе изъ силъ выбивались, чтобы усовѣстить старшину и писаря вступиться въ это дѣло.

— Вздорный народъ бунтъ затѣваетъ, а ты, Ивановъ, и ухомъ не ведешь, ровно не твое и дѣло!—внушительно говорилъ старшинѣ Прокудовъ, зайдя разъ къ нему въ правленіе.—Да это что же такое у насъ будетъ, а? Смута-то эта кончится, али нѣтъ?

— Таперь, Григорій Иванычъ, мы ничего не можемъ, потому ничего и нѣтъ исшо!—урезонивалъ старшина закручьевскаго богатыря.—А вотъ поглядимъ, да посмотримъ. Время, чай, не ушло... Озорничать-то шибко не дадимъ, уймемъ...

— Не прогляди, смотри! — грозящимъ

тономъ замѣтилъ Прокудовъ.—Это, братъ, дѣло такое—ой, ой! Тонко вести надо... Держи ухо востро, а то какъ разъ влетишь...

— Милосливъ Богъ! — успокоилъ себя Сысой Ивановъ.

Такая распущенность и мягкость въ старшинѣ сильно не нравилась закручьевцамъ. Выборы кстати были ужъ близко, и они надѣялись посадить на мѣсто старшины своего ставленника, Семена Васильева, мужика глупаго, но послушнаго. Этотъ изъ ихъ воли ужъ не выйдетъ...

Слухи о печати антихриста той порой пуще заходили по околотку, и передавали ихъ уже не шопотомъ, а вслухъ, и не однѣ бабы, но и мужики. Закручье старательно поддерживало эти слухи и еще всевозможнымъ манеромъ украшало ихъ. Утверждали, что земство денегъ давать не думало, да и не думаетъ, что деньги кузнецамъ идутъ отъ нечистаго. Антихристъ-де ходитъ по всѣмъ волостямъ и „носитъ въ одномъ кармашкѣ холеру, а въ другомъ коровью болѣсть“, то старухой, то старикомъ прикидывается и сыплетъ эти болѣсти въ рѣки, въ колодцы и въ пруды, пускаетъ ихъ по вѣтру на всѣ стороны. Все это для того, чтобы праведныхъ устрашить, разорить крестьянъ, чтобы денегъ у него брали. Онъ всѣмъ даетъ. А потомъ, какъ обойдетъ всѣ волости, „и зачнетъ по *своимъ* ходить, кто, значитъ, у него деньги бралъ. И почнетъ онъ это прикладывать имъ къ рукѣ свою печать. Кому приложитъ печать—и шабашъ! Ужъ тотъ вмѣстѣ съ нимъ и провалится въ адъ, и въ смолѣ будетъ кипѣть, и на сковородѣ жариться, и почнутъ его дьяволы палить и тыкать горячими полосами желѣзными, душить его сѣрнымъ смородомъ“. Конечно, бабье, вѣрившее и въ банныхъ, и въ домовыхъ, и въ водяныхъ, и въ гуменныхъ, до крайности смущалось антихристовой печатью. Крестьяне же посмѣлѣе, шутя, прямо говорили:

— Не токмо что къ рукамъ, а пущай хошь прямо въ лобъ печатаетъ... И то много легше, чѣмъ этакъ-то маяться...

Въ ожиданіи же „пришествія“, всякъ принялся за свое дѣло: Закручье дулось и глухо волновалось, а въ кузницахъ мѣхи пыхтѣли, стучали молоты, и позабористѣй, какъ будто бы, неслась по вечерамъ изъ кабака пьяная пѣсня...

II.

Недоимка—невидимка.

Продули февральскіе вѣтры, протрещали срѣтенскіе морозы, и въ полдень иной разъ такъ потепливало, что Назарычъ, сидя съ трубкой на завалинкѣ и поглядывая изъ-подъ сѣдыхъ бровей на солнышко, желтымъ шаромъ еще не высоко подымавшееся надъ горизонтомъ, но уже замѣтно припекавшее, бывало, говаривалъ:

— А, вѣдь, зима-то, братъ Митюха, на провалъ идетъ! Гляди-ко, на стрехахъ-то какія сосульки повисли...

Подходила весна.

Выборы прошли благополучно: старшиной очутился, какъ и загадывали закручьевцы, Семенъ Васильевичъ. Объ участи устава смуринской артели еще не было ни слуху, ни духу, хотя Ѳедоръ Ивановичъ и обнадеживалъ, что большой задержки не будетъ...

День выдался пасмурный, туманный, и рабочимъ, сидѣвшимъ въ кузницахъ, весь день казалось, что смеркается, и, того гляди, ночь нахлобучитъ надъ Смуринымъ свою темную шапку.

— Хошь лучину зажигай, такъ въ пору! Вотъ тѣ Христосъ... У голбца у насъ какъ есть ничего не видать!—переговаривались бабы.

— И не говори, матка! Утрось насилу въ иглу вдѣла!—отзывалась другая.

Наступилъ вечеръ мглистый и сырой. Одной сѣрой, непроглядной дымкой покрылось все небо, и дали вокругъ села Смурина. Въ избахъ тускло свѣтилъ огонь. По задворкамъ по одному, какъ будто крадучись, сходились крестьяне къ хатѣ Кряжева, и набралось въ хатѣ народу густо. Табачный дымъ и паръ застилали всю хатку. На столѣ горѣла сальная свѣча, но изъ-за дыма и пара ни свѣчи, ни подсвѣчника было не видать, а лишь какимъ-то желтовато-краснымъ язычкомъ мигалъ и дрожалъ огонекъ. Крестьяне стояли, сидѣли на лавкахъ, на печи и на полатяхъ; нѣсколько пареньковъ усѣлось на полъ, ближе къ столу. Около стола, на лавкахъ, засѣдали „старики“. Лица, большею частью, были хмуры, задумчивы. Только молодежь смотрѣла весело и пересмѣивалась промежъ себя. Изъ туманнаго полусумрака тамъ выдавались всклокоченныя головы, опущенныя на руки, тамъ синимъ пятномъ вырисовывалась пестрядиная рубаха, здѣсь выступала на свѣтъ пола армяка въ заплатахъ, тамъ мелькалъ желтый, только что выдубленный полушубокъ, а у одного изъ парней, сидѣвшихъ на полу, на шеѣ алѣлъ шерстяной шарфъ. Дальніе же углы скрывались какъ бы въ туманѣ.

Крестьяне собрались въ тотъ вечеръ въ Митюхину хатку по дѣлу, по важному дѣлу. Почти уже годъ становой присту-

паетъ къ нимъ съ недоимкой; въ послѣднее же время онъ сталъ приставать все пуще и пуще и чуть не каждое воскресенье сгонялъ ихъ въ правленіе. Но суть-то дѣла заключалась въ томъ, что о происхожденіи этой недоимки не знала ни одна живая душа. На сходкахъ крестьяне обращались къ становому съ просьбою указать: откуда навязалась къ нимъ эта недоимка въ образѣ 540 р. сер. Становой въ отвѣтъ лишь покрикивалъ... Такъ его спрашивать и перестали. Недоимка не уплачивалась по безденежью: дѣло затягивалось. Наконецъ, крестьяне обратились къ Кряжеву съ просьбой разобрать и разсудить это дѣло. Кряжевъ на подмогу къ себѣ позвалъ учителя. Собирались же крестьяне по задворкамъ для того, чтобы не обратить на себя лишняго вниманія.

Кряжевъ примѣстился съ краю стола. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ Верхозовъ въ наглухо застегнутомъ черномъ пальто и съ папиросой во рту. На столѣ были грудой навалены расписки черешинской почтовой конторы и квитанціи изъ черешинскаго казначейства въ полученіи денегъ. Верхозовъ внимательно проглядывалъ ихъ одну за другой и диктовалъ Кряжеву, а тотъ уже исписывалъ до конца рядами цифръ сѣрый полулистъ бумаги. Крестьяне вполголоса толковали между собой. Парни шушукались и хихикали, сроша другъ другу волосы. Двѣ бабы заглядывали изъ-за перегородки... Наконецъ, послѣдняя грязная, засаленная бумажка прошла черезъ руки Верхозова. Кряжевъ отодвинулъ въ сторону счеты и ворохъ квитанцій и расписокъ и вмѣстѣ съ учителемъ принялся провѣрять еще разъ свои вычисленія. Поправили двѣ-три копеечныя ошибки и подвели итогъ.

— Ну, вотъ тѣ и все!—съ полувздохомъ промолвилъ Кряжевъ, поднимаясь съ мѣста и потягиваясь.

— Недоимки у васъ, братцы, ровно 37 рублей 89 копеекъ!—сказалъ учитель, оглядывая сверхъ своихъ синихъ очковъ собраніе.

— Т-э-экъ! — протянулъ одинъ старикъ среди глубочайшаго безмолвія, воцарившагося въ избѣ съ первыхъ же словъ Верхозова.

— Это за послѣдній годъ? — спросилъ Ѳедоръ Горѣлый, выступая на свѣтъ и покачивая своею темной, курчавой головой.

— Да! За послѣдній!—отвѣтилъ Верхозовъ, просматривая листъ.

— Ну, такъ! Это-то такъ есть... Супротивъ этого мы не баемъ! — съ жаромъ подхватилъ Горѣлый. — А вотъ отколѣ 500-то рублевъ взялось, ты скажи... Вотъ что!

— Такой недоимки я за вами не вижу... Всѣ бумаги перебралъ, за всѣ старые года счеты свелъ... Вотъ смотрите сами, кто грамотный! Берите! — И Верхозовъ подалъ старикамъ исписанный листъ.

Очевидно, вышло какое-то недоразумѣніе.

— Такъ это они что же?—заговорило разомъ нѣсколько голосовъ. — Кое ужъ воскресенье понапрасну въ расправу таскаютъ...Это не того...Не годится этакъ... отъ дѣла-то отрывать...

Сходка зашумѣла.

— Ну, что же таперь дѣлать-то, а?— надумалъ наконецъ одинъ изъ стариковъ.—Отъ шуму-то нашего, чай, ничего не будетъ...

— А надоть, господа, къ мировому прошенье написать!—сказалъ Кряжевъ, перемолвившись предварительно съ учителемъ.—Пущай растолкуетъ! Представить, значитъ, ему всѣ расписки... какъ ужъ онъ положитъ... Больше что же дѣлать...

Порѣшили написать прошеніе къ посреднику и приложить къ этому прошенію всѣ квитанціи и расписки, какъ явныя доказательства своей правоты. Верхозовъ тутъ же написалъ прошеніе и предложилъ крестьянамъ подписаться. Тѣ подписались лишь тогда, когда дважды съ разстановкой прочитали имъ бумагу и пояснили ее. Грамотные сами съ нѣкоторыми усиліями нацарапали имена и прозвища, а за безграмотныхъ расписался Кряжевъ. Возникъ вопросъ: сколькихъ послать съ бумагой и кого? Рѣшеніе этого щекотливаго вопроса позатянуло сходку. Одинъ не шелъ, отговариваясь своею нерѣчистостью; другой боялся, „какъ бы мировой на него не закричалъ"; третьему было недосужно; четвертый справлялся о томъ, положитъ-ли міръ что ни на есть на прокормъ на время ходьбы. И вотъ вырастаетъ денежный вопросъ, не менѣе щекотливый. 500 рублей недоимки словно бы позабылись на ту минуту: всякій убоялся расходовъ на прокормъ посланцевъ и горланилъ во всю мочь. „Да и что выйдетъ изъ этой ходьбы? Будетъ-ли еще прокъ, лѣшій его знаетъ!" бродило въ головахъ. Денежный вопросъ рѣшили: по гривнѣ съ рыла. А для того, кому итти, бросили жеребій. Жеребій выпалъ: Василью Кряжеву и Гаврилѣ Михайлову, сельскому старостѣ. Оба заежились, замолились міру, чтобы ослобонили ихъ отъ ходьбы и отъ посредника.

— Охъ, Васюкъ, Васюкъ! Бѣдная го-

лова!—смѣялся одинъ изъ пареньковъ.— Ему и рѣчей не найти!..

Сходка стала просить сходить Дмитрія Кряжева. Кряжевъ сначала думалъ, что итти ему одному, безъ товарища, будетъ не ладно; но когда Верхозовъ молвилъ ему на ухо, чтобы онъ согласился, то онъ махнулъ рукой и сказалъ: „ну, ладно!“ Онъ и самъ ужъ видѣлъ, что безъ него дѣло не обойдется, что откажись онъ, прошенье такъ и заваляется, пропадетъ безъ вѣсти... Въ нарочно оставленномъ пробѣлѣ Верхозовъ четкимъ, крупнымъ почеркомъ вписалъ, что нижеподписавшіеся крестьяне такой-то волости, села Смурина, уполномочиваютъ отъ себя итти съ прошеніемъ къ г-ну посреднику „Дмитрія Михайлова“. Оставалось лишь приложить печать.

— Староста! Печать-то у тя никакъ?— спросилъ одинъ изъ крестьянъ, обращаясь къ Гаврилѣ Михайлову.

— У меня-то, у меня...—нерѣшительно отвѣтилъ тотъ, почесываясь.

— Такъ чего жъ сталъ? Тащи ее сюда!—крикнули ему.

— Ночевать намъ здѣсь, что ли, и взаправду!—заговорили въ толпѣ.

— Сходить ужъ, знашто... Э-эхъ!—махнувъ рукой, проворчалъ староста и сталъ пробираться къ выходу.

Гаврило Михайловъ состоялъ старостой по очереди, былъ человѣкъ бѣдный, и самому ему охота было избавиться отъ новой недоимки; но смущала его быстрота рѣшенія, смущало и позднее время, неурочная пора для сходокъ—и въ особенности участіе въ этомъ дѣлѣ учителя съ Кряжевымъ. Онъ искренно желалъ, чтобы старостой сельскимъ въ тотъ день былъ не онъ, а кто-нибудь другой изъ смуринцевъ. Много бы поспокойнѣе заснулъ онъ въ ту ночь! „А ну какъ не по закону, а? Ну, какъ тутъ они какую ни на есть химію подвели? Тутъ чего?“ смутно и отрывочно пробѣгало въ головѣ старосты, когда онъ, придя къ себѣ въ избу, полѣзъ въ сундукъ за печатью.

— Чего ужъ такъ долго-то?—впросонкахъ спросила его съ печи жена.

— Да сходка тамо...—съ сердцемъ отозвался Гаврило, захлопывая крышку сундука.

— Таперь-то у васъ сходка! Какая такая сходка! Водку, видно, лопаете... вотъ и сходка!—брюзжала старостиха.

Гаврило, ругнувъ на сонъ грядущій жену, вышелъ вонъ. „А ну, какъ влопаешься съ ними? Ахъ, чортъ бы ихъ...— раздумывалъ онъ. — Печать-то, вѣдь, я дамъ...Ну, значитъ, меня и къ отвѣту... Я, значитъ все дѣло скрѣпилъ... Ахъ ей-Богу право! Ахъ, дѣла, дѣла!..“ И привздохнувъ, положилъ Гаврило Михайловъ печать въ широкій карманъ своего полушубка и потащился къ хатѣ. „Не дать нельзя: осерчаютъ... скажутъ... гм! А дашь, такъ и самъ съ ней наплачешься, съ печатью-то...И для чего только эти печати на свѣтѣ заведены!“ размышлялъ староста. И ужъ такъ-то тяготился онъ въ ту ночь своею властью и сопряженною съ нею отвѣтственностью, что просто не приведи Богъ!..Вотъ вошелъ онъ въ избу и, протискавшись къ столу, вынулъ печать, но изъ рукъ ея не выпускалъ и держался за нее крѣпко.

— Семенъ-то Васильевъ про это дѣло не знаетъ...—началъ онъ, сжимая въ рукѣ печать. — Потому, къ отвѣту ежели потянутъ, такъ ужъ я въ первую голову... Мы, вотъ, такъ разсудимъ...

— Нечего тебѣ печаловаться, Гаврило! Подписи-то, вѣдь, наши... Мы всѣ въ отвѣтѣ!—замѣтилъ ему Кряжевъ. — А что ты на счетъ Семена Васильича, такъ ужъ это совсѣмъ напрасно...Это наше дѣло, а не волостное...Мы, значитъ, отъ себя прошенье подаемъ...Какая же тутъ бѣда? Что ты! Прочухайся лучше!..

Кряжевъ той порой подмигнулъ одному молодому, рослому парню. Тотъ, какъ бы шутя, облапилъ старосту, вырвалъ у него печать, живо начернилъ ее и съ силой притиснулъ къ лѣвой сторонѣ нижняго края листа, въ то самое время, какъ другой паренекъ закрылъ старостѣ глаза, тоже шутя. Все дѣло обошлось въ одинъ мигъ. Гаврило Михайловъ, разинулъ, было, ротъ, чтобы еще сказать что-то, да такъ и остался: черный кружокъ съ бѣлыми буквами грозно-грозно поглядѣлъ на него съ бумаги.

Сходка стала расходиться. Смурино уже спало, нигдѣ ни огонька, и собаки не лаяли.

— А вы времени-то не теряйте, уходите поскорѣе! — на прощанье говорилъ Кряжеву учитель.

— Уйду до свѣта! — отозвался тотъ, крѣпко пожимая учителю руку.

И такая поспѣшность, какъ оказалось, была вовсе не лишняя.

III.

И слѣдъ простылъ.

Евграфу Евстигнеевичу что-то не поспалось въ ту ночь. Съ вечера онъ пере-

писывалъ изъ пѣсенника въ свою тетрадку стихотвореніе, начинавшееся такъ:

«Все покоится въ природѣ,
Исполняя свой законъ,
Токмо вѣтеръ на свободѣ
Тяжкій мой разноситъ стонъ».

Сонъ его былъ тревоженъ и чутокъ... Вдругъ онъ послышалъ подъ окномъ шаги, опять шаги и говоръ. Онъ слѣзъ со своей мягкой перины и подошелъ къ окну.

— Да это наши смуринскіе никакъ... Ѳедька съ кѣмъ-то!.. Гм! Коего лѣшаго они таскаются тутъ по ночамъ?—проворчалъ онъ и пошелъ за перегородку, гдѣ, на жесткой постилкѣ, сладкимъ сномъ спалъ его прислужникъ, мальчуганъ лѣтъ двѣнадцати.

— Эй, ты! Ишь сволочь, дрыхнетъ!—бурчалъ писарь, пиная ногой мальчугана.

Тотъ вскочилъ и, почесываясь и ероша волосы, таращилъ на Евграфа Евстигнеевича заспанные глаза.

— Сейчасъ тутъ мужики прошли, бѣги, окликни: откудова?—приказалъ писарь.

Демка, какъ былъ въ одной рубахѣ да въ порткахъ, такъ и выскочилъ на улицу, безъ шапки и босой. Возвратившись, онъ доложилъ своему господину, что онъ окликнулъ мужиковъ, но тѣ не отгаркнулись и завернули въ проулокъ, а когда онъ завернулъ за ними туда, то ихъ уже было не видать. Одного изъ мужиковъ Демка призналъ за Ѳедьку Горѣлаго. Евграфъ Евстигнеевичъ пошелъ на свою половину, чиркнулъ сѣренкой и посмотрѣлъ на часы. Было около часа ночи. „Изъ кабака нѣшто? Да нѣтъ, поздно"...—подумалъ писарь.

— Бѣжи, пошли старосту! Коли спитъ,—разбудить! Живо!—крикнулъ онъ Демкѣ.

Когда, въ сопровожденіи Демки, староста явился къ писарю, тотъ былъ уже въ халатѣ и при трубкѣ, а на столѣ въ мѣдномъ, покрытомъ зеленью подсвѣчникѣ, оплывалъ сальный огарокъ.

— Спалъ, чай? — опросилъ Евграфъ Евстигнеевичъ старосту.

— Нѣту, не спали исшо...—съ запинкой отвѣтствовалъ тотъ.—На сходкѣ о сю пору провожжались...Вотъ до коего времени...

— На какой такой сходкѣ?—выпучивъ глаза, быстро спросилъ Евграфъ Евстигнеевичъ.

— Да вотъ все это, значитъ, на счетъ того...—И тутъ Гаврило Михайловъ разсказалъ писарю на чистоту все дѣло, разумѣется, стараясь лишь выгородить себя.

— Т-а-а-акъ! Молодцы!—протянулъ писарь, выслушавъ повѣсть о сходкѣ и о приложеніи не извѣстно кѣмъ печати къ приговору.—А вѣдь, вы, братцы мои, того гляди, до уголовщины достукаетесь этакимъ-то манеромъ!—многозначительно оттопыривъ губы, заговорилъ Евграфъ Евстигнеевичъ.

— Ахъ ты, Господи Боже! Вотъ напасть-то!—бормоталъ Гаврило Михайловъ. Ужъ говорилъ я имъ, говорилъ... Вотъ какъ говорилъ... Нельзя, говорю, никакъ! Не можно, говорю, эфтого... потому, не въ законѣ...—Э-эхъ народъ!..

— Хорошъ и ты... Хорошъ староста, нечего сказать! Самъ безпорядки производитъ!—язвительно усмѣхнулся писарь, ужаснѣйшимъ образомъ морща брови.

— Воля ваша, Евграфъ Евстигнеичъ! А я вотъ, какъ передъ Богомъ... Э-эхъ, ну!..—не договорилъ староста, хлопнулъ руками по переду полушубка и поникъ головой.

— Надо это дѣло поправить. Не оставлять же такъ!—Ты какъ смекаешь, а?—походивши предварительно взадъ и впередъ по комнатѣ, заговорилъ писарь, останавливаясь передъ Гаврилой Михайловымъ.

— Знамо, оставлять нельзя, да что тутъ подѣлаешь-то!—замѣтилъ тотъ.

— А ступай-ко ты къ Митькѣ, скажи: такъ и такъ, молъ... Вздору, скажи, мы надѣлали. Возьми у него это прошенье... А завтра мужикамъ скажи...

— Ну, дѣла! Вотъ такъ дѣла!—ворчалъ староста, направляясь къ избѣ Кряжева.

Кряжевъ уже спалъ, и когда староста завозился подъ окномъ,—ворота ему отперъ Назарычъ.

— Ну, Митрей Михайлычъ! Надѣлали мы съ тобой дѣловъ, нечего сказать! Подь-ко сюда!.. — приступилъ староста, когда служивый разбудилъ Кряжева.

Кряжевъ слѣзъ съ полатей и, какъ бы еще въ просонкахъ, сѣлъ со старостой рядомъ на лавку.

— А писарь-то провѣдалъ...—Не дѣло, говоритъ, мы затѣяли...—молвилъ староста.—Судомъ припужнулъ... Ахъ! бросимъ, ей-Богу, это... Отдай ты прошенье-то! Ну его!...

— Прошенье?—какъ бы вдругъ очнувшись, рѣзко заговорилъ Кряжевъ. — Ну, ужъ это вы попустому съ Евграфомъ Евстигнеичемъ безпокоитесь! Не видать вамъ прошенья, какъ ушей своихъ... И чего только ты это вздумалъ!

— О двухъ головахъ ты нѣшто, что этакъ-то говоришь?—замѣтилъ староста.

— Нѣтъ, объ одной, да и той для міра не пожалѣю! Слыхалъ?..—тихимъ, но внятнымъ и ровнымъ голосомъ сказалъ Кря-

жевъ, приподнимая брови и глядя исподлобья на Гаврилу Михайлова.

Огня въ избѣ не вздували, но староста всетаки могъ разглядѣть кое-какъ лицо своего собесѣдника. Лицо было совершенно серьезно, немного нахмурено...

— Ну, чего ты манишь-то? Шутъ ты, ей-Богу...—заигрывающимъ тономъ молвилъ староста, какъ бы желая себя увѣрить, что Митюха шутитъ съ нимъ.—Вѣдь, супротивъ начальства не пойдешь...

— Самъ ты—шутъ гороховый!—совершенно серьезно сказалъ Кряжевъ.—Писарь то начальство? Не слишкомъ-ли будетъ? Вѣдь этакъ и плюнуть будетъ некуда! Того и гляди, въ начальство попадешь...

— Эка сморозилъ!—замѣтилъ староста.

— Ну, да! Этакимъ-то начальствомъ ворота подпирать стать! Гм! Горе—начальство!—съ усмѣшкой огрызнулся Кряжевъ.—Мы его поимъ, кормимъ, а онъ намъ служитъ за то, старшинѣ помощникъ. Вотъ онъ—начальство-то какое! Коли не исправенъ, такъ по шапкѣ, да и изъ деревни вонъ!..

Увидалъ староста, что дѣло, видно, не на шутку пошло, коли Митюха заговорилъ свои непутевыя рѣчи и „буркалы этакъ заворочалъ".

— Ахъ, другъ! Вѣдь отвѣтчикъ-то я... Хошь бы меня-то ты пожалѣлъ крохотку!—взмолился староста, придвигаясь къ Кряжеву.

— Для міра и матери родной не пожалѣю, не токмо что тебя... И себя не пожалѣю, никого!—тѣмъ же тихимъ, ровнымъ голосомъ отрѣзалъ Кряжевъ.

— Отдай, Митрей Михайлычъ!—хватая Кряжева за руку,—проговорилъ Гаврило Михайловъ.—Но гробъ я тѣ...

— Сказалъ: не отдамъ—и не отдамъ! И не проси! Приговоръ отъ общества мнѣ даденъ—по формѣ, какъ слѣдуетъ...—отбивался Кряжевъ.

— Ахъ, ты—хрѣнъ!.. Вотъ, ей-Богу... Такъ не отдашь?—приступалъ староста.

— Ни за что въ свѣтѣ не отдамъ!—повторилъ Кряжевъ и полѣзъ на полати.

— Ну, шабашъ, да и полно!—уходя, проворчалъ староста.

Писарь, узнавъ объ исходѣ переговоровъ, затопалъ, закричалъ, заплевался такъ, что и Боже упаси! Староста въ тѣ минуты, казалось, разомъ сократился и душой и тѣломъ: онъ желалъ бы сдѣлаться на ту пору самымъ маленькимъ человѣкомъ въ мірѣ.

— Хошь вырви, хошь силкомъ возьми, а прошенье добудь!—оралъ писарь.—Сказано тебѣ: дѣло не шутовое... Всѣ изъ-за тебя пропадемъ, дурья ты голова! Подъ какое дѣло подводишь, а? Вѣдь это что? Бунтъ! Какъ есть бунтъ... Въ острогѣ сгніешь...

— Воля ваша!—повторялъ Гаврило Михайловъ, тяжко вздыхая и переминаясь съ ноги на ногу.

— Пошелъ! Позови его ко мнѣ!—приказалъ, наконецъ, писарь.

Когда же староста вдругорядь пришелъ къ избѣ Кряжева и завозился подъ окномъ, то Назарычъ объявилъ ему, что Кряжевъ уже ушелъ. А правду-то сказать, Кряжевъ въ ту пору спокойно еще спалъ въ аггушкиной хаткѣ на бугрѣ и только часа черезъ два послѣ того, почти передъ самымъ разсвѣтомъ, отправился въ путь.

IV.

Заглавіе пропущено.

Кряжевъ шелъ по дорогѣ къ Ѳоминскому, гдѣ жилъ мировой посредникъ, Нилъ Ивановичъ Хлопушкинъ.

Нилъ Ивановичъ былъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ особою замѣчательною. До объявленія воли онъ ничѣмъ еще особенно не выдѣлялся изъ среды окрестнаго помѣщичьяго люда; въ жизни частной и общественной онъ руководствовался, какъ и всѣ, простымъ правиломъ „не препятствуй моему нраву"; любилъ карточную игру—преферансъ или, какъ онъ говорилъ, „преферушу", но болѣе, какъ по четверти, не игралъ; слову „вспишу" придавалъ узкое, патріархальное значеніе и „вписываніе" не считалъ ни дѣломъ государственной мудрости, ни подвигомъ, а просто *такъ*, и всего чаще смотрѣлъ на порку своихъ крѣпостныхъ людей, какъ на препровожденіе времени; мнилъ о себѣ онъ не болѣе, чѣмъ и прочіе помѣщики. Послѣ же воли онъ значительно измѣнился. На него надѣли цѣпь мирового посредника, и онъ, шутя, объявилъ, что его „посадили на цѣпь". Вмѣсто преферанса, онъ сталъ чаще играть въ рамсъ. Слову „вспишу" онъ уже сталъ придавать болѣе глубокій и разнообразный смыслъ и высоко поднялся въ своемъ собственномъ мнѣніи...

— А знаете ли, батенька, волю-то 19-го февраля, кто провелъ, а? Вы какъ объ этомъ думаете?—вопрошалъ онъ, бывало, своего собесѣдника.

Собесѣдникъ огорашивался и недоумѣвалъ, съ какою ехидною цѣлью предлагается ему еще разъ этотъ уже рѣшенный вопросъ.

— Я, батенька! Я провелъ ее... Вы не удивляйтесь! Вотъ только прислушайте! говорилъ Нилъ Ивановичъ, возвышая голосъ.—Я что дѣлалъ? Вы знаете?.. Какъ только провѣдаю, что гдѣ нибудь крестьяне зашушукали—я сейчасъ и туда... вспишу, да въ другое мѣсто, да въ третье... Вотъ этакимъ-то манеромъ у насъ все законно и вышло.

Изъ скромности, должно быть, Нилъ Ивановичъ не договаривалъ, но такъ вылупливалъ свои бычачьи глаза, такъ пучилъ свою утробу, такъ отдувалъ свои толстыя щеки и до того ужасно хмурился, что всякій безъ словъ понималъ, что видитъ передъ собой одного изъ отцовъ отечества... До воли онъ жилъ легкомысленно, послѣ же нея запасся какимъ-то необыкновенно сосредоточеннымъ видомъ, причемъ жаловался на недосугъ (чего прежде за нимъ не бывало), хотя и теперь, какъ и прежде, свободнаго времени выбиралось у него въ сутки, приблизительно, около 24 часовъ... Затѣмъ въ другихъ отношеніяхъ онъ не измѣнился вовсе. Такъ, въ общественной и частной жизни онъ руководствовался прежнимъ правиломъ: попрежнему, сидя одинъ дома (онъ былъ вдовъ и бездѣтенъ), занимался обклеиваніемъ коробочекъ изъ-подъ спичекъ изъ-подъ конфектъ и табаку; лѣтомъ, попрежнему, по двору своей Измайловки, по саду и даже далѣе, ходилъ онъ въ одной бѣлой рубахѣ, въ подштанникахъ и красныхъ сафьянныхъ туфляхъ, съ трубкой въ рукѣ. Въ случаѣ надобности, сверхъ рубахи и халата, не стѣсняясь, онъ надѣвалъ свою цѣпь и въ такомъ полутатарскомъ видѣ показывался передъ просителями изъ простонародья.

Вотъ къ этой-то почтенной особѣ и шелъ теперь съ прошеніемъ Дмитрій Кряжевъ. Въ Ѳоминскомъ посредника не оказалось, въ Измайловкѣ—тоже: онъ былъ въ городѣ. Кряжевъ, сдѣлавъ въ тотъ день около тридцати верстъ, поусталъ и остановился на деревнѣ переночевать. Въ околоткѣ—верстъ, почитай, на сто въ окружности — у Кряжева вездѣ были все знакомые, да благопріятели. Кому помогалъ онъ иной разъ въ полевой работѣ, кому „штрументъ" починивалъ, кому по дому разныя подѣлки справлялъ, кому письмо строчилъ, кому совѣтомъ угодилъ, кому помалости помогъ деньжонками. Притомъ, какъ человѣкъ грамотный, знающій, побывавшій въ Москвѣ и не одиножды въ губернскомъ городѣ, Кряжевъ разговаривалъ, разсуждалъ съ крестьянами о близкихъ для нихъ дѣлахъ: о податяхъ, о недоимкахъ, о рекрутчинѣ, о кулаческихъ продѣлкахъ, о дѣяніяхъ земскихъ людей. И Кряжева пристально слушали, потому что онъ былъ свой человѣкъ и говорилъ всегда толково. Онъ вслухъ, словами, выговаривалъ то, что занимало весь крестьянскій міръ, что неясно и смутно бродило въ умахъ всѣхъ, подобно утреннимъ, передразсвѣтнымъ тѣнямъ. И выходило, что Кряжевъ говорилъ такъ, какъ будто бы не отъ себя, а отъ лица всего околотка. И знакомы, понятны были его рѣчи, и западали онѣ въ сердца и въ умы простыхъ, неграмотныхъ людей глубже всякихъ книгъ и приказовъ. Кряжевъ, бывало, и поговорку вплететъ, и крѣпкое словцо влѣпитъ, и на смѣхъ подниметъ; слушатели смѣются и повторяютъ его слова.

Такъ и въ тотъ вечеръ, приваливъ къ одной знакомой избѣ, Кряжевъ скоро очутился въ многолюдномъ собраніи. Въ избѣ стало тѣсно... Кряжевъ толковалъ про смуринскія дѣла, про то, какъ шибко, хорошо шла касса, какъ расторговывалась ихъ общественная лавочка, какъ затѣялась артель; повѣдалъ, по какому случаю попалъ онъ къ нимъ, на Ольхино, какъ ихній староста согрѣшилъ съ печатью...

Много и вопросовъ предлагалось Кряжеву; онъ отвѣчалъ на нихъ, какъ могъ. Потолковали и о разныхъ слухахъ... Несбыточные, необычные слухи — въ родѣ дарового провоза народа по чугункѣ по какому-то особенному случаю, въ родѣ какой-то „самой настоящей воли", или что-нибудь насчетъ земли — время отъ времени Богъ вѣсть откуда поднимались въ томъ глухомъ околоткѣ. Кто ихъ выдумываетъ, эти слухи, кто ихъ пускаетъ въ ходъ? Говорятъ, что когда льютъ колоколъ, такъ нарочно распускаютъ какой-нибудь ложный слухъ для того, чтобы онъ лучше вылился—громче и звончѣе...

Около полуночи гости стали расходиться, и всякъ зазывалъ Кряжева къ себѣ на перепутье. И зовъ этотъ былъ искрененъ... Еще бы,—когда всѣ звавшіе такъ любили его. Да случись съ нимъ какая-нибудь напасть — тысячи крѣпкихъ, здоровыхъ рукъ потянутся къ нему на выручку... Даже и самъ Кряжевъ не зналъ въ точности: насколько велико и какъ далеко захлестнуть можетъ его вліяніе надъ крестьянскою душой...

Переночевавъ на Ольхинѣ, Кряжевъ чѣмъ свѣтъ пошелъ въ городъ. Опять ему пришлось сдѣлать около 30-ти верстъ. Прибывъ въ Черешинскъ уже ввечеру, Кряжевъ думалъ было отложить до утра

свиданіе съ посредникомъ, но раздумалъ и отправился тотчасъ же, побоявшись, какъ бы посредникъ не удралъ скоропостижно домой, причемъ Кряжеву опять пришлось бы итти за нимъ вспять, а потомъ, глядишь, и еще куда-нибудь въ другое мѣсто, и гоняться этакъ за нимъ безустально больше недѣли... Но попалъ Кряжевъ къ посреднику не въ добрый часъ. Карточная игра была въ самомъ разгарѣ, и Нилъ Ивановичъ былъ страшно раздраженъ. Выпала одна изъ тѣхъ скверн-нѣйшихъ случайностей, при которыхъ простому смертному трудно бываетъ сохранить хладнокровіе. Нилъ Ивановичъ проигрывалъ, къ искреннему удовольствію мирового судьи и исправника. Дрожащею рукою вписывалъ онъ свой проигрышъ, и когда человѣкъ доложилъ ему о приходѣ мужика, то онъ такъ посмотрѣлъ на него, какъ будто бы тотъ нанесъ посреднику кровную обиду.

— Подождетъ! — огрызнулся Хлопушкинъ.

Наконецъ, пыхтя и приглаживая на вискахъ разлетающіеся волосы, онъ вышелъ въ переднюю.

— Что скажешь?—недоброжелательно обратился онъ къ Кряжеву, косясь на дверь, откуда все еще слышался пискливый голосъ мирового судьи, потѣшавшагося надъ его неудачей.

— Къ вашей милости! — промолвилъ Кряжевъ и, вытащивъ изъ-за пазухи тряпочку, вынулъ изъ нея прошенье, кипу квитанцій и расписокъ и подалъ ихъ Нилу Ивановичу.

— Это... это... это еще что такое? А? Разъясненіе? Какое разъясненіе? А?— скороговоркой заперебивалъ онъ, пробѣжавъ наскоро бумагу. — Становой вамъ объявилъ, и разсуждать нечего! Недоимка есть—и баста.! И Нилъ Ивановичъ, швырнувъ на столъ расписки и прошенье, собрался уходить.

— Да какъ же міръ таперь не знаетъ... и спрошать не у кого... Становой не говоритъ тоже...—началъ, было, Кряжевъ, не принимая назадъ ни прошенья, ни документовъ.

— И знать вамъ нечего! — крикнулъ Хлопушкинъ.—Нажили недоимку и плати! Что еще тутъ за разъясненія такія! Только ваше дѣло кляузничать, а нѣтъ, чтобы о недоимкахъ позаботиться...

— Да сдѣлайте милость!—началъ опять Кряжевъ.

— Ну?!—нетерпѣливо взлаялъ посредникъ.

— Расписки-то проглядите... все вѣдь тутъ означено... — урезонивалъ Кряжевъ Нила Ивановича.

— Ты что? Ты ужъ учить меня вздумалъ? Грубіянить? А?... Мер-р-завецъ!.. А-ахъ, ты татаринъ!..—зарявкалъ Хлопушкинъ, обращая на Кряжева свое покраснѣвшее, гнѣвомъ пылавшее лицо.—Я вотъ какъ почну тебя с-с-с...

И Нилъ Ивановичъ, сдѣлавъ шагъ впередъ, выразительно повелъ рукой, но одумался.

— Прошенья не возьму, бери его себѣ!..—А теперь ступай съ нимъ въ полицію... махнувъ рукой на разсыльнаго, крикнулъ посредникъ Кряжеву.

. . . . . .

. . . . . .

И Кряжевъ очутился въ кутузкѣ, то-есть въ томъ отдѣленіи полицейскаго дома, куда совали буйныхъ и пьяныхъ гражданъ. Кромѣ двухъ-трехъ голыхъ наръ, въ этомъ покоѣ ничего не имѣлось; тутъ было грязно, вонюче, сыро, холодно и даже днемъ такъ сумеречно, какъ вечеромъ, потому что грязныя окна съ рѣшотками слишкомъ мало пропускали свѣта. Блохи такъ и прыгали по полу по всѣмъ направленіямъ, какъ кузнечики въ полѣ лѣтнею порой. Тьма разныхъ насѣкомыхъ облѣпила Кряжева, и ѣли его поѣдомъ эти насѣкомыя всю ночь напролетъ.

Но больнѣе блохъ тревожила Кряжева мысль:—„А ну какъ посредникъ и въ самомъ дѣлѣ не посмотритъ ни на какіе законы и продержитъ его цѣлую недѣлю въ этой преисподней? А время-то такое теперь бойкое,—вовсе ужъ не до того, чтобы сложа руки сидѣть взаперти и бездѣльничать, сознавая себя сильнымъ, здоровымъ и способнымъ къ дѣлу! Скверно, гадко!.. Не придетъ-ли за это время разрѣшеніе ихней артели? Что-то тамъ, на Смуринѣ, безъ него будетъ дѣяться? Не подведутъ-ли закручьевцы какихъ-нибудь подвоховъ, благо его нѣтъ на Смуринѣ?“

Вотъ какія думы находили на Кряжева, когда онъ ночью лежалъ на нарахъ, прислушиваясь, какъ отъ поры до времени на соборной колокольнѣ сторожъ билъ часы... Промелькивала въ его головѣ мысль и объ Евгеніи, но промелькивала не изъ первыхъ, а какъ-то въ сторонкѣ, словно крадучись.

При воспоминаніи о дѣвушкѣ, одинъ вопросъ лишь копошился у него въ мозгу:—„Что выйдетъ путнаго изъ ихней любви? Какъ бы не пришлось Евгеніи заплатить кровавыми слезами за ихъ недолгія радости? Поколь родные не кро-

вѣдали—еще ничего... А узнаютъ? Что тогда? Жениться Митюхѣ нельзя...“ Такъ этотъ любовный вопросъ и не распутывался пока. Кряжевъ любилъ Евгенію, но любилъ по-своему; для крестьянскаго дѣла, для міра онъ каждую минуту готовъ былъ оставить ее. Онъ и прежде зналъ, что будетъ любить ее именно такъ, а не иначе; потому-то онъ съ Евгешей и сходился неохотно и уступилъ лишь тогда, когда та почти повисла сама у него на шеѣ, истомившись неудовлетворенною страстью. Противиться Кряжевъ болѣе уже не могъ. И крѣпко, и горячо любились они, и чудесно проходили для нихъ зимніе вечера, когда Дмитрій отдыхалъ отъ трудовъ и непріятностей на груди своей милой.

— Митя! Вѣдь ты крѣпко любишь меня?—шептала дѣвушка, изо всей мочи обхватывая его шею своими обнаженными по локоть руками, прижимаясь все ближе и ближе къ нему и заглядывая ему въ глаза своими темными, огневыми очами.

— Какъ же мнѣ не любить тебя, голубка ты моя сизокрылая! — говорилъ Кряжевъ и этакъ-то нѣжно и любовно гладилъ ея мягкіе, черные волосыньки.

И видно было, что эти люди говорятъ правду, что они счастливы... И прекрасныя пѣсенки наигрывалъ въ ту пору Кряжевъ на своей любезной гармоникѣ. Слушая эти чудесныя пѣсенки, дѣвушка и смѣялась, и плакала...

— Наши закручьевскіе, Митя, на тебя больно серчаютъ!—говорила она ему разъ какъ-то еще на первыхъ порахъ, когда въ пылу юной страсти боязнь за любимаго человѣка стояла передъ нею на самомъ виду.—Ну, какъ они противъ тебя тоже что-нибудь замыслятъ недоброе... Ахъ, Митя! Не больно бы ты ихъ задѣвалъ! А то, право, покою мнѣ нѣтъ изъ-за этого... Все о тебѣ думаешь: а ну какъ что,—храни Богъ...

И дѣвушка грустно понурила свою головку.

— Не бойся! Обойдется...—успокоивалъ ее Кряжевъ, и черезъ минуту всѣ ея страхи исчезали безслѣдно, какъ темныя тучи съ яснаго неба...

Евгеша на первыхъ порахъ не спознала еще хорошо Митюхину душу и не раскусила, что онъ за человѣкъ? Вполнѣ-то она не спознала его и до послѣдняго своего часа. По временамъ Кряжевъ втолковывалъ ей про свои дѣла, про то, отчего онъ не можетъ ладить съ закручьевскими; но окунуться въ самую глубь его міра дѣвушкѣ не удавалось. Боязнь она уже научилась таить въ себѣ. Она поняла, что не совратить ей Кряжева съ его дорожки, не приклонить его на свои нѣжныя, сладкія рѣчи. „Ужъ не отступится ни за что! Упрямъ вотъ какъ!“ размышляла она иной разъ про себя и постукивала кулакомъ о лавку. И Евгенія уже не уговаривала Кряжева поберегаться, а, слушая его, лишь шептала: „Ну, дай Богъ! Хорошо бы, Митя, ежели бы этакъ-то“... Чѣмъ явственнѣе сказывалась въ ней такая перемѣна, тѣмъ шибче начиналъ любить ее Кряжевъ. „Умная у меня она! Не выдастъ... Да и нашимъ деревенскимъ не чета! Не размазня“... раздумывалъ о ней Митюха...

Теперь, ворочаясь на нарахъ, онъ думалъ: „тоскуетъ, поди, голубка“...

Вправду, Евгеша тосковала по немъ, тосковала еще больше оттого, что безъ него стряслись такія дѣла, что Кряжеву слѣдовало бы непремѣнно быть при нихъ самому... „И что это съ нимъ! Ушелъ на день... А вотъ ужъ третьи сутки на проходѣ“... раздумывала дѣвушка, чуть не плача. Ужъ не посадили-ли его куда-нибудь? Ея сердечко сильно билось, голова шла въ круги, и невольный страхъ обнималъ, когда она мысленно представляла себѣ: „сколько у Дмитрія можетъ набраться злыхъ недруговъ-супостатовъ“...

V.

Вся нѐчисть—въ ходъ.

Три дня слишкомъ Кряжевъ провелъ въ дорогѣ, трое сутокъ просидѣлъ подъ арестомъ—итого составилась недѣля. Въ эту недѣлю безъ него, дѣйствительно, на Смуринѣ произошли событія.

По уговору, на другой день по уходѣ Кряжева, Лисинъ запрегъ своего Рыжаго и отправился въ городъ. Тамъ отъ г-на Вальда онъ узналъ, что ихъ уставъ утвержденъ и полученъ уже въ управѣ, что губернское земство рѣшило ассигновать на устройство артели заимообразно 600 руб. сер. на извѣстныхъ условіяхъ. Въ тотъ же день Лисинъ получилъ и уставъ, возвратившійся изъ дальнихъ странствій, и условія ссуды, которыя должны быть прочитаны членами артели и—въ случаѣ одобренія ими—засвидѣтельствованы въ волостномъ правленіи. Затѣмъ ужъ могли быть получены и деньги, и артель открывалась. При этомъ г-нъ Вальдъ сказалъ Лисину:

— А вы, Илья Петровичъ, будете при

артели, какъ бы уполномоченнымъ отъ земства. Вамъ же, какъ гласному, это и кстати... Оффиціальнаго вамъ, конечно, ничего не дается, но вы будете только слѣдить, наблюдать за ходомъ дѣла, за употребленіемъ земскихъ денегъ, за тѣмъ, чтобы предпріятіе какъ-нибудь не уклонилось съ артельнаго начала... Дѣло новое... вы понимаете!

— Понимаемъ-съ! — подхватилъ Лисинъ, восхищенный чуть-ли не до седьмого неба вновь возлагаемымъ на него званіемъ „уполномоченнаго отъ земства".

— Нужно, чтобы условія точно выполнялись, ссуда уплачивалась бы въ опредѣленные сроки, — продолжалъ г-нъ Вальдъ!—Это покажетъ товарищество въ хорошемъ свѣтѣ, заслужитъ ему довѣріе. Разумѣется, вы должны блюсти и выгоды артели, не давать случая подкапываться подъ нее. Я и самъ буду пріѣзжать къ вамъ, когда время будетъ. Но я занятъ, а вы, между тѣмъ, постоянно дома. Вамъ не будетъ затруднительно...

— Помилуйте! Вы и такъ ужъ для насъ, Ѳедоръ Иванычъ, изволили похлопотать довольно! Право-съ...—льстивымъ голоскомъ проговорилъ Лисинъ. — Какъ же мнѣ-то не постараться? Дѣло-то, вѣдь, наше общее...

— Ну, конечно, если вы найдете что-нибудь такое... — перебилъ его г-нъ Вальдъ:—если вамъ нуженъ будетъ совѣтъ—вы обращайтесь прямо ко мнѣ, пишите или заходите, какъ будете въ городѣ. Я очень радъ. Ваша артель меня очень интересуетъ. Она возникла такъ сознательно, такъ самостоятельно...

И такъ, Лисинъ добился своего и притомъ самымъ дешевымъ способомъ. Благо, Кряжева нѣтъ благо, подвернулась эта недоимка. Лисинъ до послѣдней минуты все боялся, что пройдоха Кряжевъ ототретъ его отъ артели и помѣшаетъ ему стать къ ней въ болѣе интимныя отношенія. Теперь онъ будетъ состоять при артели „уполномоченнымъ отъ земства",— ну и кончено. Теперь Кряжеву ужъ ничего не подѣлать: теперь, значитъ, Илья Петровичъ Лисинъ всему голова и заправило! Лисинъ идетъ и ухмыляется. Ужъ такъ-то любо ему, и-и Боже ты мой! Онъ весело перемолвился съ знакомымъ лавочникомъ, съ ямщикомъ на дворѣ пошутилъ, а, придя въ комнату, пощекоталъ хозяйку — дворничиху. Да! Онъ теперь „уполномоченный отъ земства при смуринской артели"! И Лисинъ, противъ своего обыкновенія, покрякивалъ такъ, что хозяйскій чижикъ съ испугу метался по клѣткѣ, какъ угорѣлый.

Илья Петровичъ съ виду отсталъ отъ своихъ, отказавшись отъ тѣхъ обыкновенныхъ способовъ наживы, которые практиковались его собратьями — кулаками; но въ глубинѣ души онъ алкалъ добычи не меньше ихъ. Только онъ былъ похитрѣе многихъ и рѣшился отыскать для наживы новые, болѣе современные пути, видя, какъ смуринскіе кузнецы косятся на закручьевцевъ. И онъ нашелъ эти пути. Сначала онъ, было, думалъ забрать въ свои лапы общественную лавку, но ему не удалось это, благодаря ловкости Кряжева. Онъ присталъ затѣмъ къ ссудосберегательному товариществу, но и оттуда до сихъ поръ поживиться не могъ. Онъ составилъ себѣ только имя: кулаки теряли голову, раздумывая: „что за человѣкъ есть Лисинъ?" Смуринцы его расхваливали; Кряжевъ крѣпко пожималъ ему руку. Теперь наконецъ, сдѣлавшись „уполномоченнымъ", Лисинъ надѣялся положить прочное начало своему благополучію. Онъ уже видѣлъ артель въ своихъ рукахъ. Онъ видѣлъ, какъ всѣ артельныя дѣла проходятъ черезъ его руки, и ничто не минуетъ его. Онъ ѣздитъ по дѣламъ артели и въ свой губернскій городъ, и въ Москву, и въ Петербургъ, хлопочетъ, набиваетъ себѣ мошну; артель благодаритъ его; земская управа не нахвалится его расторопностью; кулаки губы грызутъ со злости,—чудесно!

Лисинъ сначала хотѣлъ, было, переночевать на постояломъ дворѣ, но раздумалъ и, поднявшись съ постели, живо одѣлся, рѣшившись ночью же ѣхать домой, чтобы, до возвращенія Кряжева, управиться съ дѣломъ. Ему пришлось проходить по общей комнатѣ, гдѣ на полу въ повалку спало десятка два мужчинъ и женщинъ. Иной весь закутался такъ, что съ перваго взгляда нельзя было и отличить: человѣкъ-ли лежитъ тутъ или груда грязнаго тряпья навалена. Иные же спали, раскидавшись, полуобнаженные... Рты были раскрыты, и лица большею частью обращены къ потолку... какія лица! Лисинъ съ брезгливостью глянулъ на грязныя и костлявыя руки и ноги, торчавшія изъ-подъ тряпья, на обезображенныя, впалыя, женскія груди,—и прошепталъ:

— Ишь, сволочь распутная!.. Валяются!..

Въ отсутствіе Кряжева, Лисину удалось обдѣлать свое дѣльце—залѣсть въ артель; но за отсутствіемъ Кряжева ему пришлось вынести на своей шкурѣ и много непріят-

ностей за мнимое отступничество отъ собратьевъ-закручьевцевъ. Путь, по которому шелъ Лисинъ, былъ очень простъ, но простотой-то своей онъ и сбивалъ съ толку слишкомъ проницательныхъ кулаковъ.

По пріѣздѣ Лисина изъ города, слухъ объ утвержденіи артели, разнесшись по Смурину словно на крыльяхъ вѣтра, живо проникъ и на закручьевскую сторону. На другой день Лисинъ собралъ крестьянъ, прочелъ имъ условія займа и, когда тѣ порѣшили утвердить ихъ безъ всякихъ оговорокъ, отправился для явки ихъ въ волостное правленіе. Туда же, вслѣдъ за нимъ, какъ бы ненарокомъ, ввалился долговязый Антошка Кудряшевъ, немного подвыпившій на тотъ разъ.

— А, земство!—зарычалъ Кудряшевъ, увидавъ Лисина съ бумагой.—Для коего чорта пожаловалъ? Съ артелью, небось, а? Ахъ вы, прости Господи... Народъ только мутите... Взять бы да метлой васъ съ Митькой отседова... Вотъ что!

— Семенъ Васильичъ! Уймите!—сдержанно обратился Лисинъ къ старшинѣ, слегка закусывая нижнюю губу и повертываясь къ Кудряшеву спиной.—Здѣсь, вѣдь, не питейный... озорничать не слѣдъ..

— Уймит-е-е? Кто меня унять можетъ, а?—оралъ Кудряшевъ въ то время, какъ старшина, словно бы не дослышавъ Лисина, повертывался и, пожимая плечами, съ тихимъ смѣхомъ выходилъ въ сосѣднюю комнату.—Васъ, бунтовщиковъ, унимать надоть, а не меня... Помеломъ васъ... Антихристовы прислужники! — Не отъ *него,* скажешь, деньги-то у васъ, а?—Отъ земства? Подставляй карманъ шире... Какъ же! Дало земство деньги этакимъ голоштанникамъ... ха!..

Антошка не давалъ Лисину и рта разинуть, а драться тотъ былъ не расположенъ. Илья Петровичъ, закраснѣвшись слегка и нахлобучивъ на глаза шапку, вышелъ изъ правленія, а вслѣдъ ему еще долго такъ и сыпались самыя отборныя, крѣпчайшія слова.

Вечеромъ Лисинъ опять зашелъ въ правленіе къ старшинѣ и требовалъ засвидѣтельствовать условіе. Семенъ Васильевъ вдоволь повертѣлъ въ рукахъ бумагу и объявилъ наотрѣзъ, что свидѣтельствовать это условіе онъ не можетъ.

— Надобно, Илья Петровичъ, чтобы этому дѣлу вашему самъ посредникъ разделюцію положилъ!—говорилъ старшина.— А безъ этого никакъ нельзя... Вы ужъ похло почите!..

— Какую же еще разделюцію надобно? съ глубокомысленнымъ видомъ замѣтилъ Лисинъ, важно поводя носомъ.—Коли ужъ всѣ министры, и само правительство... Что жъ посредникъ-то еще?...

— Такъ-то, такъ...—согласился старшина.—Да, вѣдь, каждая спица съ колесомъ заразъ вертится... потому установлено!

Ужъ уламывалъ-уламывалъ его Лисинъ, но ничто не помогло:—не могъ онъ столковать со старшиной.

— Повѣрьте Богу—ну, не могу! Хлопочите у посредника...

Уперся человѣкъ на одномъ, да и шабашъ.

А закручьевцы запѣвали ему въ уши на всѣ лады: „Ты то̀ подумай... Коли эта артель заведется, кузнецы и у тебя не будутъ больше желѣза брать и гвоздь не понесутъ тебѣ. Всѣмъ убытокъ... Да ужъ тогда что! Смута большая пойдетъ... Коли артель заведется,—цѣлуй у кузницы пробой и иди домой! Не попущай, Семенъ Васильевъ! Потому, много всякаго соблазну отъ этой артели будетъ!..“

Дня черезъ три, Лисинъ рѣшился опять ѣхать въ городъ и просить помощи и совѣта у Ѳедора Ивановича въ этихъ грустныхъ обстоятельствахъ. Запрегъ онъ опять своего Рыжаго и потрусилъ по дорогѣ къ Черешинскому. Кряжевъ на ту пору уже возвращался домой и шелъ перелѣскомъ, верстахъ въ семи отъ Смурина.

— Илья Петровичъ! Куда это?—окликнулъ онъ изъ-за кустовъ непримѣтившаго его Лисина.

— А-а! М-м...—замычалъ отъ неожиданности Лисинъ, останавливая Рыжаго, пока Кряжевъ перескакивалъ черезъ канавку и подходилъ къ его санямъ.

— Ну, что у насъ тамъ? Нѣтъ-ли чего новаго?—спросилъ Кряжевъ.

— Какъ не быть! Новаго много...—И тутъ Лисинъ передалъ Митюхѣ—не безъ запинокъ—все случившееся за послѣдніе дни.

Кряжевъ слушалъ и, молча, поглядывалъ на Лисина. „Ахъ, чортъ бы его... Кабы онъ того—не обошелъ насъ!“—говорили его взгляды.

Лисинъ поѣхалъ далѣе; Кряжевъ пошелъ своей дорогой и скоро пришелъ на Смурино. Радъ былъ ему Назарычъ, рада была Евгеша. Служивый живо притащилъ изъ кабака полштофъ водки и увѣрялъ своего сожителя „Христомъ Богомъ“, что онъ шибко зазябъ, что ему непремѣнно надо съ дороги „пропустить огонька жиденькаго“. По вечеру, какъ смерклось, забѣжала къ нимъ Евгеша и въ первый разъ при Назарычѣ обняла Кряжева и

вся, раскраснѣвшаяся и взволнованная, припала къ нему на грудь. Назарычъ при такой оказіи пуще захлопоталъ около стакашка и заморгалъ своими подслѣповатыми, сѣрыми глазками. Разсказывая Кряжеву про свое бытье-житье, дѣвушка коснулась и писаря.

— Надоѣлъ онъ мнѣ—страсть какъ!—замѣтила она.

— Ну его—къ лѣшему! Не до него теперь,—отозвался Кряжевъ.

Отъ Евгеши же узналъ Кряжевъ, что въ Закручьи ходитъ слухъ, будто посредникъ на счетъ артели старшинѣ наказалъ такъ: „Препятствовать не препятствуйте да и не пособляйте! Пускай сами, какъ знаютъ, такъ и дѣлаютъ“.

На другой день, вмѣстѣ съ Лисинымъ, на Смурино пожаловалъ и г-нъ Вальдъ. Старшина на его зовъ не пошелъ, отговариваясь недосугомъ. Тогда Ѳедоръ Ивановичъ отправился къ нему самъ и засталъ его у входа въ кузницу. Ѳедоръ Ивановичъ объяснилъ ему, что старшина обязанъ для общественнаго дѣла свое дѣло оставлять, что на то онъ и старшина, за то онъ и жалованье отъ міра получаетъ. Затѣмъ, онъ доказалъ Семену Васильевичу, что его прямая обязанность засвидѣтельствовать условіе, что не выполняя своей обязанности, онъ идетъ противъ закона. Старшина уступилъ и исполнилъ требованіе.

Вскорѣ были получены черезъ управу деньги, и закуплено первое желѣзо въ городскихъ складахъ.

Тогда закручьевцы, видя, что ужъ ничего не беретъ, только спали и видѣли, какъ бы потревожить и осмѣять артель, а если можно—такъ и подорвать ее. Первымъ дѣломъ, разумѣется, въ Закручьи было заявлено вслухъ, что артельное желѣзо никуда не годится, а гвозди прахомъ пойдутъ. Не мало также доставалось и Лисину съ Кряжевымъ.

Напримѣръ, Лисинъ однажды проходитъ мимо кучки закручьевцевъ, а красногоркинскій учитель вдругъ и кричитъ ему:

— Илья Петровичъ! А, Илья Петровичъ!

— Что вамъ нужно? — оборачиваясь, откликается ему Лисинъ.

— Не купите-ли у меня желѣза? Для артели-то бы вамъ годилось! — кричитъ пьянчуга.

Прямая насмѣшка, потому что у красногоркинскаго учителя за душой ничего нѣтъ а желѣза—развѣ что гвозди въ сапогахъ. Такъ ему Лисинъ и заявилъ.

— Полно вамъ срамиться-то! Еще учитель... образованный человѣкъ называетесь!—укоризненно замѣтилъ ему Лисинъ. —Къ дяденькѣ-то изъ бурсы въ одной, почитай, рубашонкѣ прибѣжали... Откудова же еще вамъ желѣзо продавать!..

Кулаки хохотали навзрыдъ и отплевывались въ ту сторону, гдѣ стоялъ Лисинъ.

— Удруж-и-илъ, удруж-и-илъ! Аха-ха-ха!—горланили они. — Ишь ожгло его!.. Аха-ха-ха!

И дня не проходило на Смуринѣ безъ того, чтобы у кого-нибудь изъ закручьевцевъ не вышло со смуринцами руготни.

— Вотъ оно, послѣднее-то времячко, знать, подошло!—галдѣли бабы.

VI.

На масляной.

Масляница была въ полномъ разгарѣ. Смурино шумѣло.

На дворѣ стояла оттепель: съ кровель капало, снѣгъ потемнѣлъ, мѣстами, въ ухабахъ видны были лужи; сѣренькія облака застилали небо. По всей улицѣ и по закоулкамъ бродилъ народъ: густыя толпы стояли у кабаковъ. Середи главной улицы, у колодца, собралась кучка человѣкъ въ пятьдесятъ около Дмитрія Кряжева. Крестьяне калякали, что Кудряшевъ Антонъ новый винный складъ на Ведровѣ открываетъ, что Кузьма Ивановичъ, слышно, обмахнулся на пшеницѣ, что скоро, надо быть, придется везти въ Москву артельный гвоздь, что не знать, кого послать съ нимъ попроворнѣе да повѣрнѣе... Вдругъ съ закручьевской стороны послышался колокольчикъ, раздалось бренчанье бубенцовъ, и по мосту съ гиканьемъ и уханьемъ пронеслась тройка вороныхъ и поскакала по смуринской улицѣ. Высокій коренникъ несся крупною рысью, не сбиваясь и гордо закинувъ голову; пристяжныя храпѣли, гнули кольцомъ свои красивыя шеи, чуть не касаясь земли черною, волнистою гривой, и неслись во весь духъ. Сбруя такъ и горѣла блестящими мѣдными бляхами, а концы алыхъ лентъ, вплетенныхъ въ челки и гривы, раздувались по вѣтру. Въ большихъ, красиво расписанныхъ саняхъ, съ богатымъ ковромъ, низко спущеннымъ сзади—развалились два городскіе купчика и сынокъ Безпалаго. Почтенные торговцы были пьянымъ-пьяно и, заломивъ на бекрень свои черныя мерлушечьи шапочки, выкрикивали какую-то безтолковую пѣсню, ухали и свистали. Молодой Кудряшевъ, стоя впереди, правымъ

тройкой. Онъ тоже былъ пьянъ и сильно покачивался. Тулупъ его распахнулся, и подъ нимъ виднѣлся черный казакинъ, крѣпко перетянутый по таліи широкимъ кожанымъ кушакомъ съ серебряными украшеніями.

— Эхъ вы, голубчики! Эхъ вы, соколики! Несите, уносите! О-о-ахъ!—дико гагайкалъ Кудряшевъ, прихлестывая вожжами по всѣмъ по тремъ.

Онъ закинулъ назадъ голову и, пошатываясь, поводилъ безсмысленно по сторонамъ своими пьяными, мутными глазами. На бродившій по улицѣ народъ Кудряшевъ, видимо, обращалъ менѣе всего вниманія: для него въ ту пору, кромѣ его и его вороныхъ, казалось, ничего не существовало во всемъ мірѣ. Бабы съ крикомъ сторонились съ дороги, стаскивая за собой ребятъ. Тройка неслась неудержимо-быстро и, какъ на смѣхъ, по самымъ людным мѣстамъ. Звеня, бренча и бросая комьями сырого снѣга, тройка пронеслась мимо колодца. Нѣсколько голосовъ закричало ей вслѣдъ: „легше, легше!“ Напрасно, уже поздно... Два мужика были сбиты съ ногъ, да чуть не раздавлена до смерти одна старушенка. Наконецъ тройка уже выскакивала за околицу, какъ вдругъ впереди словно изъ земли выросъ Аггушка. Онъ тихо шелъ краемъ дороги съ тяжелымъ стягомъ въ рукахъ, какъ бы готовясь поднять его и опустить на что-то съ размаху.

— Держи правѣй!—зычнымъ голосомъ крикнулъ Аггушка.

Кудряшевъ словно ничего не видалъ и не слыхалъ, все летѣлъ и летѣлъ впередъ и, какъ нарочно, прямо на Аггушку. Уже какъ-то одинъ изъ купчиковъ ухитрился ухватиться за правую вожжу и тройка почти передъ самымъ аггушкинымъ носомъ круто повернула въ сторону, но тяжелая дубина уже сорвалась и въ тотъ же моментъ сильно треснула по санямъ. Сани полетѣли на бокъ. Всѣ въ нихъ сидѣвшіе, кромѣ Кудряшева, вывалились въ снѣгъ. Тотъ, насилу сладивъ съ лошадьми, повернулъ тройку назадъ и подкатилъ къ оставленнымъ товарищамъ.

Впрочемъ, все обошлось довольно благополучно: только сынъ Безпалаго колѣно зашибъ, да одинъ изъ купчиковъ носъ себѣ закровянилъ.

— Сшалѣли съ жиру-то, видно!—ворчалъ Аггушка въ отвѣтъ на ругань и угрозы купчиковъ.

А купчики той порой повалились, какъ попало, въ сани, и тройка опять понеслась по смуринской улицѣ, бренча и звеня и наводя ужасъ на всѣхъ крещеныхъ.

— Ни суда, ни расправы нѣту на этихъ...—молвилъ Кряжевъ, когда тройка обратно проносилась мимо колодца, по направленію къ закручьевскому мосту. Охо-хо!..

— Э-эй! Сторонись, грязь!—далеко уже покрикивалъ Кудряшевъ.

— Навозъ плыветъ!—отозвался откуда-то насмѣшливый голосокъ.

У колодца, между тѣмъ, рѣчь зашла о таинственной недоимкѣ.

— Отступаться, братцы, не приходится...—говорилъ Кряжевъ, сидя на краю колоды.—Ужъ я схожу въ губернскій, поглядимъ ужо... А оставлять такъ не можно!

Красногоркинскій учитель, замѣшавшійся въ толпу, толкнулъ въ ту минуту локтемъ чирковскаго приказчика и шепнулъ: „слыхалъ, какъ у насъ?..“ Тотъ, молча, кивнулъ головой.

— Это я, братцы, къ тому говорю,—продолжалъ Кряжевъ,—что міру самому надоть о своемъ дѣлѣ порадѣть. На-ко! Ни становой, ни посредникъ и знать не хотятъ про наши дѣла мужицкія... Коли нонече, знашто, такъ все пошло у насъ...

Учитель опять толконулъ приказчика локтемъ въ бокъ, а тотъ опять, молча, кивнулъ ему головой.

— Погоди! Дай время! Онъ еще не такъ расходится, не того еще нагородитъ...—шепнулъ на ухо приказчику учитель, немного погодя.

— Вы что тамъ, Семенъ Васильичъ... Придвигайтесь!—обратился къ учителю Кряжевъ.

— Нѣтъ, мы вотъ съ ними по деревнѣ маленько прогуляться пошли!—отозвался учитель, кивая головой на приказчика.

И они отправились далѣе по улицѣ.

— А ты, Митюха, помалкивалъ бы про иной разъ,—заплетающимся языкомъ бормоталъ Ѳедька Горѣлый, наклоняясь немного къ Кряжеву и пошатываясь.—Потому не ровенъ часъ... Всякаго тутъ гаду у насъ шатается довольно. Время нонѣ праздничное... Вонъ хошь тѣ... Чего они вездѣ носъ свой тычатъ?.. и Горѣлый махнулъ рукой на два удалявшіяся драповыя пальто.

— Что жъ! Мы не что такое говоримъ, славу Богу... не противъ закона. Это мы, значитъ, о своихъ нуждахъ... Толковать не воспрещено...—съ жаромъ вступился Лисинъ, самонадѣянно оглядывая толпу

и какъ бы желая, чтобы Кряжевъ продолжалъ свою рѣчь.

Но Кряжевъ замолкъ, спустилъ съ колоды ноги и потянулся.

— Никакъ и по домамъ пора! Смеркается...—проговорилъ онъ и, тихо вышедъ изъ круга, побрелъ домой.

А приказчикъ съ учителемъ зашли къ Евграфу Евстигнеевичу и зачали у него чаевать, да попивать водочку и закусывать семужкой.

— Такъ вотъ этакимъ-то манеромъ, Евграфъ Евстигнеичъ,—продолжалъ, очевидно давно уже начатый разговоръ учитель.—Не будемъ, говоритъ, податей платить, да и шабашъ! Потому, говоритъ, собираютъ не по закону...

— Не ладно, что вы меня не гаркнули!—замѣтилъ писарь, наливая гостямъ и себѣ по большой рюмкѣ.—Хоть бы однимъ ушкомъ послушать его умныхъ рѣчей... Ну, да и такъ обойдемся!—При этомъ писарь, загнувъ голову, опрокинулъ рюмку въ ротъ; гости послѣдовали его примѣру тотчасъ же.

— Скажу Кузьмѣ Ивановичу!—заговорилъ приказчикъ, поддѣвая кусочекъ семги.—Онъ и то къ мировому собирается...

— Нѣтъ, ты постой! Ты этого не дѣлай! Торопиться некуда!—остановилъ его писарь.—Я ужъ скажу, какъ будетъ время... Мы ужъ приберемъ его къ рукамъ, голубчика. А мировой что? Мировой только шуму попусту надѣлаетъ! Тутъ, господа, надо дѣйствовать тонко-тонко... Птицу до времени пугать не слѣдъ.—Писарь при этомъ прищурился и выразительно потрясъ въ воздухѣ рукой, какъ бы желая показать, какъ тонко надо дѣйствовать.—Это дѣло-то чѣмъ пахнетъ, вы какъ, молодцы, думаете?—продолжалъ писарь, многозначительно посматривая на своихъ собесѣдниковъ и понижая голосъ.—Владимiркой пахнетъ! Вотъ чѣмъ!..

— А хозяину я все-таки скажу!—промолвилъ приказчикъ.

— Скажи! Только скажи, чтобы онъ до поры, до времени держалъ языкъ за зубами! — подсказалъ Евграфъ Евстигнеевичъ.

— Не испортить надо!—замѣтилъ и учитель, подбираясь къ семгѣ.

— То-то я и говорю!—подхватилъ писарь.—Ужъ вы только знай себѣ помалкивайте, ужъ положитесь на меня!

Такъ на томъ и согласились.

VII.

Тѣ же, кромѣ Кряжева.

На средокрестной недѣлѣ Кряжевъ сталъ собираться въ губернскiй городъ.

— Ахъ, Митя, ей Богу... сердце у меня все изныло!—наканунѣ его ухода говорила ему Евгенiя, сидя у него въ хаткѣ.—Все о тебѣ... Какъ ты пойдешь туда... Скажешь опять тамъ что-нибудь такое, ввяжешься и пропадешь совсѣмъ, а безъ тебя и я пропаду. Ужъ я это знаю, чуетъ мое сердечушко! И въ тотъ разъ пошелъ, хотя и недалеко, а меня такая-то тоска взяла, что хоть въ воду, такъ въ пору... Митя! *Не скрыть мнѣ будетъ* отъ своихъ домашнихъ!

И дѣвушка, прикрывъ рукой свое пылавшее лицо, склонилась къ нему на плечо головой.

— Ну, полно! Чего еще вздумаешь?—ободрялъ ее Кряжевъ, гладя ее по шелковистымъ волосамъ своею мозолистою, широкою рукой.—Погоди, все обойдется... Схожу, разузнаю ужо, какъ намъ съ этой недоимкой быть... Скоро, надо быть, и барыня воротится... Какъ только что,—и бѣжи къ ней! Она въ обиду тебя не дастъ,—ужъ это вѣрно...

— Да не обо мнѣ рѣчь... О тебѣ я больше...—перебила его дѣвушка.—Вонъ и вчерась у насъ писарь сидѣлъ и все о чемъ-то съ дяденькой говорилъ... Въ избу-то намъ не приказали ходить, такъ я все за дверью стояла, да слушала. Часто тебя поминали, только никакъ я толкомъ не вслушалась. Только слышала, писарь, какъ домой собирался, сказалъ дяденькѣ: „А ужъ вы, Григорiй Иванычъ, никому—ни-ни!“ И дяденька шопоткомъ тоже ему: „ни-ни!“ говоритъ... Вотъ мнѣ всю-то ноченьку и чудилось, что это они противъ тебя... Для чего бы шептаться, да въ избу бабъ не пускать!.. Видно, на умѣ у нихъ нехорошее: боятся, знать, что-ли!..

— Потягаемся! Кто перетянетъ, бабушка-то на-двое сказала!—съ увѣренностью замѣтилъ Кряжевъ.—Это все ихъ артель наша мутитъ, спокою, вишь, имъ не даетъ... Вотъ они и копошатся „шу-шу“, да „шу-шу“... Да и у насъ-то, кажись, сила теперь немалая... Разгуляться-то имъ шибко не на что...

— Вѣдь, ихъ, Митя, много!—замѣтила дѣвушка.

— Насъ—больше! — рѣшительно промолвилъ Кряжевъ.

Затѣмъ, когда онъ сталъ прощаться съ

Евгеніей, и дѣвушка горько заплакала надъ нимъ и крѣпко-крѣпко обвилась руками кругомъ его шеи, Назарычъ, лежавшій на печи у стѣны и не подававшій до тѣхъ поръ признака жизни, вдругъ заворочался, словно бы его ожгло или укусилъ кто-нибудь: старый служивый услыхалъ жалобныя слова дѣвушки, ея тихія, сдержанныя всхлипыванья, дрожащій голосъ Кряжева,—и не выдержалъ...

— Ты по мнѣ, ровно, какъ по покойникѣ, надрываешься! Вѣдь, не послѣдній разъ видимся...—силясь улыбнуться, проговорилъ Кряжевъ, отводя отъ себя руки дѣвушки и съ трудомъ освобождаясь изъ ея крѣпкихъ объятій.

Евгенія ушла. Кряжевъ съ крыльца посмотрѣлъ ей вслѣдъ, какъ она спустилась съ берега, перебѣжала по льду, поднялась въ Закручье и скрылась въ ворота дядина дома. А Кряжевъ все еще стоялъ, облокотившись о верею, и все смотрѣлъ на рѣчку, на то самое мѣсто, по которому бѣжала дѣвушка. Ночной холодокъ сталъ прохватывать его; онъ слегка вздрогнулъ, одернулъ одежонку и пошелъ спать. А глаза его все еще смотрѣли какъ-то странно; какъ будто бы ждали какого-то рѣшительнаго отвѣта и въ то же время боялись его...

Сѣмянъ овса на посѣвъ у смуринцевъ не осталось ни зерна къ веснѣ, и не предвидѣлось никакой возможности заполучить его ни откуда, кромѣ кулаковъ. Вотъ Кряжевъ и совѣтовалъ Лисину отъ лица всѣхъ смуринцевъ обратиться заблаговременно съ просьбой къ земству о выдачѣ въ ссуду денегъ или сѣмянъ.

— Ежели вы, Илья Петровичъ, похлопочете у Вальда,—говорилъ онъ: — такъ это дѣло выгоритъ безпремѣнно. Потому артели земство скорѣе дастъ вѣру, нежели одному, либо двумъ мужикамъ.

Лисинъ былъ вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что „они съ Вальдомъ уломать это дѣло могутъ...“

— Только, вѣдь, вотъ притча! — подумавъ и почесавъ затылокъ, замѣтилъ Лисинъ, изображая на своемъ лицѣ какое-то болѣзненное недоумѣніе. — Въ Москву, вѣдь, съ гвоздемъ меня посылаютъ... Какъ тутъ быть? Не разорваться стать!.. Вы бы ужъ о сѣменахъ похлопотали... А то, вѣдь, просто, анекдотъ да и полно!

— Ну, чего „анекдотъ“! — возразилъ Кряжевъ.—Всякому свое дѣло... Я, значитъ, по недоимкѣ... Вы насчетъ сѣмянъ... А въ Москву-то можно и другого отправить. Я ужъ говорилъ имъ! Кузьмичевъ берется.

— Браться-то онъ берется, да что толку-то изъ того?—надувъ губы, съ озабоченнымъ видомъ заговорилъ Лисинъ.— Человѣкъ онъ темный, небывалый, и въ Москвѣ-то запутается совсѣмъ! Что онъ тамъ подѣлаетъ? Будетъ ровно въ лѣсу ходить! Купцы извѣстно что за народецъ... Маху не дадутъ!. Имъ бы только облупить нашего брата... Нѣтъ! Митрій Михайлычъ! При этакомъ дѣлѣ знакомство имѣть надо...

— Такъ-то такъ, Илья Петровичъ! Вѣрно вы говорите...—замѣтилъ Кряжевъ.— Да вотъ насчетъ овса-то, окромя васъ, похлопотать некому будетъ... А ужъ я этой недоимки не оставлю, зачалъ ужъ путать, такъ распутаю. А съ желѣзомъ и Кузьмичевъ сладитъ... Пробоистый парнюга... Разиня ротъ, тоже не ходитъ...

— Да это что... а безъ знакомства никакъ нельзя...—упорствовалъ Лисинъ. — Того гляди, и съ гвоздемъ пропадешь...

Кряжевъ въ тѣ минуты видѣлъ почтеннаго Илью Петровича насквозь. Онъ видѣлъ, что Лисину больно охота поѣхать въ Москву съ артельнымъ гвоздемъ. А для чего бы ему надо было поѣхать туда? Кряжевъ тоже очень хорошо зналъ и это. Лапу нагрѣть около артельнаго гвоздя охота была Лисину. Вотъ Кряжеву и думалось убить заразъ двухъ зайцевъ: не допустить Лисина до артельнаго гвоздя и направить его вліяніе на раздобываніе сѣмянъ.

— Не сумлѣвайся, Илья Петровичъ! Кузьмичевъ справится...—на всѣ его доводы повторялъ Кряжевъ.

И Кряжевъ успѣлъ: артель рѣшила послать Кузьмичева въ Москву продавать гвоздь... Въ самый же день ухода, Кряжевъ видѣлся съ Лисинымъ и просилъ его съѣздить въ Черешинскъ заблаговременно.

— Вѣдь тамъ у нихъ сколько времени еще провожжаются, гляди... Пойдутъ переписки да отписки... Не скоро у нихъ толку добьешся! говорилъ Кряжевъ.

— Ладно! Съѣзжу! За общество похлопотать я никогда не прочь законнымъ манеромъ! — нѣсколько сухо отозвался Лисинъ и сухо разстался съ Дмитріемъ Кряжевымъ.

— А ты, воевода, смотри! — говорилъ Кряжевъ на прощанье Назарычу. — Побереги Евгеньку-то... Самъ знаешь, ежели тамъ что...

Забросилъ Кряжевъ на спину свои дорожныя хотули, взялъ посохъ, уже видавшій виды, и пошелъ по дорогѣ къ городу. Снѣгъ на ту пору начиналъ уже таять и проваливался подъ ногою. Весной припахивало въ воздухѣ. На вербахъ уже по-

казывались почки. Какъ-то, говорятъ, по утру уже слыхали жаворонка. Бодро шелъ Кряжевъ впередъ своимъ обыкновеннымъ, твердымъ, увѣреннымъ шагомъ. Онъ не оглядывался назадъ, а все въ даль смотрѣлъ, какъ человѣкъ, уже сведшій съ прошлымъ счеты. Долго вслѣдъ ему смотрѣлъ Назарычъ; долго смотрѣла на него и Евгеша изъ-за околицы, съ Закручья. Вотъ ужъ онъ только темнымъ пятномъ рисуется въ сѣрой, бѣлесоватой дали, вотъ и пятно наконецъ скрывается. Назарычъ привздохнулъ и побрелъ въ кабакъ „съ горя", что онъ опять одинъ одинешенекъ остался въ пустой хаткѣ коротать скучную пору. А Евгенія горько и долго плакала, склонившись разгоряченною головой на холодную, сухую жердь изгороди и падали ея теплыя слезы на гнилую жердь, текли по лицу и по рукамъ.

Евгешѣ все что-то неможется: сердце ноетъ, во всемъ тѣлѣ ломота, тяжесть, головушка болитъ, болитъ... Э-эхъ, не въ добрый часъ въ тотъ зимній вечеръ загасла лучина въ Митюхиной хатѣ! Постылая жизнь безъ милаго! А тутъ еще, того гляди, ребенокъ... И зачѣмъ, для чего онъ на свѣтъ родится? Не на горе-ли себѣ, не на горе-ли ей—не на бѣду-ли имъ обоимъ? Не въ томъ дѣло, что Дмитрій не женится, а въ томъ ея думушка, ея тоска завсегдашняя, что вороговъ у милаго много и скалятъ они на него свои зубы, какъ волки жадные, голодные... Чу! Ровно какъ гдѣ-то ножъ точатъ...—Евгеша прислушивается; она такъ возбуждена. Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ гдѣ-нибудь на деревнѣ въ ту минуту точили ножъ, и звукъ доносился до нея по зарѣ, а то, можетъ быть, ей и просто почудилось... А ей, встревоженной, напуганной, такъ и кажется, что точатъ ножъ не про кого другого, какъ про ея милаго. И точатъ, точатъ гдѣ-то ножъ, желѣзо такъ и зыкаетъ по точилу: непріятное зыканье отдается въ ушахъ Евгеши... Дѣвушка даже вздрогнула съ испугу и бросилась домой, а, прибѣжавши, сказалась больною, забилась на печь да такъ, не ѣвши, не пивши, всю ночь и пролежала на горячей печи. Ознобъ ее билъ, зубы стучали, въ вискахъ ровно молоткомъ колотило, и въ жаръ и въ холодъ ее бросало, и слышалось ей все, что точатъ ножъ, и передъ глазами у нея то и дѣло блестѣли большіе, широкіе, острые ножи и, блескъ ихъ страшно и нестерпимо больно рѣзалъ ей глаза. Евгеша бредила, и благо еще, что никто не подслушивалъ за ней, а то тайна ея, пожалуй, открылась бы прежде времени, въ тотъ же вечеръ. Въ бреду много разъ поминала она Митю и Назарыча, звала ихъ и просила играть на гармоникѣ и все спрашивала: „для кого точатъ эти большіе, страшные ножи?.."

Съ Евгешей приключилась лихорадка. Прокудиха спрыснула дѣвушку съ уголька, хотѣла, было, сводить ее въ баню и попросила одну старуху „выпарить хорошенечко Евгеньку", но племянница наотрѣзъ отказалась отъ бани и отъ парки, сказавъ, что не можетъ итти и не пойдетъ ни за что. Черезъ недѣлю впрочемъ ей полегчало, хотя и послѣ того она еле-еле перемогалась и все норовила забраться на печь или на постель.

Назарычъ за это время также скучалъ не мало и изъ кабака возвращался поздно. Захаживалъ, правда, изрѣдка къ нему Аггушка, да только этотъ собесѣдникъ не много приносилъ ему веселья. Старикъ былъ радъ-радешенекъ, когда Евгеша поправившись отъ своей болѣзни, стала опять забѣгать къ нему въ хатку, какъ бывало при Митюхѣ. То она повѣдаетъ ему изъ своего житья-бытья какую-нибудь непріятность или смѣшную исторію. То, бывало, служивый примется потряхивать своими воспоминаніями о военныхъ подвигахъ, о дальнихъ и трудныхъ походахъ и о стоянкахъ въ болотѣ по колѣна въ студеной водѣ. О послѣднемъ обстоятельствѣ служивый, обыкновенно, пуще всего распространялся: изъ-за этихъ стоянокъ одно время онъ совсѣмъ безъ ногъ былъ, да и теперь иной разъ ноженьки у него такъ ломить начнетъ, такъ заноютъ, что просто „хошь караулъ кричи!" Очень ужъ солоно достались ему эти стоянки, и онъ говорилъ о нихъ съ такимъ жаромъ, съ какимъ не разсказывалъ даже о самыхъ страшныхъ сраженіяхъ въ Крымскую войну. Всего чаще рѣчь заходила о Кряжевѣ, о которомъ не было ни слуху, ни духу... Пятая недѣля великаго поста подходила къ концу... Гдѣ-то онъ, какъ и что съ нимъ? Добрался-ли онъ до города? Здоровъ-ли? Удастся-ли ему что нибудь сдѣлать тамъ? Вотъ вопросы, на которыхъ чаще всего вертѣлись разговоры между дѣвушкой и старымъ солдатомъ.

— А изъ лица-то ты, какъ ровно бы, поисхудала!—говорилъ ей Назарычъ.—Это дѣвка, не дѣло... Не годится такъ-то... Митрій-то Михайлычъ мнѣ за тебя что сдѣлаетъ?

— Да какъ же, Ларіонъ Назарычъ!—

шимъ секретомъ. Заговорщики такъ боялись Кряжева, что думали про себя: „только узнай онъ, и все живо размечетъ и насъ еще въ грязь втопчетъ“... Имъ, безъ всякой борьбы, просто хотѣлось накрыть его, какъ звѣря, — вдругъ, неожиданно. Разсказъ былъ коротокъ и ясенъ; Евгеша узнала изъ него все, что ей было надо. Въ заключеніе, писарь просилъ Евгешу никому не разглашать объ „этомъ дѣлѣ“. А та, задумчивая, попрежнему, блѣдная, неподвижно сидѣла на стулѣ, сложивъ на колѣняхъ руки. Она обѣщала писарю молчать. Ради Кряжева она и пуще грѣхъ взяла бы на душу, не только что ложь... Съ минуту она думала: давать-ли писарю обѣщанный поцѣлуй?— и пришла къ тому заключенію, что это рыло можетъ еще пригодиться.

Дѣвушка быстро поднялась съ мѣста, слегка коснулась устъ Евграфа Евстигнеевича своими пунцовыми губами и почти бѣгомъ выбѣжала изъ избы. На повитяхъ натолкнулась она на Прокудиху, но та не обругала ее на этотъ разъ: писарь былъ для Евгеньки женихъ видный и Прокудовымъ на руку... Только тутъ, замѣтивъ склонившееся къ нему на единое мгновенье блѣдное лицо и лихорадочнымъ огнемъ горѣвшій взглядъ черныхъ Евгешиныхъ глазъ, писарь подумалъ: не обмахнулся-ли онъ? не слишкомъ-ли далеко хватилъ? Распаленный неудовлетворенною страстью и не совсѣмъ довольный собой, возвратился домой въ тотъ вечеръ Евграфъ Евстигнеевичъ. „А ну какъ она сдуру-то возьметъ, да булькнетъ кому-нибудь на деревнѣ: у бабъ языкъ-то дологъ... Оборони Богъ... — раздумывалъ онъ.—Вотъ такъ удружилъ, Евграфъ!.. Самъ, значитъ, своими руками... Этакъ-то... Ловко! Хорошо! Вотъ такъ хорошо! Въ отдѣлку!“... Изъ поздняго раскаянія, какъ извѣстно, путнаго никогда ничего не выходило. Открыться Евграфъ Евстигнеевичъ никому не могъ. Какъ тутъ скажешь, что дѣвка баловствомъ выманила у него этакій секретъ? — Засмѣютъ, загрызутъ. Тотъ же Кузьма Ивановичъ проходу не дастъ... И пришлось писарю на одномъ себѣ выносить тяжелую пытку догадокъ, подозрѣній и страха.

IX.

Два рукобитья.

Евгенію занимало артельное дѣло и все, что занимало и касалось Дмитрія Кряжева. Она прислушивалась ко всему, что говорилось у нихъ въ домѣ и на деревнѣ про артель и про Митюху. Она ужъ знала, что у Мити много недруговъ и явныхъ, и подколодныхъ. Она ужъ знала, что недруги не откажутся насолить Кряжеву какимъ бы то ни было способомъ, что они только таятся въ ожиданіи часа, какъ имъ можно будетъ излить свой ядъ на ненавистнаго имъ человѣка. Евгеша смотрѣла въ оба кругомъ себя и прислушивалась чутко. Она хотѣла все разузнавать, при первой возможности все передавать Кряжеву, при первой опасности итти къ нему на помощь, не жалѣя ни себя и никого—и спасти любимаго человѣка отъ всѣхъ напастей. Вотъ отчего не прогоняла она отъ себя и писаря; вотъ отчего она терпѣливо выслушивала его глупыя розсказни, ѣла его пряники и конфекты, принимала отъ него стишки, писанные на сѣрой бумагѣ писарскимъ размашистымъ почеркомъ, и мило улыбалась въ отвѣтъ на его любезности.

Теперь дѣвушка видѣла, что надъ ея Дмитріемъ собирается гроза съ громомъ-молніей. Ему угрожаетъ острогъ, каторга. О каторгѣ у Евгеши, какъ и вообще у всѣхъ смуринцевъ, понятія были самыя сбивчивыя. Подъ каторгой разумѣлось что-то страшное, какая-то далекая, далекая сторона, гдѣ всегда темно и холодно, куда за грѣхи гоняютъ людей въ цѣпяхъ, и какъ только люди со свѣту крещенаго войдутъ туда, такъ и пропадутъ на вѣки... „Неужто жъ и Дмитрія-то въ эту проклятую сторонку угонятъ! О, Господи!..“ Она не знала, какъ ей спасти Дмитрія. Будь онъ здѣсь, она сейчасъ же побѣжала бы къ нему и все бы разсказала, что узнала отъ писаря. Знай, куда писать къ нему, она тотчасъ бы вывела на клочкѣ сѣрой бумаги свои каракульки и завтра же послала бы письмо въ городъ съ кѣмъ-нибудь изъ ѣдущихъ на базаръ. Но его здѣсь нѣтъ, а куда писать къ нему—неизвѣстно. Оставалось только ждать... Евгеша плакала, горько плакала, проплакала всю ночь напролетъ. Она поминутно ворочалась на своей жесткой постилкѣ, въ томительной тоскѣ ломая руки, а ея отчаянный, скорбный взглядъ напряженно устремлялся въ ночную темь, словно бы ища чего-то, словно бы все надѣясь, что тамъ блеснетъ свѣтъ...

И лютыя муки приняла Евгеша, все пуще и пуще раздумываясь о миломъ; въ нѣсколько дней она осунулась такъ, какъ будто бы много недѣль въ тяжкой болѣзни пролежала...

А писарь сталъ серьезно подумывать, что онъ такой злодѣй, какого еще свѣтъ не производилъ, что дѣвка-то совсѣмъ сохнетъ, въ гробъ смотритъ. „Это какъ есть съ самаго того дня, какъ я ее чмокнулъ! Ей-Богу, право!"—разсуждалъ Евграфъ Евстигнеевичъ. Сначала, правду сказать, онъ думалъ просто побаловать съ Евгеніей, отвести душеньку, а потомъ взялъ бы да и раскланялся: „наше, молъ, вамъ наиглубочающее..." Приходись Евгеша Григорію Ивановичу родною дочерью, тогда бы другая была пѣсня: тогда писарь не посмѣлъ бы предаваться такимъ радужнымъ мечтамъ, да и „резонтовъ" никакихъ тогда не представлялось бы къ тому. Прокудовъ богатъ, какъ чортъ, и жениться на его дочери Евграфу Евстигнеевичу, пожалуй, еще было бы и не совсѣмъ къ лицу... А тутъ—племянница, сирота, бѣдная дѣвочка, все едино, что въ казачихахъ у дяди изъ-за хлѣба живетъ,—совсѣмъ, значитъ, другая стать, и большой опаски быть не могло... Когда же оказалось, что Евгенька „крѣпка на этотъ счетъ", на ласки его не поддается и на всѣ намеки и ухомъ не ведетъ, знай себѣ посмѣивается да его орѣшки пощелкиваетъ, тутъ писарь сообразилъ, что безъ попа, надо быть, одними пряниками не отдѣлаешься...

Вскорѣ послѣ поцѣлуя, онъ рѣшилъ посвататься, но тянулъ еще день за день. Однако увидѣвъ, какъ быстро худѣла Евгеша, онъ не сталъ долѣе откладывать. „А-а, ну ихъ! Авось, Прокудовъ раскошелится, да отсыплетъ въ приданое сотняжку-другую! Чѣмъ чортъ не шутитъ, горами качаетъ, не токмо что людьми!".. утѣшалъ себя писарь и, пріодѣвшись, какъ должно, отправился однажды утромъ къ Прокудовымъ и откровенно изъяснился съ главой семейства. Григорій Ивановичъ сталъ расхваливать съ чего-то Евгешу, по привычкѣ, вѣроятно, какъ вообще хвалилъ онъ всякій товаръ, сбываемый съ рукъ; но ломался онъ впрочемъ не долго. Скоро стукнули по рукамъ и выпили водки. Сильно же таращилъ глаза Евграфъ Евстигнеевичъ и открякивался, когда въ тотъ же вечеръ окольными путями ему удалось провѣдать черезъ одну закручьевскую бабенку, что Евгеньку Прокудовскую за кого-то, слышно, просватываютъ, а она нейдетъ, что ее ужъ ругали-ругали дядя съ теткой, чуть-ли не поколотили, грозились со двора прогнать... „Вотъ такъ-такъ! — озадачился Евграфъ Евстигнеевичъ. — Гм! Нуу,-бабы! Чортъ съ ними ногу сломитъ... Ну вотъ, тутъ и разгадывай, какого ей рожна надо! Сдурила, видно, дѣвка совсѣмъ"... Тутъ ужъ онъ спохватился: не лучше-ли бы ему было перетолковать прежде съ самой Евгеніей. Теперь, пожалуй, было ужъ поздно.

Пообождавъ денька два-три, Евграфъ Зайцевъ, немного подъ хмѣлькомъ, опять отправился къ Прокудовымъ и заявилъ напрямикъ Григорію Ивановичу о томъ, что дошло до него стороной.

— Пустое!—ободрилъ его тотъ.—Дѣвки вѣдь на счетъ того—всегда съ норовомъ... Безъ этого нельзя... уходится! Глупостей ихнихъ не переслушаешь! Молода вѣдь... Съ дуру-то вотъ и того...

Хотя писарь и кивалъ утвердительно головой, но далеко не вполнѣ былъ согласенъ съ Прокудовымъ. „Ужъ не обмишурился-ли я? Вотъ такъ будетъ штука!" мелькало у него въ пьяной головѣ. „А ну, какъ у нея ужъ есть голубчикъ?.. А—Гм!" Какъ ни былъ тупъ Евграфъ Евстигнеевичъ на пониманье, а видно всетаки взялъ въ толкъ, что ежели дѣвку бранью да колотушками принуждаютъ подъ вѣнецъ итти, такъ дѣло-то, должно быть, не совсѣмъ ладно. Писарь закручинился и обозлился, обозлился на того неизвѣстнаго, на котораго промѣняла его Евгенія. Писарь запилъ и дня три пилъ безъ просыпу. Потомъ они съ Прокудовымъ вдругорядь стукнули по рукамъ.

Въ смуринской сторонѣ былъ обычай пропивать и простукивать невѣсту три раза,—послѣдній разъ считался окончательнымъ. Послѣ перваго и второго рукобитья бывали случаи, что свадьбы расходились, послѣ же третьяго—почти никогда.

И вотъ, по вечерамъ у Прокудовыхъ горятъ на столѣ двѣ сальныя свѣчи, собираются дѣвушки-подружки и вмѣстѣ съ невѣстой усаживаются кругомъ большого стола, шьютъ приданое и готовятъ бѣлье жениху. Дѣвушки всѣ разодѣтыя, а невѣста покрыта какимъ-то старенькимъ, сѣрымъ платкомъ и въ самомъ что-ни на есть дрянномъ, затасканномъ платьишкѣ. Дѣвушки иной разъ пѣсни поютъ, но пѣсни выходятъ невеселыя, ноющія, больно хватающія за душу. И сами дѣвушки не смѣются, не улыбаются; словно нехотя сошлись онѣ сюда; словно не на радость готовятъ онѣ Евгенію, а хотятъ живую въ могилу класть. Ахъ, лучше бы дѣвушки вовсе не пѣли пѣсенъ, а сидѣли бы молча! Ихъ пѣніе звучало какъ похоронное... Евгеша сидитъ, наклонившись, и, молча шьетъ красную кумачную ру-

баху. Изъ-подъ дрянного платка показываются неподвижно уставившіеся ея черные глаза, черныя пряди волосъ, ея осунувшіяся смуглыя щеки. Ей не до пѣнія, не до подружекъ, не до веселья. Не свадьба ее смущаетъ: свадьбѣ не бывать,—такъ порѣшила дѣвушка про себя. Ее мучитъ и заботитъ участь Дмитрія; ее мучитъ ея собственное безсиліе, томительное ожиданіе. А писарь съ дядей ей вовсе не страшны. Злая Прокудиха, какъ яга-баба, сидитъ въ сторонкѣ, насупившись, и приглядываетъ за дѣвушками, а когда выходитъ вонъ, то поручаетъ своему пятилѣтнему щенку приглядывать и подслушивать за невѣстой и все передавать ей, что̀ она безъ нея станетъ говорить съ кѣмъ-нибудь изъ приходящихъ мужчинъ. Иной разъ дѣвушки принимались величать заходившихъ къ нимъ молодцовъ, тѣ за величанье набрасывали имъ полушекъ и грошей, и дѣвушки накупали пряниковъ и меду, бражничали и лакомились.

Хотя Евграфъ Евстигнеевичъ и не высказывалъ Прокудихѣ своихъ подозрѣній насчетъ Евгеши, но Прокудиха сама думала въ томъ же самомъ направленіи, и шибко разбирало ее бабье любопытство. Кто приглянулся Евгенькѣ? Кто ей, мерзкой, вскружилъ головенку? вотъ что ей нужно было допытаться. Дѣвушка на всѣ ея просьбы и угрозы отвѣчала или молчаніемъ, или просто отнѣкивалась, говоря, что у нея никого нѣтъ. Ради того же, чтобы пронюхать Евгенькины шашни, она развращала и своего сынишку, дѣлая изъ него съ малыхъ лѣтъ наушника и шпіона. И Петюшка безъ матери, дѣйствительно, былъ при невѣстѣ безотлучно. Онъ или сидѣлъ на лавкѣ, или торчалъ у самой Евгеши, если кто-нибудь приходилъ посторонній и обращался къ невѣстѣ. Бойко и лукаво посматривали въ ту пору его свѣтлые, дѣтскіе глазенки изъ-подъ льняныхъ прядей свѣсившихся на лобъ волосъ; умно смотрѣли глазенки, перебѣгая съ невѣсты на посѣтителя, оглядывали сидѣвшихъ дѣвушекъ, заглядывали и подъ столъ,—словомъ, не оставались въ покоѣ ни минутки. Евгешѣ было больно смотрѣть на мальчугана; она отворачивалась отъ него, а если и взглядывала на него порой, то съ глубокимъ сожалѣніемъ, чуть не плача. Она была всегда добра къ нему, ласкала его; часто онъ засыпалъ у нея на колѣняхъ, убаюканный ея тихимъ, ласковымъ пѣніемъ. Она звала его своимъ „ангелочкомъ“. И вотъ онъ становится на сторону ея враговъ: онъ шпіонитъ, доноситъ на нее теткѣ. Этотъ малютка теперь сталъ отвратителенъ, страшенъ. Дѣвушки косятся на него, ругаютъ его „дьяволенкомъ“. Вѣдь онъ и ихъ также стѣсняетъ. Дѣвушки иной разъ не прочь бы поболтать о томъ, о семъ, о чемъ обыкновенно болтаютъ дѣвушки промежъ себя, когда одна изъ нихъ выходитъ замужъ. Взглянутъ онѣ на своего маленькаго, молчаливаго собесѣдника и примолкнутъ, словно языки прикусятъ. А мальчуганъ въ отвѣтъ на ихъ ругань языкъ имъ показывалъ и смѣялся неслышимымъ смѣхомъ. Петюшка вѣрно справлялъ свою службу, но Прокудиха все же-таки ничего не пронюхала. И Евграфъ Евстигнеевичъ напрасно шнырялъ по деревнѣ, высматривалъ, подслушивалъ и наблюдалъ: и онъ ничего не узналъ новенькаго. Кто вскружилъ Евгенькѣ голову,—оставалось тайной... И въ другой разъ, наконецъ, писарь съ Прокудовымъ стукнули по рукамъ.

Тускло горятъ свѣчи въ прокудовской избѣ. Дѣвушки перешептываются за работой. У невѣсты въ рукѣ игла ходитъ вяло и лѣниво. Невѣста не притрогивается къ гостинцамъ и сидитъ, низко понурившись, какъ будто бы надъ нею постоянно виситъ острый, тяжелый топоръ, которому вотъ сейчасъ надлежитъ сорваться и опуститься ей прямо на голову... А страшный, маленькій человѣчекъ, едва видимый изъ-за края стола, молча поглядываетъ на всѣхъ своими быстрыми, проницательными глазками и словно бы старается запомнить все до единаго слова, что говорятъ дѣвушки между собой и съ невѣстой...

X.

Ткутъ паутину.

Враги Кряжева той порой не дремали.

Въ Лисинѣ онъ себѣ нажилъ еще одного лишняго врага. И было за что̀ злиться Лисину. Онъ отсталъ отъ своихъ собратьевъ-кулаковъ, замѣтивъ, что путь для наживы долженъ быть избранъ новый, непротоптанный. Для того онъ подластился къ крестьянамъ, о закручьевцахъ говорилъ завсегда съ ужимочкой, съ усмѣшкой, пожертвовалъ на кассу своихъ кровныхъ 50 руб. сер., дружилъ съ Кряжевымъ, столь ненавистнымъ для Закручья и столь любимымъ смуринскимъ людомъ, принималъ участіе во всѣхъ дѣлахъ, клонившихся, прямо или

косвенно, ко вреду кулаковъ, дѣйствовалъ въ интересахъ кузнецовъ-рабочихъ; словомъ сказать, изображалъ изъ себя добродѣтельнѣйшаго барана, позволяя смуринцамъ, въ лицѣ Кряжева, стричь и брить себя напропалую. Онъ одобрялъ устройство общественной лавки,—даже предлагалъ помѣстить ее *въ собственномъ домѣ*. Горячее участіе принималъ онъ въ учрежденіи артели, сносился съ Вальдомъ, и чуть-ли даже не ему собственно артель обязана была своимъ существованіемъ. Онъ вынесъ зато отъ кулаковъ всякія надругательства и положительно думалъ, что долженъ казаться агнцемъ, ведомымъ на закланіе. А закручьевскіе дураки не понимаютъ, что все это онъ дѣлаетъ лишь съ тою благою цѣлью, чтобы безпрепятственнѣе нажиться на счетъ того же обираемаго, голоднаго міра, на счетъ котораго благополучно богатѣли и кулаки.

Насолить-то онъ насолилъ Закручью, а себѣ-то онъ еще пока ничего не добылъ. Хотѣлъ онъ запустить въ кассу свою мягкую лапу,—не удалось. Намѣревался онъ захапать общественную лавку въ свое вѣдѣніе,—также сорвалось. Съ умысломъ, или ненарочно? Кряжевъ помѣшалъ ему, устранивъ его и посадивъ замѣсто того въ приказчики Ѳедьку Горѣлаго. Въ артели Лисинъ видѣлъ важную статью для наживы и уже разсчитывалъ сцапать ее,—благо ему удалось заручиться знакомствомъ съ г-мъ Вальдомъ и втереться въ „уполномоченные отъ земства при смуринской кузнечной артели". И вдругъ Кряжевъ опять вырываетъ у него добычу изъ-подъ носа: не съ нимъ, а съ Кузьмичевымъ отсылаетъ артель гвоздь въ Москву. По нѣкоторымъ отрывочнымъ словамъ, по нѣкоторымъ взглядамъ сѣрыхъ глазъ Кряжева, Лисинъ догадался, что Дмитрій насквозь уразумѣлъ его хищническую, двуличную натуру и оцѣнилъ ее по достоинству. Лисинъ возненавидѣлъ Кряжева сильнѣе всѣхъ его враговъ. Онъ ненавидѣлъ его всѣми силами души, всѣмъ помышленіемъ, ненавидѣлъ такъ, какъ только можетъ ненавидѣть человѣкъ, преисполненный лицемѣрія и лжи и сознающій, что его лицемѣріе и ложь разгаданы, распутаны, что онъ обезоруженъ. Нужно было, слѣдовательно, отвязаться отъ Кряжева во что бы то ни стало, устранить его съ дороги, не разбирая средствъ, не брезгая никакою подлостью. Поэтому, когда его почтенный родственникъ, Андрей Безпалый, спросилъ его однажды, оставшись съ нимъ наединѣ: слышалъ-ли онъ, что̀ говорилъ разъ о масляной Митька про подати, то Лисинъ, подумавъ съ минуту, отвѣчалъ:

— Какъ жѐ! Слышалъ... у колодца?..

Безпалый подтвердилъ, что, дѣйствительно, дѣло происходило на смуринской сторонѣ у колодца.

— Въ тотъ самый день нешо, надо быть, Аггушка Гаврюшку Кудряшевскаго стягомъ чуть до смерти не зашибъ...— въ поясненіе замѣтилъ Безпалый.

— Такъ, такъ! Помню!—кивалъ головой Лисинъ.

Онъ очень хорошо разумѣлъ, откуда и куда дуетъ вѣтеръ. Онъ еще и прежде отъ своей бабы прослышалъ о томъ, что Митюхѣ не миновать бѣды за его долгій язычокъ.

— Гляди, Илья, чтобы и тебя не пристегнули... Вожжайся съ нимъ больше!— замѣтила ему хозяйка.—Сгинешь ни за грошъ...

Илья за себя не боялся и былъ вполнѣ увѣренъ, что его не пристегнутъ. Онъ лишь ухмылялся себѣ подъ носъ и забавлялся страхами жены.

А по Смурину, дѣйствительно, съ нѣкоторыхъ поръ пошла смутная, темная молва, Богъ вѣсть откуда взявшаяся, о томъ, что надъ Кряжевымъ якобы готова разразиться какая-то тяжкая напасть. Опредѣленно никто ничего не говорилъ, а слухъ какъ будто бы носился въ воздухѣ, по вѣтру. Какіе-то странные, робкіе, недоумѣвающіе взгляды, покачиванья головой, охи да вздохи, да недоговоренныя рѣчи,—вотъ единственныя выраженія носившейся молвы.

Лисинъ, разговаривая съ Безпалымъ, никакъ не могъ, къ несчастію, припомнить сразу, что такого особеннаго толковалъ въ ту пору Кряжевъ. Лисинъ хитро повелъ рѣчь, дѣлая видъ, какъ будто бы припоминаетъ слова, сказанныя Кряжевымъ. Безпалый помогалъ ему, а Лисину только того и надо было. По словамъ же Безпалаго оказывалось, что Митюха бунтовалъ, не на добро крестьянъ подговаривалъ.

— Такъ, такъ!—поддакивалъ Лисинъ, внимательно прислушиваясь къ словамъ Безпалаго.

Говоря же по совѣсти, ничего особеннаго Лисинъ не помнилъ, а запомнилось лишь ему, что Кряжевъ толковалъ съ крестьянами о недоимкѣ, неизвѣстно откуда накопившейся; жаловался, что ни становой, ни посредникъ не хотятъ толкомъ разобрать это дѣло. Только всего и было.

— А ты покамѣстъ про меня помалкивай! Шуму-то не надо!—молвилъ, помолчавъ съ минуту, Лисинъ.

— Знамо, языкомъ пусто болтать нечего!—согласился Безпалый.

А Илья Петровичъ все еще боялся, какъ бы ему не остаться въ дуракахъ, и потому задалъ Безпалому еще такой вопросъ:

— А кто еще слыхалъ?

— Кто? Много кто слыхалъ!—отозвался тотъ.—Учитель Красногоркинскій слышалъ, прикащикъ Кузьмы Иваныча, старшина проходилъ мимо,—тоже останавливался. Дѣло, вѣдь, было середи бѣла дня, на улицѣ. Не запрешься, не укроешься...

— Это ужъ точно!—поддакнулъ Лисинъ.

— Такъ ты смотри, Илья, не откажись!

— А тѣ... тѣ тоже все слышали, какъ ты сказываешь?—въ свою очередь спросилъ Лисинъ.

— Да знамое дѣло!—обнадеживалъ его кулакъ.—Тѣ прямо подъ присягу идутъ...

— Ежели такъ, то и мнѣ противъ закона не стать итти! Покажу все, какъ было,—по чести!—согласился Лисинъ.

Стоило въ тѣ минуты посмотрѣть на этихъ двухъ мошенниковъ, которые любили только самихъ себя, думали лишь о наживѣ, которымъ собственно не было никакого дѣла ни до начальства, ни до порядка, но которые прикидывались другъ передъ другомъ особами строгими, благочестивыми, молящимися на законъ... Да и въ Митюхѣ, по совѣсти говоря, они видѣли не опаснаго человѣка, а просто помѣху себѣ—своимъ личнымъ, домашнимъ дѣламъ. Не мѣшайся онъ въ ихъ дѣла, они и ухомъ бы не повели! А ежели онъ поперекъ дороги имъ задумалъ встать, такъ ужъ они изъ искорки постараются огонь раздуть...

Но Лисину, какъ и всѣмъ остальнымъ свидѣтелямъ, не охота было выступать однимъ. Илья Петровичъ, зная, что показанія крестьянъ въ этомъ дѣлѣ будутъ очень важны, заговаривалъ съ нѣкоторыми, но отъѣхалъ ни съ чѣмъ. Всѣ отзывались, что „Митюха ничего такого не баялъ“, что, „може что и баялъ, да запамятовали, али бо не дослыхали“. Лисинъ принимался, было, и грозить. Но крестьяне оставались непоколебимы и на угрозы, какъ и на льстивыя обѣщанія и ласки, не поддавались. Отчасти они, разумѣется, боялись суда, всякихъ судебныхъ проволочекъ и допросовъ, отчасти же не шли изъ той вѣры, какую они уже издавна привыкли питать къ Кряжеву. Не малаго труда также стоило уломать и старшину пойти въ свидѣтели. Тотъ, правда, проходилъ мимо колодца въ ту пору, какъ Кряжевъ разговаривалъ съ мужиками, и слышалъ даже его голосъ, но о чемъ собственно шла рѣчь, не разобралъ. Но уговоры закручьевцевъ, а особенно „резонты“ Кузьмы Ивановича заставили его рѣшиться. Хотя онъ и рѣшился, а все-таки далеко не былъ увѣренъ, правду-ли говорятъ про Кряжева или просто клеплютъ на него со зла. Но старшинѣ не приходилось итти противъ кулаковъ.

Артельный гвоздь подъ присмотромъ Кузьмичева, между тѣмъ, подъ шумокъ отправился въ Москву. За день до отправки гвоздя, въ Москву же подъ шумокъ „по своимъ дѣламъ“ отправился и младшій Кудряшевъ съ порученіемъ отъ Закручья побывать въ Москвѣ у тѣхъ желѣзоторговцевъ, которые гуртомъ скупаютъ гвоздь, и заблаговременно предупредить ихъ о всѣхъ происшедшихъ на Смуринѣ перемѣнахъ за послѣднее время, объ устройствѣ артели, о томъ, чтобы они при пріемкѣ артельнаго гвоздя смотрѣли въ оба, что артельный гвоздь „неровенъ“, плохъ и вообще стоимостью ниже обыкновенной цѣны. Когда Кузьмичевъ прибылъ въ Москву, то дѣло его уже было проиграно...

Купцы зря придирались къ гвоздю, артачились. Иные вовсе отказывались принять гвоздь; иные принимали его по низкой цѣнѣ и то — какъ они говорили — „больше Христа ради“, чѣмъ изъ-за выгодъ. Какъ ни вертѣлся Кузьмичевъ, но не смотря на все свое доброе желаніе, не смотря на всю свою юркость и ловкость, принужденъ былъ спустить гвоздь съ значительной уступкой. Не везти же было его назадъ, а своего склада въ Москвѣ не было.

Артельщики, узнавъ по возвращеніи Кузьмичева о постигшей ихъ неудачѣ, замѣтно пріуныли и повѣсили носъ.

Кузьмичевъ съ своей стороны отказался наотрѣзъ ѣхать въ другой разъ въ Москву съ гвоздемъ до той поры, пока не устроитъ тамъ артель своего склада.

Закручье ликовало. Ликовалъ и Лисинъ.

Около того же времени, разъ какъ-то утромъ Евграфъ Евстигнеевичъ необыкновенно принарядился, повязалъ на шею черный шелковый галстукъ, намазалъ слегка волосы коровьимъ масломъ, вытеръ квасомъ штаны и отправился къ господину посреднику. Нила Ивановича онъ засталъ въ сѣромъ халатикѣ за занятіями. Мировой посредникъ, озабоченно насупивъ брови и нахмуривъ лобъ, сидѣлъ за столомъ, заваленнымъ бумагой и обрѣзками

она. Губы и руки его всѣ въ клей-
ѣ. Мировой посредникъ клеилъ ко-
ики. Клеить коробочки было обычнымъ
мымъ занятіемъ почтеннаго Нила
ловича въ ту пору, какъ онъ былъ
оденъ отъ преферанса и отъ служеб-
дѣятельности. Онъ то клеилъ новыя,
бклеивалъ цвѣтною бумагой старыя
бочки—изъ-подъ конфектъ, изъ-подъ
екъ и тому подобнаго. Вообще, онъ
человѣкъ трудящійся.

Что скажешь?—обратился онъ къ
рю, облизывая мазилочку и оттопы-
я свои рыжеватые усы.

Къ вашей милости, Нилъ Ивано-
!—мягкимъ голоскомъ запѣлъ Евграфъ
игнеевичъ, приближаясь къ столу и
огивая на ходу полы своего мѣшко-
го сюртука.

долго они шептались, а при про-
и посредникъ оставилъ даже свои
гія и вышелъ за писаремъ въ перед-

Это вы хорошо сдѣлали... А то, по-
йте, какъ же можно! — внушитель-
ъ тономъ говорилъ Хлопушкинъ, за-
вая халатъ.

Я и самъ имъ тоже говорилъ: какъ
то, господа, можно? — поддакивалъ
рь.

Такъ, такъ! До свиданія!—крикнулъ
ъ Ивановичъ и возвратился къ своей
лочкѣ, къ своимъ коробочкамъ и
тельно принялся размѣрять золотой
юрчикъ, пригоняя его къ краю одного
орошенькаго ящичка изъ-подъ какихъ-
ешевенькихъ папиросъ.

ирковъ также дважды ѣздилъ въ
дъ и видался со становымъ и еще
ѣмъ-то.

- У насъ, на Смуринѣ, Арсеній Вик-
вичъ, не совсѣмъ-то ладно!—началъ
ма Ивановичъ, пожаловавъ въ пер-
разъ къ становому.

- Что? Мертвое тѣло? Нашли? Гдѣ?—
оговоркой заспрашивалъ тотъ, гото-
ужъ сорваться съ мѣста и летѣть
лѣдствіе.

- Какое тутъ мертвое тѣло! Господь
вами! Совсѣмъ живое!—разочаровалъ
сразу Чирковъ.

олго шептались они.

- Не уйдетъ! Не уйдетъ!.. Гм!.. А я
алъ, мертвое тѣло нашли...—провор-
становой, прощаясь съ Чирковымъ.

цнимъ словомъ, вся смуринская не-
ъ расползалась вдругъ и располза-
не передъ добромъ. Слухи о томъ,
Кряжеву, „надо быть, не миновать
л“—шли все пуще и пуще, получая
съ каждымъ днемъ все болѣе характеръ
увѣренности и наводя на простыхъ лю-
дей безотчетный страхъ. Какая такая
напасть? Откуда? За что, про что? ни-
кто изъ смуринцевъ, кромѣ немногихъ
посвященныхъ, не зналъ; но всѣ порой
тяжело вздыхали, всѣ какъ бы ожидали
чего-то, всѣ томились... Такъ иногда въ
палящій лѣтній день передъ бурей пти-
цы и животныя начинаютъ томиться, дѣ-
лаются безпокойны, выражаютъ какое-то
странное, повидимому, безотчетное чув-
ство страха и испуга, хотя небеса еще
ясны, и ни одной темной тучи, ни одной
зловѣщей тѣни не видать на горизонтѣ.

XI.

Изъ пустого въ порожнее.

Пока на Смуринѣ недруги Кряжева
ткали про него паутину и замышляли
западни, пока кулаки бились изо всѣхъ
силъ, чтобы подорвать артель и пускали
въ ходъ всѣ зависѣвшія отъ нихъ сред-
ства, Дмитрій Кряжевъ путешествовалъ
въ губернскій городъ. То онъ пробирался
пѣшкомъ, то копеекъ за 10—за 15 му-
жики подвозили его на своихъ дровняхъ
нѣсколько верстъ. Ночевалъ онъ, гдѣ Богъ
приводилъ: на постояломъ дворѣ, въ избѣ,
въ лѣсной хаткѣ, гдѣ вѣтеръ свисталъ во
всѣ щели и страшно завывалъ по лѣсу.
А разъ пришлось ему всю ночь до бѣла-
го разсвѣта итти. Въ другой разъ онъ
заночевалъ въ степи, подъ стогомъ, и
передъ зарей чуть было не отморозилъ
пальцевъ на ногахъ. Наконецъ, черезъ
недѣлю, онъ добрелъ до города.

Четыре раза сходилъ онъ въ губерн-
ское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе
прежде, чѣмъ ему удалось повидать того,
кого ему было нужно. Дѣлопроизводитель,
человѣкъ степенный и серьезный, въ ко-
торомъ доживалъ еще духъ недавней
эпохи, встрѣтилъ мужика милостиво и вни-
мательно выслушалъ повѣсть о фантасти-
ческой недоимкѣ, объ отказѣ Хлопушкина
указать ея происхожденіе, объ арестѣ
Кряжева и о прочемъ. Нѣсколько разъ
дѣлопроизводитель пожималъ плечами и
меланхолически поглядывалъ на кончики
своихъ ярко вычищенныхъ сапогъ.

— Посредникъ безъ причины... безъ
суда арестовать не можетъ!—промолвилъ
онъ.—А если вы посредникомъ недовольны,
то можете обратиться на него съ жалобой
въ съѣздъ... Обращались?

— Никакъ нѣтъ!—отозвался Кряжевъ.

— Такъ что же вы? Обратитесь въ

съѣздъ сначала!—подтвердилъ дѣлопроизводитель.

— Да вѣдь, на съѣздѣ-то они сидятъ...— заикнулся было Кряжевъ.

— Да, да! Обратитесь, обратитесь!— какъ бы не дослышавъ, повторилъ чиновникъ. — А я теперь сдѣлать для васъ рѣшительно ничего не могу...

Потолковалъ-потолковалъ онъ еще, да тѣмъ дѣло и кончилось, то-есть, собственно говоря, не кончилось ничѣмъ...

Кряжевъ уже давненько не былъ въ городѣ и вечеркомъ пустился бродить по улицамъ. На улицахъ по какому-то случаю была иллюминація: на тротуарныхъ тумбахъ и у воротъ домовъ горѣли плошки, — впрочемъ, больше дымили, чѣмъ горѣли: на окнахъ домовъ стояли зажженныя свѣчи. У губернаторскаго дома горѣлъ вензель съ огромными буквами и переливался всѣми цвѣтами радуги. Въ городскомъ саду играла музыка. Садъ былъ также иллюминованъ разноцвѣтными фонариками. Господа гуляли въ саду, катались по пруду на конькахъ. Простого народа въ садъ не пускали. Когда Дмитрій подошелъ къ рѣшеткѣ сада, у воротъ произошло волненіе. Полицейскій тащилъ какого-то лавочника за шиворотъ. Какой-то барченокъ, проходя въ садъ подъ ручку съ дамой, толкнулъ лавочника, да еще онъ же и ругнулъ. А пьяненькій торговецъ обозлился, да во все горло и крикнулъ барченку вслѣдъ что-то неподобное... Вотъ за это-то самое изреченье его и потащили въ часть... Кряжевъ постоялъ, посмотрѣлъ черезъ рѣшетку въ садъ и пошелъ дальше. Онъ заглядѣлся было на одинъ красивый домъ по Большой Дворянской улицѣ, но лихой караковый рысакъ чуть не задавилъ его, а кучеръ съ высоты своего облучка повелительно гаркнулъ ему: „сторонись, борода!“ Далѣе какой-то жалкій, пьяненькій господинъ, встрѣтившись съ нимъ на тротуарѣ, сильно толкнулъ его, обругалъ „дуракомъ, болваномъ, татариномъ“ и еще какъ-то,—Кряжевъ ужъ не слыхалъ и спокойно шелъ своею дорогой.

На другой день чѣмъ свѣтъ отправился онъ въ обратный путь тѣмъ же маперомъ, какъ и достигъ города.

Конечно, большую часть пути онъ могъ бы проѣхать по чугункѣ — и удобнѣе и скорѣе. Онъ выгадалъ бы навѣрно дней 5—6, да и ноги не такъ бы натрудилъ. Но дѣло въ томъ, что взадъ и впередъ ему пришлось бы заплатить за проѣздъ рублей 9. На той желѣзной дорогѣ цѣны за проѣздъ въ третьемъ классѣ не понижались, какъ бы по настоящему слѣдовало ожидать, судя по успѣху дороги, а напротивъ годъ отъ году повышались.

Кряжевъ разсуждалъ такъ: „времени сберегу я, положимъ, дней 5. А куда мнѣ торопиться? Я истрачу 9 рублей, а на гвоздѣ-то ихъ я едва выручу дней въ 10“. Вотъ и шелъ онъ съ котомкой за плечами, въ дырявыхъ поршняхъ, въ оборванномъ полушубкѣ, опираясь на свою дорожную палку. А мимо него то и знай, шипя, пыхтя, разбрасывая искры и пепелъ и увлекая за собой длинные, тяжелые поѣзды, мчались одинъ за другимъ локомотивы. Проносились чудовища и, изрыгая на Кряжева искры и дымъ, словно хотѣли съ насмѣшкой промолвить ему: „Иди, иди, добрый человѣкъ! Не про тебя мы расходуемъ свою желѣзную богатырскую силу!..“ И гремятъ поѣзда и скрываются за лѣсомъ...

XII.

Наканунѣ событій.

Евгеша всегда была ласкова, добра къ смуринскимъ ребятишкамъ. Сердце у Евгеши было нѣжное, любящее — золотое сердце. Она при встрѣчѣ гладила ребятъ по головѣ, при случаѣ заступалась за нихъ, давала имъ гостинцевъ. Поэтому вовсе немудрено ей было подговорить троихъ изъ нихъ поглядывать за околицу и— какъ увидятъ Дмитрія Михайловича—дать ей знать украдкой. Оттого-то Евгеша первая и узнала о приходѣ Кряжева...

По тонкому льду Вожицы смѣло перебѣжала она подъ покровомъ сумерекъ, ловко минуя опасныя полыньи, вошла въ избу и, уже не смотря на присутствіе Назарыча, бросилась къ Кряжеву, обвилась руками кругомъ его шеи, крѣпко припала къ его груди да такъ, казалось, и замерла на ней.

— Измаялась я! — говорила Евгенія, усаживаясь съ Кряжевымъ на лавку.— Ахъ, Ларіонъ Назарычъ! Здравствуйте! Я васъ и не вижу...—скороговоркой молвила дѣвушка служивому, когда тотъ, сгорбившись, чтобы не задѣть головой за полати, пробирался къ выходу.

Кряжевъ приблизилъ къ себѣ дѣвушку, отвелъ ей со лба черные волосы, взялъ эту голову въ обѣ руки и крѣпко—задушевно зацѣловалъ ее и въ полураскрытыя уста, и въ очи, и въ щеки, и въ смуглый лобъ.

— Голубчикъ ты мой! Ты какъ ровно бы поисхудалъ? — заботливо спрашивала

его дѣвушка, гладя его рукой по спинѣ и любовно заглядывая ему въ лицо.

— А можетъ, что и поисхудалъ: въ дорогѣ-то не разжирѣешь! Ну, да и ты-то хороша, нечего сказать... Смотри ты: краше въ гробъ кладутъ... Кровки-то ни капли въ лицѣ, какъ есть!—замѣтилъ Кряжевъ, взявъ ее за подбородокъ своею сильною, грубою рукой и глядя внимательно и съ тревогой ей въ глаза.

Тутъ Евгеша вскользь повѣдала ему, какъ она томилась безъ него ожиданіемъ и страхомъ, какъ ее просватали за писаря. Подробно и обстоятельно передала она ему все, что слышала на деревнѣ и отъ писаря на счетъ того, какъ онъ, Кряжевъ, хотѣлъ крестьянъ бунтовать. Не упустила Евгеша и того обстоятельства, что писарь ѣздилъ онамеднись къ посреднику, что Чирковъ не одиножды былъ въ городѣ, ѣздилъ куда-то и отецъ благочинный,—разно говорятъ: не то къ дочери на крестины, не то въ городъ. (Старшая дочь его, Лариса, была замужемъ за священникомъ въ одной подгородной слободѣ). Кряжевъ долго сидѣлъ молча и какъ будто бы раздумывалъ.

— Напрасно это они... Выдумать-то можно, что хошь... Доказательство надо представить. А гдѣ оно у нихъ, доказательство-то?—заговорилъ онъ, и чувство горечи отразилось на его обвѣтревшимся лицѣ.—Свидѣтелевъ тоже надоть привести... Обнести человѣка такъ себѣ за здорово живешь не дадутъ! А наврядъ кто противъ меня станетъ на судѣ неправду показывать! Чай, всякому душа-то дорога...

Кряжевъ оставался спокоенъ и не думалъ принимать никакихъ предосторожностей. Слабая сторона его, какъ всякаго вообще порядочнаго человѣка, заключалась въ слишкомъ хорошемъ мнѣніи объ окружающихъ, въ нѣкоторой наивности и въ слѣпой вѣрѣ въ силу правды. Человѣкъ выходилъ съ открытой грудью и лишь съ кулакомъ вмѣсто всякаго оружія противъ рати, сильно вооруженной и закованной въ желѣзо.

— Прокудиха тебя гаркала, ищетъ, по избамъ ходитъ! Бѣги! — вполголоса проговорилъ Назарычъ, показываясь въ дверяхъ.

— Ну, прости покуда! Завтра приду!— молвила Евгеша Кряжеву и, накинувъ на голову свой сѣренькій платокъ, выскользнула изъ избы и благополучно пробралась домой, никѣмъ не замѣченная.

Назарычъ, разумѣется, былъ радъ-радешенекъ приходу хозяина.

— А здѣсь, Митрій Михайлычъ, про тебя слухъ прошелъ... — замѣтилъ Назарычъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ.—Богъ его знаетъ, откуда онъ залетѣлъ, слухъ-то... Можетъ, бабы плетутъ! Такъ, пустое...

— Слышалъ, слышалъ!—перебилъ его Кряжевъ:—Евгенія мнѣ ужъ посказала про дѣла-то здѣшнія...

Потолковавъ съ Назарычемъ, повѣдавъ ему о своихъ похожденіяхъ, Дмитрій направился за околицу, къ знакомой хаткѣ на бугрѣ. Медвѣдко лежалъ у порога и, завидѣвъ Кряжева, залился громкимъ лаемъ, но, скоро признавъ своего стараго знакомаго, завилялъ хвостомъ и проводилъ его въ избу.

Аггушку Кряжевъ засталъ за работой. Поздравствовались.

— Ну, что? Какъ тамъ въ городѣ живутъ? Веселѣе, поди, здѣшняго?..—спросилъ Аггушка, не отрываясь отъ работы.

— Кому веселѣе, кому нѣтъ! — отвѣчалъ Кряжевъ, усаживаясь на лавку.— Нашему брату нигдѣ не веселѣе...

— Что такъ? А ты запропалъ... Мы думали: весновать тамо собрался! — съ усмѣшкой промолвилъ парень, наклоняясь надъ длиннымъ ружейнымъ стволомъ, при чемъ его всклокоченные волосы свѣсились и позакрыли его лицо.

— Въ городахъ-то вотъ какъ живутъ!— заговорилъ Дмитрій.—Встрѣтилъ я на постояломъ одного извозчика старой вѣры. Старикъ, сѣдой весь... Такъ онъ сказывалъ, вишь, пріѣзжала зимось ахтриса въ Питеръ и пѣла чудесно. За одинъ вечерокъ—это, значитъ, чтобы поглядѣть ее да послухать—платили, братецъ ты мой, по 100 рубликовъ, цѣлковенькихъ... Это часика за 3, за 4 этакъ-то... 100 цѣлковыхъ!.. Гм!..

Заговорили о слухахъ.

— Диво, братъ, Аггуха! Какъ это у людей только совѣсти хватаетъ про такія дѣла?—сказалъ Кряжевъ.

— Ты, ровно младенецъ, какъ я погляжу на тя!—отозвался Аггушка. — Гм! Совѣсть! Захотѣлъ тоже... Пустопорожнее мѣсто—совѣсть-то! Вотъ что!..

— Да, вѣдь, и имъ жука подпустить можно?—возразилъ Дмитрій.

— Подпущай! А они тебѣ, гляди, двухъ запустятъ!—промолвилъ Аггушка.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Кряжевъ сидѣлъ, понуривъ голову, и тихо наигрывалъ на своей гармоникѣ „не бѣлы снѣжки“. Потомъ онъ положилъ гармонику рядомъ съ собой, взялъ шапку и принялся задумчиво перекидывать ее изъ одной руки въ другую. Аггушка той по-

рой кончилъ работу, вычистилъ и собралъ вновь ружье.

— А я, вотъ, насчетъ ружья... Время охочее подходитъ... — проговорилъ Аггушка, опираясь на свою длинностволку и поглядывая на Митюху.

— Дѣло! — молвилъ тотъ разсѣянно и поднялся съ мѣста.

Кряжевъ, видно, надумалъ. Глаза его смотрѣли бодро,—и видно было, что силы не оставили его, что для него еще жили и цвѣли надежды.

— А, вѣдь, я ихъ нисколько не боюсь! Вотъ ни на эстолько!—сказалъ онъ, указывая на кончикъ ногтя, и, поправивъ кушакъ, выпрямился во весь ростъ, такъ что его темнорусыя кудри чуть не касались закоптѣлаго потолка аггушкиной хатки.

Онъ слегка выдвинулъ грудь впередъ, выставилъ одну ногу, а руку положилъ за пазуху съ такимъ спокойнымъ видомъ, который ясно указывалъ, что въ Митюхѣ силы было еще много, что онъ готовъ былъ помѣряться со всякой нечистью и показать ей зубы. А Аггушка оборотился къ стѣнѣ и приложился къ вычищенному ружью, весь позавѣсившись волосами и крѣпко прижавшись своей грязной, смуглой щекой къ ружейному прикладу.

— А какъ думаешь, далеко хватитъ?— спросилъ Аггушка, цѣлясь въ почернѣлую, бревенчатую стѣну.

— А кто его знаетъ!—разсѣянно отвѣчалъ Кряжевъ.

— Вѣрно!—согласился Аггушка и бережно поставилъ ружье въ уголокъ.

Возвратившись домой, Кряжевъ засталъ у себя кучку крестьянъ, провѣдавшихъ объ его приходѣ. Каждому хотѣлось поскорѣе узнать, чѣмъ кончилось дѣло, чего Митюха допытался въ городѣ. Кряжевъ поразсказалъ имъ все, какъ было, безъ утайки...

— Въ съѣздъ, значитъ, опять?..—замѣтили въ толпѣ.

— О сѣменахъ Лисинъ еще не хлопоталъ?—спрашивалъ Кряжевъ.

— Кажись бы, нѣтъ!—отвѣтили ему.

— Нѣшто онъ ростопели дожидается? Ужо въ городъ-то не пройдешь, не проѣдешь!

Кряжевъ былъ веселъ, шутилъ, разсказывалъ про городъ. Крестьяне посмѣивались и уже за полночь разошлись по домамъ. О слухахъ они съ Кряжевымъ не заговаривали: не то боялись обмолвиться, не то, просто, имъ не охота было объ этомъ рѣчь заводить.

Лисинъ, вопреки обыкновенію, не пришелъ на этотъ разъ провѣдать Кряжева: они ужъ давно уговорились промежъ собой, что Лисинъ будетъ заходить къ Дмитрію вечеркомъ, дабы не возбуждать напрасныхъ толковъ въ Закручьи. Кряжевъ подождалъ, подождалъ Лисина и, наконецъ, на другой день ввечеру отправился къ нему самъ. Илья Петровичъ подводилъ въ своей счетной книжкѣ какіе-то итоги, когда къ нему въ горницу вошелъ Кряжевъ. Хозяинъ даже не привсталъ, сухо поздравствовался съ гостемъ и отложилъ книжку въ сторону.

— О сѣменахъ-то не похлопотали, Илья Петровичъ?—слегка укоризненнымъ тономъ спросилъ Дмитрій, остановившись у стола.—Народъ-то, гляди, чтобы безъ яровыхъ не остался... Весна-то не за горами...

— Да некогда все было! Вѣдь не одно дѣло-то у меня...—отвѣтилъ Лисинъ, почесывая бороду и небрежно закинувъ назадъ голову.

— Тэ-э-къ!—протянулъ Дмитрій, пристально взглядывая на Лисина.—Значитъ, и за сѣменами мнѣ придется итти...

— Отчего же вамъ?—невинно лукавымъ тономъ переспросилъ Илья Петровичъ.—Сходятъ и безъ васъ... Есть вѣдь народу-то, слава Богу.

— Есть-то есть, да кто пойдетъ-то? Народъ-то все за работой... Вамъ и можно бы, вотъ, сходить, да тоже дѣла у васъ завязались... Что тутъ подѣлаешь!—подсмѣиваясь прямо Лисину въ лицо, промолвилъ Кряжевъ.

Лисина передернуло. Ясно было, что Кряжевъ догадывался, какое такое дѣло завязалось вдругъ у Лисина. Отъ злости Илья Петровичъ даже позеленѣлъ; глазки у него забѣгали, а усы такъ и подергивало, какъ у таракана. Но это была только минута. Лисинъ живо оправился.

— Будьте спокойны, Митрій Михайлычъ! Сѣмена будутъ... Сами ужъ знаете: Ѳедоръ Иванычъ похлопочетъ... Мужики безъ ярового не останутся...—миролюбивымъ тономъ заговорилъ Лисинъ, откашливаясь.—Да вы что это стоите все! Присядьте! Разскажите, какъ походъ-то сломали... Благополучно?..

— Некогда теперь! Въ другой разъ... У васъ, вишь, дѣла нонече... О-охъ, шутникъ вы, Илья Петровичъ!—проговорилъ съ невеселымъ смѣхомъ Кряжевъ и, не подавъ Лисину руки, вышелъ изъ горницы.

— У-у, верченая голова! Ну, да ладно...—проворчалъ ему вслѣдъ Лисинъ и, заперевъ дверь на крючекъ, походилъ

по комнатѣ, снова сѣлъ и углубился въ подведеніе итоговъ, — вѣроятно, очень пріятныхъ для него, потому что по губамъ его въ тѣ мгновенія скользила сладостнѣйшая улыбочка.

— Продалъ!--рѣшилъ про себя Кряжевъ, выходя отъ Лисина.—По глазамъ вижу, что кошка молоко полакала... Лисій-то хвостъ не успѣлъ убрать, высунулъ"...

На другой день, съ ранняго утра, Кряжевъ принялся за работу послѣ четырехнедѣльнаго прогула. Отворилась его кузница, въ горнѣ развелся огонь, и тамъ, въ полусумракѣ, снова дождемъ забрызгали красныя искры, и мѣрно, тяжело застучалъ по наковальнѣ молотъ. Попрежнему вечеромъ, послѣ работъ, ссыпавъ гвоздь въ чуланъ, Кряжевъ бралъ гармонику, свою „неразлучную подруженьку", и наигрывалъ на ней свои любимыя, тихія, заунывныя пѣсенки, а Назарычъ сидѣлъ тутъ же съ трубкой,—и сѣрый дымокъ вился струйками изъ ноздрей медвѣжьей головы, а тонкая мѣдная чистилка, въ тактъ его покачиванію ногой, болталась изъ стороны въ сторону. Иногда къ Митюхѣ собирались мужики, заходили парни, толковали, пѣли пѣсни, или же Митюха принимался имъ читать какую-нибудь книгу. Тогда въ хатѣ смолкало такъ, что былъ бы слышенъ полетъ мухи...

Иной разъ, когда въ избѣ никого постороннихъ не было, являлась Евгеша. Тогда гармоника наигрывала пѣсни повеселѣе...

Украдкой заходилъ къ Дмитрію въ кузню братъ Василій и своими причитаньями нагонялъ на него тоску.

— Умышляютъ, братъ, противъ тебя что-то... | шопотомъ говорилъ Василій.— И гдѣ ужъ намъ тягаться съ Кузьмой Иванычемъ, да съ закручьевскими! Самъ посуди—мы что̀?

— Такъ чего дѣлать-то съ ними прикажешь? — спрашивалъ Дмитрій. — Шею имъ нѣшто подставлять?

— Для чего — шею... — замялся Василій. — А ты, Митюха, смирись передъ ними! Смирись! Съ поклону голова, чай, не свалится! Потому, коли увидятъ твое покорство—ну, и того...

— Не сварить, братъ, намъ съ тобой пива и во вѣки вѣковъ!—замѣтилъ Дмитрій.—Ты вотъ смиренъ, а милуютъ они тебя, что̀-ли?

— Знамо, милуютъ! Не трожь ихъ, и они тормошить не станутъ... — затянулъ Василій съ легкимъ вздохомъ.—Что жъ! Я теперь живу ничего, слава Богу... по малости...

— Разбогатѣлъ, видно?—съ усмѣшкой переспросилъ Кряжевъ.

— Разбогатѣлъ! Э-эхъ, Митрей!..—И Василій прихлопнулъ себя по ляшкамъ и уставилъ глаза въ полъ съ такимъ видомъ безнадежнаго отчаянія, какъ бы желая сказать: „и вправду, видно, пива съ тобой не сварить!"—И то, братъ, ладно—корова есть, дворъ покрытъ, не землю ѣдимъ...

Помолчали нѣсколько минутъ. Василій покашливалъ и охалъ; Дмитрій съ силой стучалъ молотомъ по наковальнѣ...

— Нѣтъ, братъ!—заговорилъ онъ, немного погодя, опуская молотъ на земь и отирая рукавомъ рубахи потъ съ лица.— Оъ вашего смиренства, окромя горя, никакого толку не выходитъ... То-то и бѣда, что вотъ много васъ этакихъ...

Возвращаясь домой, Василій взбирался по крутой береговой тропинкѣ и все оглядывался, какъ бы кто не запримѣтилъ, что онъ якшается съ Митюхой. Дома за обѣдомъ онъ, между прочимъ, отрывочно повѣдалъ женѣ и матери о свиданіи съ братомъ и о томъ, какъ Митюха не поддается и знать ничего не хочетъ: „не покорюсь", говоритъ, да и кончено.

— Туда ему и дорога, безпутному!— прошептала старуха.

— И съ кѣмъ вязаться вздумалъ, прости Господи! Накось!—съ ехидной усмѣшкой замѣтила Агафья.—Вотъ ужъ взаболь: дай Богъ нашему теленку да волка съѣсть! Смѣхота!

— Туда ему и дорога, этакому!—бормотала старуха, подпирая рукою свой трясшійся подбородокъ.

Такъ на семейномъ совѣтѣ было окончательно рѣшено, что Митюха—человѣкъ пропащій, и шабашъ...

Послѣ возвращенія Кряжева изъ города прошло уже больше двухъ недѣль. Постъ кончился. Смурино разговѣлось. Съ утра до вечера весело звонили колокола, мальчишки и парни поминутно лазали на колокольню, и дѣвки имъ не уступали. Галкамъ цѣлую недѣлю покоя не было. Народъ гулялъ на лугу и около погоста. (Въ прежніе годы гуляли на погостѣ, такъ какъ онъ, благодаря своей высотѣ, раньше освобождался отъ снѣга; но года два тому назадъ священникъ, по внушенію благочиннаго, отмѣнилъ гулянье на погостѣ, въ видахъ соблюденія приличій). Въ кабакахъ шло великое кантованье. Осколки красной яичной скорлупы валялись повсюду.

Въ воздухѣ уже положительно припахивало весной. Вершины на поляхъ к

лугахъ совсѣмъ обнажились отъ снѣга. Въ ложбинахъ снѣгъ тоже быстро таялъ. По утрамъ жаворонокъ громко и звонко пѣлъ надъ смуринскими полями... Скоро и Вожица разломаетъ свой ледъ и понесетъ его на своихъ волнахъ въ даръ рѣкѣ, а та унесетъ ихъ въ „большую рѣку". А тамъ далѣе вожицкія льдинки растаютъ и утекутъ въ дальнее, теплое море.

XIII.

Перетянули...

Въ субботу на Ѳоминой недѣлѣ, зашабашивъ, Кряжевъ возвратился домой, пріумылся, поѣлъ хлѣбца съ солью, выпилъ полковшика воды и, взявъ гармонику, вышелъ на крылечко. Назарыча на ту пору дома не было: онъ отлучился еще съ утра до понедѣльника на Ведрово, къ одному куму... Ясное весеннее небо безъ тѣни, безъ облака синѣло надъ Смуринымъ. Солнце блестящимъ шаромъ уже спускалось къ лѣсу, и позолоченные его лучами, голые сучья ветелъ, росшихъ близъ Митюхиной хатки, рѣзко обрисовывались на голубомъ небѣ. Кряжевъ оглянулся, прищурившись, посмотрѣлъ изъ-подъ руки на солнце, еще разъ оглянулся и подумалъ про себя: „хорошо!" Вольно дышалъ онъ здоровою грудью, и въ голову ему невольно приходила мысль: „холодъ и длинныя ноченьки миновали; опять тепло будетъ, опять красные, солнечные деньки..." И тутъ же невольно померещился ему въ золотѣ и блескѣ заходящаго солнца знакомый, молодой, хорошій образъ, словно бы онъ вдругъ спустился къ нему оттуда, съ неба, вмѣстѣ съ этимъ золотомъ и блескомъ. Дмитрій на минуту закрылъ глаза. Въ темнотѣ передъ нимъ пошли, расходились, разноцвѣтными огнями переливались круги, и вотъ опять рѣзко обрисовалось передъ нимъ смуглое лицо, и большіе темные глаза посмотрѣли на него такъ живо, какъ будто бы смотрѣли и въ самомъ дѣлѣ. Кряжевъ садится на ступеньку крыльца и взглядываетъ на закручьевскій берегъ...

Пѣть ему охота,—охота ему играть на гармоникѣ. И вотъ пальцы его словно сами, помимо его помышленія, начинаютъ ходить. Гармоника оживаетъ, дышитъ. То она стонетъ, плачетъ, то вдругъ звучитъ ясно, увѣренно и снова ноетъ—все тише и тише, доходитъ до шопота. Кряжевъ въ тѣ мгновенья позабылъ и Смурино, и Закручье, и все на свѣтѣ. Онъ не видалъ передъ собой грязной улицы съ торчащимъ среди нея фашинникомъ, не видалъ хрюкающихъ за заборомъ поросятъ, не видалъ колодца, торчавшаго почти передъ самыми его глазами. Онъ душой ушелъ въ гармонику, жилъ въ ней. Онъ вмѣстѣ съ тихими, дрожащими звуками, казалось, разстилался надъ землею, носился надъ этими ровными, гладкими полями и луговинами, надъ этими тихими лѣсами, по вершинамъ которыхъ пробѣгалъ лишь вѣтеръ... Онъ носился надъ этимъ бѣднымъ, ноющимъ міромъ, горевалъ вмѣстѣ съ нимъ, вмѣстѣ съ нимъ стоналъ и плакалъ его слезами. Его душа, казалось, хотѣла бы вылить разомъ въ одномъ страшномъ, потрясающемъ звукѣ всю горечь, всѣ накопившіяся слезы этого міра.

Заслышали эти странные звуки въ Закручьи и говорили:

— Ишь, бѣсы-то его тѣшатъ!

Донеслись, долетѣли эти тихіе, дрожащіе звуки до Евгеши. Скоро, скоро, улучивъ удобную минутку, побѣжитъ она къ милому. Тихіе звуки манятъ, зовутъ ее, чарующей силой влекутъ ее къ Митюхиной хатѣ... И послушно идетъ она на этотъ зовъ... Теперь прямо черезъ Вожицу бѣгать ей уже нельзя. Зима намостила, было, ей мостокъ почти прямо отъ дома къ Митюхиной хаткѣ, а весна пришла—мостокъ растопила. Евгешѣ надо или проходить Закручьемъ, по мосту, и всѣмъ Смуринымъ, или же пробираться въ поле и тамъ, насупротивъ того бугра, гдѣ живетъ Агтушка, переходить Вожицу по каменьямъ въ самомъ ея узкомъ мѣстѣ, откуда она дѣлаетъ крутой поворотъ отъ Смурина на югъ. Евгеша, конечно, избирала послѣдній путь не какъ удобнѣйшій, а какъ кратчайшій и представлявшій менѣе возможности попасться кому-нибудь на глаза... Вотъ и бѣжитъ она по-заоколицей въ поле и перескакиваетъ по сѣрымъ камнямъ съ одного на другой, а затѣмъ бугромъ проходитъ въ коноплянники и прямо къ Митюхиной хаткѣ... Кряжевъ на ту пору опустилъ гармонику къ себѣ на колѣни и низко понурилъ голову, словно все еще прислушиваясь къ летающимъ кругомъ его звукамъ. Евгеша на ходу слегка толкнула его локтемъ въ плечо и проскользнула въ сѣнцы. Кряжевъ оглянулся и дался диву: дѣвушка до сей поры захаживала къ нему обыкновенно лишь въ поздніе сумерки или вечеркомъ... „Ужъ не подѣялось-ли что у нихъ тамъ?"—тревожно пробѣжало у него въ головѣ, когда онъ

поднимался съ крыльца и шелъ слѣдомъ за дѣвушкой въ избу.

— Ну, что̀?—спросилъ онъ ее.

— Да ничего! Услыхала,—играешь... Вотъ и пришла...—отвѣчала та, усаживаясь, по обыкновенію, у оконца, чтобы видѣть, не подойдетъ-ли кто?

Въ случаѣ же неминуемой опасности при чьемъ-нибудь приходѣ, Евгеша или скрывалась на печь, или забивалась на полати къ самой стѣнѣ.

Кряжевъ сѣлъ у стола.

— Ну, поиграй!—попросила дѣвушка.

— Ужъ игралъ я, наигрался... Для тебя развѣ? Такъ и быть!.. На!..—И Кряжевъ заигралъ, напѣвая вполголоса:

Дорогая, размилая, гдѣ ты, свѣтикъ мой, живешь?
Гдѣ ты, краля, гдѣ ты, пава, гдѣ ты, павушка моя?..

Гармоника смолкла. А Дмитрій, ласково глядя на дѣвушку, съ улыбкой промолвилъ:

— Будетъ! Знаю теперь, гдѣ она у меня...

— Знаешь?—съ заигрывающей улыбкой переспросила Евгеша.—Экій ты удалой, право!..

— Ты, Митя, теперь ужъ не пойдешь никуда надолго?—немного погодя, спросила Евгеша.

— Да, надо быть, что не пойду!—отозвался Кряжевъ.

— Ну, и слава тебѣ, Господи! Хошь отдохнешь малость!—съ легкимъ вздохомъ промолвила Евгеша.—Да и я-то за тебя отдохну. А то вѣдь просто все сердечушко изныло... Дума все...

— Живешь, такъ и маешься... Какъ быть!—встряхивая волосами, проговорилъ Дмитрій.—А вотъ помремъ ужо̀, такъ покой дорогой, никто тебѣ не помѣшаетъ. Лежи себѣ бариномъ, сложивши ручки... Не надо будетъ ни огня въ кузнѣ разводить, ни о хлѣбѣ заботушки... И въ расправу не потянутъ...

Помолчали съ минуту.

— А я-то, Митя...—начала, было, дѣвушка и не кончила.

Густымъ румянцемъ загорѣлись ея смуглыя щеки, за темными бархатистыми рѣсницами спрятались ея бойкіе глаза, а губы, словно вишневымъ сокомъ окрашенныя, полураскрылись...

— Ну!—проронилъ Кряжевъ, взглядывая на нее съ недоумѣніемъ.

— Не знаю... кажется... у меня скоро ребенокъ будетъ...—докончила, наконецъ, дѣвушка и подняла свои большіе, ясные глаза и прямо, хотя и съ небольшимъ усиліемъ, посмотрѣла на Кряжева.

— Скоро!—какъ-то глухо промолвилъ Дмитрій, задумчиво взглядывая на Евгенію въ то время, какъ та крѣпко вертѣла и мяла между пальцами край своего хорошенькаго бѣлаго передника.—А каково скоро?—спросилъ онъ, какъ бы что-то соображая про себя.

— Да лѣтомъ... къ Спасу этакъ... А можетъ, и раньше...—тихо шептала Евгенія, словно легкій вѣтерокъ листочками шелестилъ...

— А знаешь что̀?—сказалъ Дмитрій.—Ребенка я возьму на воспитаніе... Мнѣ легче, да онъ же и мой. А тебѣ гдѣ съ нимъ возиться... сама, почитай, въ чужомъ домѣ живешь...

— Я и сама его пропитаю. Думаешь, не хватитъ меня, что-ли?—рѣзко возразила дѣвушка, и необычная грубая нотка зазвучала въ ея голосѣ.—Прокормлю, не бойсь! Коли дома нельзя будетъ, отдамъ на сторону... Бабка какая-нибудь за деньги-то съ радостью возьметъ. Гдѣ тебѣ возиться съ нимъ. Вонъ у тебя дѣловъ-то! А ребенокъ мой, одинъ онъ у меня... Али думаешь, испугаюсь кого, отъ сраму побѣгу? Нѣту! Что ужъ теперь!..

Опять помолчали.

Кряжевъ задумчиво барабанилъ пальцами по столу и хмурилъ брови.

— Я не къ тому это говорю, Митя!—добавила дѣвушка.—Людей не боюсь... Только страшно, знаешь, станетъ, какъ раздумаешься...

— Не ты первая, не ты послѣдняя...—ободрялъ ее Кряжевъ, но по всему было видно, что и у него въ ту минуту на сердцѣ кошки скребли.—Ты не бойсь! Обижать не дамъ тебя... и самъ съ зубами! А ежели что̀, только молви... Коли житья не станетъ отъ той злюки-то, я тебѣ сейчасъ мѣсто найду...

— Идутъ, идутъ, Митя! Бѣжи! Черезъ дворъ... Я дверь-то подержу... Скорѣй, Христа ради!.. вдругъ вскрикнула Евгенія, вскакивая съ лавки, причемъ отъ сильнаго порывистаго движенія ея черные волосы, выбившись изъ-подъ алой ленточки, волной разсыпались по ея плечамъ и спинѣ.

— Кто? Чего такое?—какъ бы съ просонокъ пробормоталъ Кряжевъ, машинально надавливая рукой гармонику, покоившуюся у него на колѣняхъ.

Гармоника издала какой-то дикій звукъ. Дмитрій быстро опустилъ ее на столъ. Гармоника еще разъ тяжело вздохнула, словно съ душой разставаясь, и смолкла... Евгеша той порой, какъ полоумная, бросилась къ двери. Глаза ея горѣли, тонкія

ноздри ея раздувались, грудь тяжело поднималась. Кряжевъ не пошевельнулся, какъ точно на него столбнякъ нашелъ... Все это произошло въ одно мгновеніе, быстро, странно, какъ во снѣ. Было, въ самомъ дѣлѣ, отчего впасть въ столбнякъ! Среди тишины, при ясномъ небѣ—вдругъ раскатъ грома...

Въ сѣнцахъ послышались шаги, дверь въ избу распахнулась. Тамъ въ полусумракъ показался сѣрый армякъ, блеснула бляха сотскаго. Изъ-за плечь сотскаго торчало еще нѣсколько головъ... Евгеша и не думала скрываться отъ глазъ, заставшихъ ее наединѣ съ Кряжевымъ. Она не бѣжала. Она теперь не могла, не хотѣла бѣжать отъ Дмитрія. Ни тетки, ни дяди и никакого Закручья въ то мгновеніе для нея не существовало. Все пропало, все куда-то разомъ правалилось у нея изъ памяти. Блѣдная, безъ кровинки въ лицѣ, неподвижная, какъ статуя, стояла она, опершись одной рукой о притолку, другую крѣпко прижавъ къ груди. Ея широко раскрытые глаза уставились на роковую дверь, на бляху, а ротъ остался полураскрытымъ, словно бы какое-то недоговоренное слово замерло у нея на языкѣ... А Кряжевъ, попрежнему, не шевелясь, сидѣлъ на лавкѣ, опустивъ руку на гармонику. Глядя со стороны, можно было счесть его за зрителя... или за человѣка, погруженнаго въ какой-то заколдованный сонъ съ открытыми глазами...

— Дмитрій!.. — разбитымъ, прерывающимся голосомъ прошептала дѣвушка.

— Постой!—остановилъ ее Кряжевъ, поднимаясь вдругъ съ мѣста и обращаясь къ сотскому.—Ну, Кондратъ Иванычъ, надо бы мнѣ теперь словечко перемолвить. Можетъ, долго не увидимся...

. . . . . .

. . . . . .

По утру рано со Смурина съѣзжала телѣга. Въ той телѣгѣ, на охапкѣ соломы, сидѣлъ Дмитрій Кряжевъ, а по бокамъ его, свѣсивъ ноги и заломивъ на затылокъ фуражки, помѣстились солдатики въ своихъ сѣрыхъ шинеляхъ и съ ружьями въ рукахъ. Штыки ярко поблескивали въ воздухѣ, когда лучъ восходящаго солнца отражался, падая на нихъ... Раздался благовѣстъ къ заутренѣ. Мѣрные звуки гулко и далеко расходились въ свѣжемъ воздухѣ среди деревенскаго безмолвія и мира.

Кряжевъ снялъ шапку, обернулся назадъ и долго пристально глядѣлъ на Смурино, еще затканное бѣлесоватымъ утреннимъ туманомъ...

Книга пятая.

I.

Колесо вертится своимъ порядкомъ.

Прошло четыре мѣсяца.

Прошумѣли весеннія воды; давно зеленѣли луга и лѣса. Рожь пошла въ трубку, выколосилась, побурѣла, пожелтѣла: налились тяжелые колосья, и по нимъ, какъ по разливному золотому морю въ вѣтеръ, волны такъ и заходили.

Учитель грайвороновской школы, по болѣзни, говорятъ, уѣхалъ въ Питеръ. Школа была наглухо заперта. Мальчики и дѣвочки уже не сбѣгались къ ней въ урочные часы. Не слышно было въ ней оживленнаго говора, звонкихъ дѣтскихъ голосовъ. Зато благочинный съ племянникомъ свободно вздохнули. Теперь ихъ красногоркинской школѣ не угрожаетъ ничто.

Кузьма Иванычъ Чирковъ прикупилъ у разорившихся помѣщиковъ еще два участка земли, почти по 6,000 десятинъ каждый. Дѣло у него шло хорошо, то-есть, шло, повидимому, прямо къ тому, что Кузьма Ивановичъ съ двумя-тремя пріятелями скоро скупятъ весь черешинскій уѣздъ и полюбовно раздѣлятъ его промежъ собою. Баре разбредутся на сторону или запишутся въ гильдію, а крестьяне пойдутъ батраками къ тому же Кузьмѣ Ивановичу и къ двумъ-тремъ его пріятелямъ. Собаки у Чиркова за послѣднее время стали еще злѣе, приказчики-молодцы бойчѣе и свирѣпѣе. Чирковскіе хутора и поселочки растутъ тамъ и сямъ, какъ грибы послѣ дождичка, въ теплую пору.

Антонъ Кудряшевъ за это время открылъ еще два кабака, такъ что весь уѣздъ черешинскій скоро будетъ въ его рукахъ и въ рукахъ двухъ-трехъ его пріятелей. Кудряшевъ взялся поить и спаивать весь крещеный людъ на всѣхъ трактахъ, на всѣхъ большихъ дорогахъ и проселкахъ. Скоро не будетъ во всемъ уѣздѣ такого глухого уголка, куда бы не заслалъ нашъ

Антонъ своего цѣловальника „со свидѣтельствомъ“ и съ питіями всевозможныхъ сортовъ. Въ городѣ, слышно, онъ собирается купить домъ. Въ Закручьи онъ открылъ еще лавку, да съ такимъ великолѣпіемъ, что общественная лавка, просто, спасовала совсѣмъ. Надъ входомъ въ лавку висѣла громадная вывѣска, на которой золотыми, аршинными буквами значилось: „Торговля А. Кудряшева“. Въ довершеніе всѣхъ прелестей, съ одной стороны крыши былъ прикрѣпленъ высокій шестъ, на которомъ болтался какой-то красный лоскутъ. И чего только нельзя было найти въ этой лавкѣ! Тутъ были и зубныя щеточки, и всякія мыла: царское, кавказская роза и другія; духи, помада, пистоны, ситцы, шоколадъ. Сюда же попалъ какой-то старый револьверъ... На стѣнѣ висѣла картина, изображавшая „убіеніе въ ордѣ князя Михаила Черниговскаго“. Подъ этимъ большимъ произведеніемъ помѣщался довольно длинный рядъ фотографическихъ карточекъ-портретовъ различныхъ знаменитостей. Словомъ сказать, такой „магазеи“ на Смуринѣ до тѣхъ поръ было и видомъ не видать, и слухомъ не слыхать.

Прокудовъ попрежнему постукивалъ на счетахъ и благополучно обсчитывалъ крестьянъ на всемъ, на чемъ было возможно. Число лѣтнихъ рабочихъ у него увеличилось; много было сдѣлано новыхъ распашекъ. Григорій Ивановичъ уже началъ жаловаться, что у желѣзнодорожной компаніи мало подвижного состава, даже платформъ не хватаетъ для перевозки хлѣба. Въ домѣ у него попрежнему тихо и чинно. Петюшку своего онъ замышлялъ отдать въ гимназію, хотя вообще надъ наукой посмѣивался и „всякіе ниверситеты“ въ душѣ глубоко презиралъ.

Писарь, послѣ открытія связи Евгеши съ Кряжевымъ, ходить къ Прокудовымъ пересталъ, какъ ножомъ отрѣзалъ. Прокудиха поменьше стала тиранить племянницу послѣ того, какъ однажды Назарычъ, подвыпивши, вышелъ передъ окно Прокудовскаго дома и заоралъ на все Закручье, что „срамъ и грѣхъ дѣвку этакъ мучить“, что „ежели никто за сироту не вступится, такъ вѣдь онъ не посмотритъ—всѣ кишки выпуститъ этой старой коргѣ, коли она еще не уймется!“ Прокудовъ, за послѣднее время особенно боявшійся пьяныхъ, настрого наказалъ своей хозяйкѣ не придираться къ Евгенькѣ напрасно, вообще не дѣлать шуму на деревнѣ,—„чортъ съ ней!“ Прокудиха открыто не перечила мужу, какъ и всегда, а за глазами, украдкой, ставила, какъ и всегда, на своемъ,—пилила и журила Евгешу, на чемъ свѣтъ стоитъ. Попрекала она ее каждымъ кускомъ хлѣба, каждой ложкой кислаго молока, и ея беременностью, и ея „Митькой-каторжнымъ“.

Евгеша молчала и все ждала, что̀ будетъ дальше. И дождалась. У нея родился сынъ. Тутъ для Прокудихи еще одной причиной стало больше упрекать Евгешу и глумиться надъ нею. Но ребенокъ, къ счастію, жилъ недолго. Онъ хирѣлъ отъ недостатка молока, все хирѣлъ и угасъ... Евгеша черезъ недѣлю же послѣ родовъ уже ходила въ поле на работу. Слабая, разбитая, съ больною грудью, еле передвигая ноги, возвращалась она по вечерамъ домой и, не поужинавъ, ложилась спать.

— Евгенька-то неможетъ, что-ли? спрашивалъ Прокудовъ.

— А ну ее! Може, опять съ кѣмъ-нибудь таскается! Мало на деревнѣ парней-то? Не углядишь за ней... Вѣдь, ужъ не первый снѣжокъ!—ехидничала Прокудиха.

А Евгеша не спала ночи напролетъ, все раздумывая о своей горемычной головушкѣ, о страшной каторгѣ, гдѣ всякія мученія ждутъ ея милаго. Въ Закручьи было единогласно рѣшено къ общему удовольствію, что „Митька уйдетъ въ каторгу“... Дѣвка тосковала, сохла, какъ цвѣточекъ на полѣ подъ холоднымъ осеннимъ вѣтромъ.

Аггушка по временамъ работалъ на дядю и, встрѣчаясь на полѣ съ сестрой, говаривалъ, смотря на ея исхудалое лицо и на безжизненные, впалые глаза:

— На что только, Евгенька, ты стала похожа!

А у Евгеньки на все только одинъ тихій отвѣтъ:—„ничего, пройдетъ!“

Аггушка также поживалъ попрежнему. Ходилъ онъ съ ружьемъ и много принашивалъ утокъ, бекасовъ и жирныхъ дупелей. То онъ продавалъ ихъ, то самъ жарилъ и ѣлъ, зазывая къ себѣ сестру, но и съ дупелей Евгеша не поправлялась. Съ Прокудовыми Аггушка знаться, почитай, вовсе пересталъ, и тѣ на него смотрѣли какъ-то искоса, какъ на волченка, котораго ласкать не охота и злить боязно, не то, что простую собаченку-дворняжку, въ родѣ Абрамки, напримѣръ, или Кряжева Василья.

Въ Митюхиной хатѣ было тихо и пусто. Не собирался въ нее по вечерамъ народъ. Гармоника безмолвно висѣла на своемъ мѣстѣ, на стѣнѣ, и паукъ по угламъ уже заткалъ ее своей сѣрой паутиной. Книж-

ки, лежавшія подъ божницей на лавкѣ, позапылились: видно, что ихъ уже давно не брали въ руки. Назарычъ шибко тужилъ по Кряжевѣ. Разъ онъ ходилъ даже въ Черешинскъ повидаться съ Дмитріемъ, но въ острогѣ ему солдатъ-инвалидъ объяснилъ, что Кряжева переслали въ губернскій городъ, что его тамъ скоро, надо быть, судить будутъ „въ открытомъ судѣ, по новому". Итти же въ губернскій городъ Назарычъ не рѣшился, потому что тотъ же инвалидъ завѣрялъ его, что его „врядъ-ли допустятъ до заключеннаго", что, говорятъ, одна какая-то барыня хотѣла, было, видѣть его, да ее тоже не допустили.

И, дѣйствительно, госпожа Водянина хлопотала о Кряжевѣ, будучи увѣрена, что все это дѣло раздуто недоброжелателями Дмитрія, что правды тутъ нѣтъ ни на грошъ. Она, при помощи своихъ знакомыхъ, составила даже небольшое письмо въ газеты, въ которомъ изображалось дѣло о недоимкѣ въ томъ самомъ видѣ, какъ оно и было въ дѣйствительности. Но письмо въ газеты не попало... Однѣ газеты боялись его напечатать, а другія за напечатаніе его просили очень дорого...

А Назарычъ горевалъ и запивалъ горькую. Съ нимъ въ кабакѣ постояннымъ сотоварищемъ засѣдалъ Абрамка и пропивалъ то шапку, то рукавицы, то свой рваный полушубокъ.

— Зимой-то въ чемъ ходить будешь, а?!—спрашивалъ его служивый, подбочениваясь и съ жалостливой улыбкой глядя на его изодранную холщевую рубаху и на голое плечо, показывавшееся изъ дыры.

— Никто, какъ Богъ! До зимы-то далече исшо, а теперь ничего—тепленько! утирая рукавомъ рубахи свои слезящіеся глазки, шепталъ Абрамка.

— А жена-то въ чемъ пойдетъ, али голая?—допрашивалъ Назарычъ съ тою же болѣзненно-жалостливой полуулыбкой. —Она и то, говорятъ, у тебя совсѣмъ какъ есть голая ходитъ...

— Для чего голая... Прикрыть-то у нея есть исшо что... сбивчиво объяснялъ Абрамка, не договаривая, что̀ такое есть у его жены для прикрытія тѣла.

— Абрамка! Ты пропащій человѣкъ, а? —съ нахальствомъ задаетъ цѣловальникъ свой обычный вопросъ, будучи увѣренъ въ полнѣйшей безнаказанности.

— Такъ точно, Лександръ Констенкинычъ! Пропащій...—соглашается Абрамка, умильно взглядывая на прилавокъ, за которымъ красовались разноцвѣтныя настойки и наливочки, а изъ-за нихъ выглядывалъ косой Констенкинычъ въ своей красной рубахѣ.

— А мы вотъ тебя въ воскресенье опять отдеремъ!—усмѣхается цѣловальникъ.

— Воля ваша... Противъ стариковъ чего же...—пробормоталъ Абрамка.

— Аспиды вы! Вотъ что!..—отозвался служивый, отплевываясь въ сторону Констенкиныча.

— Строги вы нонче что-то оченно!— надувъ губы и отворачиваясь, ворчалъ тотъ.

И такъ для Абрамки съ Назарычемъ идутъ дни за днями. Служивый иной разъ поитъ Абрамку на свои деньги и уводитъ къ себѣ спать. Тамъ онъ разсказываетъ Абрамкѣ про походы, про войну. Абрамка слушаетъ и дремлетъ подъ его розсказни. Сквозь сонъ солдатъ, расхаживающій передъ нимъ по избѣ, ему кажется все выше и выше. Усы у него оттопыриваются, глаза страшно вращаются, а голосъ гудитъ ровно и мѣрно, какъ изъ трубы. Засыпая, Абрамка крѣпко на крѣпко убѣждался, что Ларіонъ Назарычъ — его благодѣтель, другъ и такая силища, что все Смурино и съ Закручьемъ можетъ онъ въ бараній рогъ скрючить. Иной же разъ, сидя одинъ и глядя на гармонику, Назарычъ зачиналъ напѣвать одну старую пѣсенку. А въ той пѣсенкѣ сказывалось слѣдующее:

Загорѣлася въ степи ковыль трава. Былъ большой пожаръ. Одинъ младъ ясенъ соколъ подпалилъ себѣ крылышки, обжогъ ноженьки. Сидитъ онъ въ кручинѣ на камешкѣ, слетаются къ нему вороны, въ глаза смѣются надъ нимъ, „вороною подгуменною" его называютъ... Соколъ говоритъ имъ, что скоро бѣда его пройдетъ, отроститъ онъ свои крылья быстрыя, заживитъ свои ноженьки—и грозитъ:

„Я взовьюсь выше облака,
Опущуся въ ваше стадо я скорѣй стрѣлы.
Перебью я черныхъ вороновъ до единаго".

Василій Кряжевъ работалъ, какъ волъ, а мать-старуха, не говорившая толкомъ и почти не видавшаяся съ Дмитріемъ съ той самой поры, какъ онъ раздѣлился съ братомъ, теперь, когда Дмитрій попалъ въ бѣду, частенько поплакивала, оставаясь наединѣ. Она проклинала свой длинный языкъ, мысленно ругала себя за то, что сулила Митюхѣ всякаго лиха... „А, вѣдь, мы-то худого отъ него, сердечнаго, ничего не видали!" причитала она, качая своею старческою головой, а слезы въ три ручья текли по ея сморщеннымъ, желтымъ щекамъ.

Евграфъ Евстигнеевичъ съ горя много пьянствовалъ и вписалъ въ свою тетрадку еще одно стихотвореніе, въ которомъ содержались, между прочимъ, слѣдующія мрачныя мысли:

„Смерть несчастнѣйшихъ отрада,
Ты прибѣжище лишь мнѣ:
Будь за скорбь хоть ты награда
Мнѣ въ сей горестной странѣ!"

И смуринцы, конечно, ничего бы не имѣли противъ того, если бы Евграфа Зайцева въ самомъ дѣлѣ постигла таковая награда.

II.

Поучительное сказаніе объ Андреѣ Безпаломъ.

Исторія наша подходитъ къ концу. Теперь положительно нужно разобрать по косточкамъ всѣхъ нашихъ смуринскихъ знакомыхъ. Въ числѣ ихъ, конечно, и Андрей Безпалый.

Андрей Безпалый былъ кулакъ стараго закала, ни въ какіе банки и компаніи не вѣрилъ, а хранилъ деньги крѣпко у себя въ сундукѣ, подъ замкомъ, съ чрезвычайною осторожностью лишь малую часть ихъ раздавая въ долгъ. Это былъ кулакъ, непохожій ни на Антона Кудряшева, ни на Лисина, ни на Кузьму Ивановича. Онъ не столько пріобрѣталъ, сколько копилъ и скряжничалъ. Онъ не пускался въ рискованныя дѣла, не льстился на золотыя горы, а предпочиталъ итти тихимъ, но вѣрнымъ шагомъ къ обогащенію. Разбогатѣть такъ, какъ разбогатѣлъ Кудряшевъ, или Чирковъ, Безпалый, поэтому, не могъ; но по тому же самому ему и не угрожала, подобно Кудряшеву, возможность вылетѣть въ трубу. Онъ боялся выпускать деньги изъ рукъ, потому что любилъ ихъ. Купитъ онъ, примѣрно, хлѣбъ у крестьянина, и приходится ему, положимъ, уплатить продавцу рублей 30—40. Онъ никогда сразу не выдастъ всѣхъ денегъ, а отсчитаетъ сначала рублей 25, хотя въ то же время совершенно увѣренъ, что днемъ позже, днемъ раньше все равно придется ему додать послѣдніе рубли. Ему, просто, жалко разстаться съ крупною суммою.

— Зайди завтра, а не то самъ съ парнемъ зашлю!—говоритъ онъ, бывало, крестьянину, а самъ думаетъ про себя: „Пущай полежатъ исшо"...

И дѣло кончалось обыкновенно тѣмъ, что, обсчитавъ крестьянина на мѣркѣ и на вѣсѣ хлѣба самымъ безпощаднымъ образомъ, онъ еще не додавалъ ему нѣсколькихъ копеекъ съ грошами.

Какъ уже сказано, Безпалый былъ скупъ. Онъ радъ былъ заморить голодомъ всѣхъ своихъ семьянъ, лишь бы сберечь лишнюю гривну. Даже въ церкви на блюдо клалъ только по четверти копейки: для этого нарочно у него было намѣнено нѣсколько мелочи. На коробушку нищаго онъ смотрѣлъ съ тайной завистью и не разъ на досугѣ подумывалъ о томъ, какъ было бы хорошо подговорить цѣлую шайку голяковъ—человѣкъ этакъ, примѣрно, во 100—и, взявши ихъ на подрядъ, пустить по міру съ такимъ приблизительно условіемъ: во время странствованій кормись самъ изъ милостыни, а деньги и остатокъ хлѣба, яицъ и всего прочаго по возвращеніи отдавай Безпалому. „Ишь ты сколько насобиралъ! На одномъ Смуринѣ, у насъ, поди, надавали—страсть!.."—разсчитывалъ онъ, глядя нищему вслѣдъ. Понятно, что у Безпалаго милостыни не подавали.

Денегъ, наконецъ, у Безпалаго накопилось тысячъ до 7. Около двухъ тысячъ ходило по рукамъ, а пять тысячъ лежало въ сундукѣ: изъ нихъ рублей до 800 было серебромъ и золотомъ, а остальныя въ ассигнаціяхъ. И лежали у него эти денежки въ старомъ сундукѣ, въ избѣ, подъ поломъ. Онъ все собирался купить несгораемый шкапъ, когда услыхалъ, что такіе шкапы проявились на свѣтѣ. Больно полюбилась ему эта хитрая штука. Ну, не диковина-ли?—Шкапъ, говорятъ, малюсенькій, а съ мѣста не стащить; никакимъ ключемъ воръ не отопретъ его, да и въ огнѣ онъ не горитъ. Безпалый часто мечталъ о такомъ сокровищѣ и рисовалъ его себѣ въ самыхъ радужныхъ краскахъ и думалъ, что, надо быть, умнѣшая голова былъ тотъ человѣкъ, который выдумалъ этакую штуковину. Но онъ все собирался купить и все откладывалъ: ему казалось, что шкапъ больно ужъ дорогъ, и дорога будетъ его доставка. Онъ былъ человѣкъ терпѣливый, смѣтливый и былъ вполнѣ убѣжденъ, что несгораемые шкапы со временемъ должны подешевѣть, когда ихъ будетъ много, и они перестанутъ быть новинкой.

Въ ожиданіи этого времени, Безпалый навѣдывался въ сундучокъ изрѣдка—разъ или два въ мѣсяцъ. Иногда, впрочемъ, не случалось ему и ни разу въ мѣсяцъ заглянуть на свое сокровище, скопленное всякими неправдами въ теченіе болѣе, чѣмъ 30 лѣтъ. Онъ дѣлалъ, обыкновенно, смотръ своимъ деньгамъ такимъ образомъ: выживъ зачѣмъ нибудь изъ избы всѣхъ своихъ семьянъ, Безпалый запи-

ралъ ворота, при чемъ еще нѣсколько минутъ смотрѣлъ въ щели, затѣмъ такимъ же манеромъ запиралъ двери и окна и, приподнявъ двѣ половицы, вынималъ изъ-подъ пола свой завѣтный сундукъ, снималъ со шнурка довольно изрядный ключъ, висѣвшій вмѣстѣ съ мѣднымъ крестомъ на груди, и отпиралъ имъ свою сокровищницу. Тутъ онъ дрожащими руками перебиралъ золото и серебро и считалъ ассигнаціи, складывая ихъ въ пачки. Огнемъ загорались его старческіе глаза, когда золото начинало переливаться по его пальцамъ, и разноцвѣтныя бумажки такъ пріятно шелестѣли. Провѣривъ всю сумму, онъ тѣмъ же порядкомъ запиралъ сундукъ, отправлялъ его подъ полъ, заставлялъ на мѣсто половицы и, наконецъ, удостовѣрившись, что все осталось попрежнему, какъ было, отпиралъ двери и ворота. Но страшно было видѣть его, когда раздавался стукъ въ ворота, или слышался подъ окномъ чей-нибудь голосъ въ то время, какъ онъ, запершись, сидѣлъ надъ деньгами. При малѣйшемъ звукѣ, при каждомъ шорохѣ онъ весь вздрагивалъ и дрожалъ, какъ осиновый листъ; онъ зеленѣлъ въ лицѣ, губы у него подергивались, и всѣмъ своимъ туловищемъ онъ наваливался на сундукъ, словно желая прикрыть его: поминутно оглядывался онъ назадъ, а жилистыя руки его такъ и впивались въ края сундука, будто вотъ-вотъ сейчасъ оторвутъ его отъ его сокровищъ.

Старательно хранилъ Безпалый въ тайнѣ свое сокровище и успѣлъ въ томъ. Ни жена, ни дѣти не подозрѣвали, что за печкой подъ грязными, щелеватыми половицами таилось богатство; хотя, разумѣется, они—какъ и всѣ сосѣди—не могли не знать, что деньги у старика есть, гдѣ-то запрятаны. Старшій сынъ его, парнюга лѣтъ 25, сильно почему-то подозрѣвалъ, что кладъ скрытъ гдѣ-нибудь въ огородѣ, и въ отсутствіе старика не разъ уже принимался рыть въ огородѣ землю тамъ и сямъ. Кладъ не давался. А старикъ, смекая о сыновнихъ стремленіяхъ, со злостью усмѣхался себѣ въ бороду, смотря на землю, словно изрытую кротомъ. За сынкомъ Безпалый приглядывалъ въ оба.

Какъ обыкновенно случается при такихъ обстоятельствахъ, о богатствѣ Безпалаго составилось совершенно невѣрное понятіе. Добрые люди насчитывали у него тысячъ до 50 и даже болѣе. Понятно, что при всякомъ удобномъ случаѣ добрые люди давали знать Безпалому, что они тоже кое-что знаютъ на счетъ его капиталовъ. Иные просто шутили; другіе же думали этимъ путемъ добиться отъ старика правды. Безпалый чуть не плакалъ.

— И что это я дался имъ, прости Господи! Ровно сшалѣли! — плачевнымъ тономъ говорилъ онъ.—Капиталы, у меня-то капиталы? Пресвятая Богородица! Нѣшто я торговлю завожу, лавки открываю въ городѣ? Какъ есть ничего. Хлѣбца по осени скупишь малость, да и то наплачешься. Вотъ у Кудряшева Антона—капиталы. У Кузьмы Ивановича... Это такъ! А я... Что я?.. Гм! Языкомъ только, видно, постучать охота!

И не мало безпокоило Безпалаго то преувеличенное понятіе, которое составилось на Смуринѣ о его капиталахъ.

Наконецъ Безпалый рѣшился-таки выписать несгораемый шкапъ. Сынъ его написалъ письмо, и письмо съ деньгами отправили, куда слѣдовало. Недѣли черезъ двѣ шкапъ долженъ былъ прибыть на Смурино.

И вздумалось Безпалому передъ полученіемъ шкапа поглядѣть на деньги, тѣмъ больше, что съ Пасхи, почитай, онъ не заглядывалъ въ завѣтный сундучекъ. Кромѣ старухи, въ ту пору всѣ были на полѣ. Старуху онъ послалъ за дрожжами въ лавку къ Прокудихѣ, совершенно вѣрно расчитавъ, что она заговорится тамъ. Запершись и затворивъ окно, отстоявшее, впрочемъ, высоко отъ земли, Безпалый приподнялъ половицы и, вставъ на колѣни, заглянулъ въ подполье. Сундукъ стоялъ на своемъ мѣстѣ, но Безпалаго поразило одно странное обстоятельство. Когда онъ взялся за скобку и пошевелилъ сундукъ, какія-то двѣ маленькія черныя тѣни, изъ земли, ровно, взявшіяся, скользнули прочь и скрылись въ темнотѣ. Когда онъ приподнялъ сундукъ, то въ подполье посыпалась откуда-то какая-то сѣрая труха. Старикъ обратился спиной къ окну, какъ бы все еще боясь недобрыхъ взглядовъ, поставилъ сундукъ межъ колѣнъ и осмотрѣлъ его сверху и съ боковъ. Все какъ слѣдуетъ... Снялъ онъ крестъ, взялъ ключъ, отперъ замочекъ и наконецъ поднялъ крышку... Поднялъ и замеръ, такъ вдругъ и припалъ грудью и лицомъ въ сундукъ. Золото и серебро выкатилось изъ проѣденныхъ мѣшечковъ и лежало кучей въ углу сундука. А ассигнацій не было. На мѣстѣ красивыхъ пачекъ лежала одна сѣрая груда мелко-на-мелко изъѣденной бумаги. Въ днѣ сундука, въ углу, чернѣла маленькая дырка, и сѣрый, глупый мышенокъ бѣгалъ неслышно по дну, метался какъ угорѣлый изъ угла въ

уголъ... Безпалый качнулся, тяжело опустилъ руку въ этотъ сѣрый ворохъ, копнулъ его. Вся рука ушла въ него. То была мышеѣдина. Лишь 3—4 цѣлыхъ уголка съ номерами показались изъ дрязгу...

Безпалый опять низко наклонился надъ сундукомъ и опять замеръ. Онъ не промолвилъ ни словечка, не заплакалъ, не простоналъ. Только его сухія, старческія руки еще крѣпче ухватились за края ящика, да кровью налившіеся глаза еще напряженнѣе слѣдили за мышенкомъ. Безпалый тяжело дышалъ, и отъ его усиленнаго дыханія сѣренькіе махотные лепесточки старыхъ ассигнацій разлетались по сундуку. А мышенокъ, крутя мордочкой, метался и совался туда и сюда. Безпалый не слыхалъ, какъ уже давно и сильно стучали въ ворота и подъ окномъ возвратившіеся съ поля работники и пришедшая съ дрожжами старуха. Безпалый весь, казалось, со всей душой ушелъ въ эту сѣрую груду, оставшуюся отъ его богатства, въ этого юркаго мышенка, сновавшаго почти передъ самымъ его побѣлѣвшимъ, сморщеннымъ лицомъ. Вдругъ онъ схватилъ мышенка рукой, мышенокъ пискнулъ: Безпалый выпустилъ его, откачнулся и силою захлопнулъ крышку. Его сѣдые волосы растрепались. Глаза, налившіеся кровью, казалось, хотѣли выпрыгнуть и лопнуть. Жилы, какъ веревки, напряглись на его лбу...

Семьяне, между тѣмъ, въ сопровожденіи сотскаго, сельскаго старосты и нѣсколькихъ сосѣдей, выломавъ одну воротину и сорвавъ съ петель двери, вошли въ избу. Все мигомъ объяснилось. Андрей Безпалый рехнулся.

— Подайте мнѣ коробушку! По міру пойду!—дребезжащимъ голосомъ говорилъ старикъ, обращаясь къ окружающимъ, тряся своею сѣдой головой и дико блуждая по сторонамъ помутившимися очами.

Старуха ревма-ревѣла нѣсколько дней сподрядъ, а сынокъ ругалъ сумасшедшаго старика елико возможно. Еще бы! Ему такъ давно хотѣлось завести себѣ хорошую верховую лошадь, поясъ съ серебряными украшеніями и красивое черкесское сѣдло, такое вотъ, какъ у Кудряшевскаго племянника. А отецъ не раскошеливался, денегъ не давалъ. А теперь — смѣхъ сказать — деньги мыши съѣли!

Сумасшедшій велъ себя тихо. Сидитъ онъ, бывало, въ уголкѣ и пишетъ себѣ черточки уголькомъ на стѣнѣ или на дощечкѣ,— все какіе-то счеты сводитъ и не можетъ свести. Только не могутъ на него креста надѣть. Какъ только замѣтитъ старикъ на себѣ знакомый черный шнурочекъ, такъ сейчасъ и начнетъ его передергивать и рвать съ шеи, все что-то отыскивая на немъ. Да не могъ онъ еще видѣть мышей. Завидитъ мышь, — весь затрясется, задрожитъ и дышитъ такъ тяжело, какъ будто бы съ версту бѣгомъ пробѣжалъ, глаза дико выкатываются и слѣдятъ за сѣрою тѣнью, а сѣдая голова все наклоняется и наклоняется впередъ...

III.

Лисинъ и его литературная дѣятельность.

Лисинъ по веснѣ выхлопоталъ отъ земства сѣмянъ на посѣвъ, и это сильно ободрило артельщиковъ. Они прямо говорили:

— Вотъ оно, артель-то! Земство артели-то вѣритъ на слово. А сунься-ко кто ни на есть отъ себя въ одиночку,— шишъ возьмешь!..

Лисинъ уже прибиралъ къ рукамъ артельное дѣло. Везти осенью гвоздь на продажу поручили ему. Онъ же подговорилъ смуринцевъ написать адресъ губернскому земскому собранію. Крестьяне охотно согласились на то, узнавъ, что для составленія и поднесенія адреса новыхъ поборовъ не сойдетъ съ нихъ. Лисинъ написалъ адресъ; адресъ былъ милостиво принятъ. Господинъ Вальдъ не нарадовался на смуринскую кузнечную артель и съ жаромъ потиралъ себѣ руки.

Лисинъ даже описалъ (только несовсѣмъ правдиво) всю свою дѣятельность по артельному дѣлу, причемъ о Кряжевѣ не промолвился, разумѣется, ни полсловомъ. Статью свою онъ послалъ въ Москву, и тамъ въ одной сѣренькой газеткѣ она была напечатана въ сокращенномъ и въ исправленномъ видѣ. Конечно, мы могли бы желающихъ отослать къ тому номеру сѣренькой газетки, гдѣ появилась эта статья; но, къ сожалѣнію, въ газеткѣ, вмѣстѣ съ патетическими мѣстами, оказались выброшены и очень характеристическія стороны писанія Ильи Петровича. Поэтому для любознательныхъ читателей мы приводимъ всю статью цѣликомъ, не исправляя даже ошибокъ. Нелюбознательные читатели могутъ прямо перейти къ продолженію *романа,* то-есть къ слѣдующей главѣ.

Вотъ статья Лисина.

„Появленіе антихриста или распрост-

раненіе промышленности на артельныхъ началахъ по черешинскому уѣзду".

(Въ началѣ Лисинъ вдается въ описаніе мѣстности и кузнечнаго промысла вообще, а затѣмъ переходитъ къ изображенію кулаческихъ продѣлокъ и изображаетъ ихъ обстоятельно, съ знаніемъ дѣла, такъ какъ самъ по этой части былъ ходокъ).

„Железо начнетъ отпускать на не дельную заработку (—рѣчь идетъ о кулакѣ), скала на которую кладетъ железо грузнее противу другой на 1/2 фун. а иногда и 3 3/4 фун. то онъ этимъ недовольствуется беретъ тутъ уже подготовленные особые гири такъ же антиресные для него на фунтикъ или и два и тутъ на каждую руку утянетъ коп. на 15 ну кажется и остатся бы слѣдовало довольнымъ—анъ не тутъ то было—рабочей беретъ муки онъ и тутъ употребляетъ туже химію что и при железѣ, начнетъ ращитываться, если и круглымъ числомъ монета приходится все таки онъ постарается выдать деньги чтобъ не доплатить 1/2 или 3/4 к. удовлетворяя словами: дружекъ денегъ такихъ нѣтъ въ другой разъ до дамъ, вотъ беднякъ и пошелъ съ ращетомъ кругомъ обобранный и такимъ образомъ Эти заборщики за кабалили всехъ бедняковъ кузнецовъ представляя себѣ воздушный планъ такимъ образомъ провести всю свою жизнь, но вотъ является соперникъ Этимъ безъ жалостнымъ фараонамъ и хочетъ вырвать изъ ихъ рукъ многострадающее еврейское племя—бедняковъ кузнецовъ Это Наша Земская Управа она вникла въ тонкіи подробности беднаго народонаселенія Этой страны... Нетъ вероятно вопль страдающихъ сихъ людей дошелъ до ушей Все Вышняго Создателя который и сжалился надъ симъ жалкимъ племенемъ. Одинъ изъ Уѣздныхъ гласныхъ некто Лисинъ зимой 1872 г. начинаетъ жаркія сношенія съ членомъ Земской Управы Фед. Ив. Вальдомъ и проситъ его обратить его вниманіе на такое жалкое положеніе упомянутыхъ бедныхъ людей и вотъ Г. Вальдъ соглашается открыть въ Этой мѣстности артель и устроить складъ въ С. Смуринѣ, Лисинъ созываетъ сходъ предлагаетъ крестьянамъ таковые мѣры и конечно съ охотою согласились, въ скоромъ времени уставъ былъ отосланъ въ Управу и сія послѣдняя въ министерство на утвержденіе...

„Узнали объ Этомъ предпріятіи (фараоны и погнались за евреями), местные торговцы подняли садомъ начали искать все возможные средствы какъ бы помешать Этому дѣлу, (пришло имъ на память что придется самимъ работать когда рабство это выпустютъ изъ рукъ). начали просить объ Этомъ Волостного Старшину Сем. Вас. а нужно за метить что и онъ такъ же изъ ряда кулаковъ а одинъ более по проворнее некто (по всему вѣроятію, подъ этимъ „проворнымъ" Лисинъ разумѣлъ писаря) обратился даже и къ Мировому Посреднику, глядь вслѣдъ за нимъ поѣхалъ по Этому же дѣлу къ Посреднику и Волостной Сторшина, возвратяся въ С. Смурино некто принялъ самые усиленные мѣры разглашенія что будто бы посредникъ хочетъ Это дѣло преостановить да и Волостной Старшина принялъ сторону торговцевъ объясняя, что будтобы посредникъ ему сказалъ, что содѣйствій ни какихъ не дѣлай а тутъ-то и налапу врагамъ добраго дѣла, и вотъ Старшина обратился явнымъ врагомъ къ сочувствію бедныхъ крестьянъ...

А местные торговцы—кулаки начали проповѣдывать изъ словъ апокалипсиса что дескать Это не отъ Бога и не земство помогаетъ что будто бы Они сами справлялись въ Земской Управѣ тамъ и знать не знаютъ и ведать не ведаютъ про это а Это появился Антихристъ и вотъ хочетъ въ свою веру насъ всехъ пригнать сулитъ денегъ, даромъ, хочетъ давать хлѣбъ за дешовую цѣну работать на насъ даромъ и вотъ когда онъ Этакъ къ себѣ притянитъ побольше потомъ всехъ и заклеймитъ на рукахъ своею печатью, гдѣ Это вижена чтобъ даромъ впередъ денегъ давать, а вотъ если мы всѣ вооружимся да за одно сердца скажимъ (тутъ Лисинъ, очевидно, говоритъ отъ лица своихъ фараоновъ) что намъ ничего не надо и ихъ всехъ управителей погонимъ къ *цорту* изъ своей *вотцыны* вотъ мы и хорошо *сдѣлуемъ* (Лисинъ передразниваетъ смуринцевъ), да нетокмо ихъ деньги аль хлѣбъ брать такъ мы бы несовѣтовали съ ихъ служащими и говорить то (нѣсколько непонятно), гляди ти ка вонъ какъ самого то главнаго Илью Петровича большими... словами отчестили а старшина хочитъ взять метлу да Илью то Петровича да погнать вонъ изъ вотцыны Посредникотъ нашъ веть тоже не на ихнею руку тянетъ, а крестьяне говорили что намъ все равно сголодуто помирать такъ пусть клеймитъ нетолько что руку но хоть и все бока пусть заклеймитъ, однако Управа не обратила на Это вниманіе! и предпріятіе на С. Смуринѣ открылось подъ управленіемъ выше упоминаемаго деятеля изъ Уѣздныхъ Гласныхъ Ильи Петровича Лисина".

Особенно же много и подробно распространялся Лисинъ о „вышеупомянутомъ дѣятелѣ изъ уѣздныхъ гласныхъ“, имя котораго въ рукописи у него было дважды подчеркнуто...

„На первыхъ порахъ действительно много претерпѣлъ уполномоченный земской управы Лисинъ, да хоть бы безъ обидно и более извинительнее было что отъ не образованныхъ но и даже довольно порядочныхъ людей, такъ одинъ случай былъ въ помещеніи Волостного Правленія, Господину Лисину нужно было явиться въ Волостное Правленіе и въ Это время въ канцеляріи находились Старшина, Писарь и одинъ изъ Сельскихъ старостъ по прибытіи Лисина чрезъ несколько минутъ Является полупьяной Антонъ Вас. Кудряшовъ изъ зажиточныхъ местныхъ торговцевъ, по здоровавшись съ Старшиной безъ всякой церемоніи начинаетъ речь это зачемъ сюда чертово земство-то Лисинъ оборотясь спросилъ что Вамъ нужно господинъ Кудряшовъ— а онъ на отвѣтъ посыпалъ скверные слова разныхъ выраженій сдѣлался весь въ изступленіи то надевалъ то скидывалъ съ головы картусъ и когда Лисинъ обратился къ Старшинѣ чтобы остановить г. Кудряшова ругатся и притомъ въ Волостномъ Правленіи то Старшина съ поспехомъ всталъ со стула и смеясь удалился въ другую комнату и темъ далъ поводъ господину Кудряшову долее произносить ругательныхъ словъ а затѣмъ и другіи должностные лица (—очевидный намекъ на Евграфа Евстигнеевича) въ свою очередь ничего не сказали и тѣмъ оказывая будтобы они Этимъ исполняли какую либо волю Начальства и такимъ образомъ Господинъ Лисинъ долженъ былъ волею и не волею Удалится...

„Другой разъ довелось пройти Лисину мимо кучки торговцовъ и въ среди ихъ стоялъ наставникъ красногоркинскаго Училища человѣкъ еще молодой не кончившей Семинаріи некто Сем. Васильевъ и вероятно торговцы относясь къ Лисину съ большой враждой толковали что нибудь подсмеять и только что Лисинъ удалился отъ толпы саженей на 30 или 40 вдругъ! этотъ молодой человѣкъ недоучка возвышеннымъ голосомъ началъ кричать Илья Петровичь! Илья Петровичь! купити у меня железо тогда какъ у него не токмо иметь своего железа но и штанишки то чужіе да и много подобныхъ случаевъ встречалось...

Нужно было заключить условіи въ Волостномъ Правленіи о заимѣ денегъ изъ Управы, условіи сіи были подготовлены въ самой Управѣ и переданы для подписи договаривающихъ лицъ и засвидѣтельствованія въ Правленіи Уполномоченному Управы Лисину, только что Лисинъ послалъ къ Г. Старшинѣ Артельнаго Старосту Горѣлаго для разсмотрѣнія условія и спросить когда явится къ свидѣтельствованію, но Старшина не принимая отъ Горѣлова условія въ руки посыпалъ разные ругательства и угрозы если они согласятся на сбытъ своихъ изделій посредствомъ склада. Староста Горѣловъ возвратился опечаливши, Лисинъ обращаится самъ къ Старшинѣ и проситъ его привѣсти выполненіе порученное ему Управою дѣло разъясняя все законное его требованіе, Старшина въ отвѣтъ сказалъ что Онъ засвидѣтельствовать этого условія хотя и законнаго не согласенъ безъ разрешенія Посредника—пусть крестьяне выправятъ разрешеніе тогда онъ изасвидѣтельствуѣтъ, и на все убежденія на все прозбы Лисина не соглашался на конецъ Лисинъ удаляется... Не смотря на худую погоду и испорченную дорогу скоро приѣхалъ много заботящейся о бедныхъ крестьяныхъ Членъ Управы добрый Фед. Ив. Вальдъ и обратился къ Старшинѣ но Старшина и Г. Вальду началъ отказыватся что онъ боится Г. Посредника да ему и некогда явится въ Волостное Правленіе много дѣла на дому но Фед. Ив. убедилъ...

„Кулаки торговцы стараются помешать сбыту издѣлій всякими фокусами отчего действительно несколько затрудняютъ сбытъ а такъ же ругательствами и насмѣшками не оставляютъ г. Лисина при встречахъ и недавно подобно Кудряшову Антону оскорбилъ его Г. Прокудовъ весьма человѣкъ необстоятельный, сказываютъ этотъ Прокудовъ за какое то повѣденье хотѣлъ выстегать племянницу девицу Евгенію а у насъ нынче и бабъ стегать не велятъ, но все таки артель выиграла значительную цыфру! они получили чистой пользы отъ заборщицкой продажи по 1 р. 25 к. въ неделю на рабочую руку и взнакъ благодарности къ содѣйствію Управы къ распространенію промышленности и избавленію ихъ отъ рабства фараонова артельщики 14 сего мая составленнымъ протоколомъ положили просить Черешинское уѣздное Экстрѣнное Земское собраніе благодарить Губернское Земское собраніе и Управу, каковой протоколъ вручонъ былъ Гласному Ильѣ Петровичу Лисину и собраніе съ сочувствіемъ приняло такое ходатайство и поручило къ исполненію“...

Добавлять же что бы то ни было къ этому писанію мы считаемъ совершенно излишнимъ.

IV.

Солнечный поцѣлуй.

Іюль идетъ къ концу.

Полдень. Солнце своимъ горячимъ окомъ смотритъ на землю съ небесной высоты. Ни одного облачка на небѣ. Вѣтерокъ не подуваетъ. Знойно, удушливо. Не слышно ни собачьяго лая, ни птичьяго пѣнія, ни голосовъ людскихъ—никакихъ звуковъ. Все притихло, все замерло, все млѣетъ въ какой-то тягостной истомѣ. Лишь изрѣдка затрещитъ ненадолго кузнечикъ и смолкнетъ. Гдѣ-то далеко подъ лѣсомъ нѣтъ-нѣтъ да и скрипнетъ коростель, прожужжитъ пчела, пролетитъ жукъ, блестя въ раскаленномъ воздухѣ своими металлическими крылышками, насѣкомыя-мелюзга нѣтъ-нѣтъ да и затолкутся въ воздухѣ, вдругъ Богъ вѣсть откуда-то взявшись. А солнце нещадно жжетъ и палитъ согнутыя спины жницъ. И падаетъ, падаетъ спѣлая, колосистая рожь подъ острыми серпами. Индѣ желтые снопы лежатъ рядами, индѣ они уже стоятъ въ суслонахъ подъ нахлобученными шапками.

Жнетъ и Евгеша съ работницами на прокудовской полосѣ.

Она подобрала одинъ край юбки, разстегнула у рубахи воротъ. Лицо ея раскраснѣлось, такъ пышетъ, какъ бывало въ лучшіе дни. Она въ башмакахъ на босу ногу, но жнива все же колетъ ей ноги до крови.

Дѣвушка дышитъ тяжело. Ей жарко, душно—не въ моготу. Острый серпъ неровно ходитъ въ ея усталой рукѣ. Мутнымъ взоромъ оглядываетъ она разстилающееся кругомъ нея колосистое море. Море, казалось ей, не убывало, а напротивъ все разливалось дальше и дальше своими золотыми волнами—уходило изъ вида вонъ. Страшное море,—оно, казалось, такъ и заливаетъ дѣвушку совсѣмъ, ровно хочетъ потопить ее въ своихъ глубокихъ золотыхъ волнахъ. Смутная, болѣзненная дума застыла на лицѣ Евгеши... Не о Кряжевѣ-ли эта дума?..

Черезъ нѣсколько загоновъ отъ Евгеши, немного позади ея, жала Абрамкина жена—женщина полубольная, изможденная, въ одной грязной, дырявой рубахѣ, мало прикрывавшей ея костлявое тѣло. Она не разъ видѣла, какъ Евгенія подходила къ ведру и пила воду, какъ не разъ она выпрямлялась и прикладывала руку къ лѣвому боку, словно къ чему-то прислушиваясь.

— Никакъ заморилась?—крикнула ей работница.

— Нѣту! ничего...—не оборачиваясь, промолвила Евгеша.

Бабенка жала прилежно, не разгибаясь, вся обливаясь потомъ. Лишь съ боку поэтому она могла видѣть дѣвушку.

И вышло такое мгновеніе, когда искоса, но ясно баба примѣтила, что дѣвушка вдругъ зашаталась, словно пьяная, серпъ ея скользнулъ по высокой ржи, не задѣвъ и не срѣзавъ ни одного колоска. Одной рукой Евгеша какъ будто чего-то заискала въ воздухѣ, словно бы за что-нибудь хотѣла ухватиться, отчаянно вскинула головой и повалилась ничкомъ въ рожь... Все это въ одно мгновеніе произошло.

— О, Господи, Царица небесная! Ужъ не солнцемъ-ли ее ударило! — невольно сорвалось у бабы съ языка.

Сторожко подошла она къ лежавшей дѣвушкѣ и заглянула въ рожь.

Дѣвушка продолжала лежать ничкомъ, припавъ щекой къ сухой глыбѣ земли. Лѣвую руку она прижала къ груди, а изъ правой не выпускала крѣпко зажатаго серпа. Лицо ея было спокойно, не дрожалъ на немъ ни одинъ мускулъ. Глаза сомкнуты. Ротъ слегка пораскрытъ, какъ бы для послѣдняго словечка. Яркій, солнечный лучъ золотой полоской падалъ на распустившіеся черные волосы. На поблѣднѣвшемъ лицѣ отъ склонившейся ржи, чуть-чуть колеблясь, дрожали и передвигались легкія, длинныя тѣни.

— Евгенія! А, Евгенія!—тихо окликнула баба.

Дѣвушка не шевельнулась, не отвѣтила на зовъ. Только изо рта у ней показалась бѣлая пѣна. Побѣжала баба къ другимъ женщинамъ и разсказала. Тѣ пришли, посмотрѣли, потолковали...

— Какъ ее ворошить-то станешь! Може, и померла. — Богъ знаетъ! разсуждали бабы.

Пуще всего, разумѣется, боялись онѣ: „кабы ихъ къ суду не притянули“. Порѣшили оповѣстить на деревнѣ. Пришелъ староста со своего гумна, прибѣжала Прокудиха и, разинувъ ротъ, долго и безсмысленно глядѣла на „убитую солнышкомъ“ дѣвушку. Прибѣжали парнишки и издали глядѣли на то мѣсто, гдѣ лежала Евгеша. Староста приказалъ принесть рогожу и прикрыть дѣвушку, не трогая ея съ мѣста до пріѣзда доктора и станового.

— Охъ, грѣхи, грѣхи! Въ самую то пеь рабочую пору угодила... Э-э-эхъ! Пра-

во... когда тутъ...—ворчалъ староста, качая головой.

Становой въ ту пору былъ на слѣдствіи въ другомъ концѣ уѣзда. Его приходилось ждать дня два или три...

Бабы, глядя на Евгешу, всплакнули: всплакнула заодно съ ними кстати и Прокудиха. Не пожалѣла-ли она Евгешу? Не стало-ли жутко ей, когда она припоминала, что эти глаза, теперь закрытые на вѣки, такъ часто и горько плакивали изъ-за ея надругательствъ?

Прикрыли Евгешу бабы рогожей и разошлись...

Солнце попрежнему жжетъ и палитъ землю, жжетъ и палитъ согнутыя спины жницъ. Рожь попрежнему падаетъ и подаетъ на колючую жниву...

V.

Въ залѣ суда.

Въ тотъ же самый день всѣ жители губернскаго города толпились въ залѣ и на хорахъ дворянскаго собранія. Въ залѣ собранія на этотъ разъ засѣдалъ судъ по дѣлу Кряжева, обвинявшагося „въ распространеніи ложныхъ толковъ и въ возбужденіи крестьянъ къ неповиновенію". Зала и хоры были набиты биткомъ... Хотя окна были всѣ растворены настежь, но въ залѣ было нестерпимо душно... Припахивало и смазными сапогами, и тончайшими духами. Съ улицы проникала пыль, и изрѣдка доносился дребезжащій стукъ проѣзжавшихъ дрожекъ и скрипъ телѣги.

Дмитрій Кряжевъ явился въ судъ, какъ на праздникъ. Онъ былъ въ синёмъ суконномъ полукафтаньи, подпоясанномъ пестрымъ кушакомъ. Бѣлая рубаха виднѣлась на груди. Волосы его были приглажены. Онъ неподвижно сидѣлъ на скамьѣ, опустивъ руки на колѣни. Лицо его было совершенно спокойно. Равнодушно смотрѣлъ онъ на секретаря, читавшаго обвинительный актъ.

По прочтеніи акта, начался, какъ водится, допросъ и передопросъ свидѣтелей. Свидѣтели со стороны обвиненія немилосердно путались въ своихъ показаніяхъ, особенно старшина. Только Лисинъ, красногоркинскій учитель и приказчикъ Чиркова говорили складно и ладно, всѣ трое одно и то же, ровно по книгѣ твердили. Наконецъ, допросы кончились. Послѣ рѣчи прокурора дошла очередь до защитника подсудимаго. Защитникъ говорилъ довольно много, немного красно, немного темновато, вообще же—недурно.

— Вотъ наговорилъ-то... Ай да ну!—невольно прошепталъ Кряжевъ, съ изумленіемъ оглядывая съ головы до ногъ защитника, когда тотъ, утирая съ лица потъ платкомъ, усаживался на мѣсто.—Вотъ-то говорокъ! Диковина!..

Когда уже въ концѣ засѣданія предсѣдатель обратился къ подсудимому съ вопросомъ: „Не имѣетъ-ли онъ еще что-нибудь сказать отъ себя?"—тотъ медленно поднялся съ мѣста и, заложивъ руку за кушакъ и поднявъ голову, приготовился сказать что-то. Мертвая тишина разомъ воцарилась въ залѣ. Было слышно, какъ мухи, жужжа, стукались въ верхнія стекла оконъ. Было слышно, какъ секретарь переворачивалъ листы...

— Я скажу только, что не грѣшенъ... Нѣтъ моей вины!—спокойнымъ, ровнымъ голосомъ сказалъ Кряжевъ.—А коли я завсегда стоялъ за обчество, такъ... ну, и стоялъ! Въ этомъ не отопрусь... Нѣтъ моей вины...

Кряжевъ махнулъ рукой и сѣлъ.

На глазахъ его въ тѣ минуты какъ будто блеснула слеза... Слеза-ли? Можетъ быть, просто заходящее солнце ударило на ту пору ему въ глаза своимъ лучомъ,—и глаза блеснули...

Присяжнымъ были заданы три вопроса, и они удалились изъ залы засѣданія въ сосѣднюю комнату. Тогда было половина девятаго часа.

Пробило 9, пробило 10, пробило 11... Публика ждала, томилась. Большая люстра и свѣчи на столѣ предсѣдательскомъ уже давно горѣли. Издали откуда-то слабо доносились звуки музыки. Въ окна не вѣяло прохладой; въ залѣ было попрежнему душно. Заря уже потухала; ея послѣднія краски, расплываясь, гасли за темными верхушками садовъ, кровель и трубъ городскихъ зданій. Въ небѣ блѣднымъ свѣтомъ загорались звѣзды...

Кто-то крикнулъ съ хоръ: „Воды! Воды!"—Какой-то барынѣ тамъ сдѣлалось дурно... Да! Не одно чувствительное женское сердце въ то время билось учащеннѣе и тоскливо замирало въ ожиданіи приговора надъ „несчастнымъ простолюдиномъ".

И публика ждала, не расходилась.

Кряжевъ, повидимому, былъ не столько удрученъ, сколько, просто утомленъ. Онъ слегка измѣнился въ лицѣ, поблѣднѣлъ. Его синій казакинъ, блѣдное лицо, бѣлая рубаха и вообще вся его могучая, дюжая фигура рѣзко отдѣлялась отъ окружающаго его мелконькаго, толстопузенькаго люда въ черныхъ сюртукахъ...

Наконецъ, въ ту самую минуту, какъ на соборной колокольнѣ било полночь, дверь широко растворилась, вышли присяжные, и старшина на всѣ три вопроса внятно проговорилъ среди гробового безмолвія:

— Нѣтъ! Не виновенъ!

На темнѣвшихъ хорахъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ разомъ послышались робкія рукоплесканія, но тотчасъ же смолкли, лишь только раздался порывистый звонъ предсѣдательскаго колокольчика.

— Дмитрій Михайловъ! — возгласилъ торопливо предсѣдатель, обращаясь къ Кряжеву.—Вы оправданы по суду! Вы свободны... можете итти!

Кряжевъ поклонился, взялъ со стула свою шапку, оглянулся на собраніе, какъ бы только что замѣтивъ его, и, пожавъ руку защитнику, пошелъ вмѣстѣ съ нимъ къ выходу...

Въ ту же ночь Кряжевъ оставилъ городъ, потомъ сѣлъ на чугунку и на другой день ввечеру уже подходилъ къ роднымъ мѣстамъ.

VI.

Памятная ночь.

Когда Кряжевъ подходилъ къ Смурину, наступала уже ночь тихая, теплая, и набрасывала на землю синія тѣни. На безоблачно темно-синемъ небѣ мерцали звѣзды. Вечерняя заря золотою полоской догорала надъ лѣсистыми холмами. Мѣсяцъ краснымъ, кровавымъ шаромъ низко висѣлъ надъ потемнѣвшими полями. Кряжевъ шелъ не скоро, поглядывая на раскидывавшееся передъ нимъ вдали Смурино.

Вдругъ онъ замѣтилъ въ двухъ-трехъ шагахъ отъ дороги на жнивѣ что-то темное. Онъ ступилъ въ сторону, глянулъ пристальнѣе... Что-то лежитъ прикрытое рогожей, какъ будто бы человѣческое тѣло. Кряжевъ наклоняется, приподнимаетъ рогожу, — и вотъ передъ нимъ блѣдное лицо, завѣшенное прядями черныхъ, шелковистыхъ волосъ. Лицо—холодно, безжизненно... Мгновеніе — и рогожа выпала у него изъ рукъ и снова закрыла лицо. Но для Кряжева было довольно. Въ одинъ мигъ онъ много увидалъ, увидалъ все и все уразумѣлъ... На него, словно прищурившись, глянули изъ-за темныхъ рѣсницъ полузакрытые глаза... знакомые глаза.

Кряжевъ провелъ по лицу рукой, какъ бы думая проснуться. Но рогожа тутъ, передъ нимъ... И не можетъ онъ отвести отъ нея глазъ...

Въ головѣ его не являлось никакой опредѣленной мысли. Никакого яснаго чувства не поднималось въ его душѣ. Только смутно, какъ бы сквозь сонъ, чудилось ему, что въ сердце ему словно тупымъ ножомъ хватили и поворачивали тамъ... Такъ вотъ и рѣжетъ, и рѣжетъ. Въ ногахъ чувствовалась слабость, ровно его кто-нибудь невидимо желѣзными цѣпями стреножилъ. Въ головѣ и въ ушахъ шумѣло, ровно бы гдѣ поблизости вдругъ плотину прорвало, или безчисленныя стаи птицъ проносились надъ его головой. Въ глазахъ какъ-то странно все мутилось и волновалось. И ближній къ нему суслонъ, скривившійся на бокъ, и темный лѣсъ въ сторонѣ, и крупныя звѣзды, ставшія какъ будто бы еще крупнѣе, и красный мѣсяцъ, и высокая, бѣлая колокольня за Смуринымъ—все вдругъ тихо заплавало, заходило ходенемъ кругомъ него. Ни тогда, ни впредь Кряжевъ не могъ съ точностью опредѣлить: долго-ли онъ оставался *тамъ*, надъ рогожей. Ему казалось, что очень, очень долго...

Почти безсознательно брелъ онъ къ Смурину по знакомому межнику, медленно и тяжело ступая и пошатываясь. Слишкомъ ужъ неожиданно на этотъ разъ застигла его бѣда. Все лично для него дорогое и близкое, все, жившее въ тайникахъ его личнаго міра, было разомъ подкошено, убито и выброшено вонъ.

„Ея ужъ нѣтъ на свѣтѣ!..“ Вотъ что первое не подумалъ, а, вѣрнѣе сказать, почувствовалъ Кряжевъ и почувствовалъ всѣмъ своимъ существомъ разомъ, почувствовалъ живо, явственно.

А передъ глазами у него суслоны такъ и двигались, толкались изъ стороны въ сторону, красный мѣсяцъ словно кровью наливался и все подвигался ближе и ближе къ Кряжеву, словно готовясь лопнуть и залить міръ кровью, и высокая, бѣлая колокольня дрожала, и звѣзды дрожали надъ ней... Кряжевъ остановился и тяжело перевелъ вздохъ, ровно отъ той страшной рогожи онъ ужъ верстъ сто безъ отдыху отмахалъ. Онъ сорвалъ съ чего-то ржаной колосокъ, — и зерна посыпались на сухую землю изъ переспѣлаго колоса. Слышитъ Кряжевъ, какъ падаютъ и падаютъ зерна... „Она тамъ... теперь она тамъ—вмѣстѣ со сжатыми колосьями! Одна только радость и была у меня на свѣтѣ... и той не стало...“ смутно проносится въ его головѣ. И чувствуетъ онъ, что по щекѣ его течетъ

слеза и теплою, крупною каплей падаетъ ему на заскорузлую руку. Онъ отираетъ ее о казакинъ, идетъ и подходитъ къ своей хаткѣ.

Назарычъ скоро откликается на его зовъ и отпираетъ ему дверь.

— Э-гм! Митрій Михайлычъ! Вотъ оно...—бормочетъ воинъ спросонокъ, протирая глаза и тараща ихъ на Кряжева.— Ну... не признать тебя... Экій ты бѣлый! Ровно тебя мѣломъ вымазали...

Такъ несвязно толковалъ старикъ, идя за хозяиномъ въ избу.

Кряжевъ тяжело опустился на лавку.

— Померла?—спросилъ онъ, не поднимая головы.

— Померла!—отвѣтилъ служивый.—А ты ужъ провѣдалъ...

— Видѣлъ... А ребенокъ?—вполголоса спросилъ Дмитрій.

— Померъ!—такъ же тихо отвѣтилъ служивый.

Ни слова болѣе не было сказано объ Евгеніи въ Митюхиной хатѣ. Кряжевъ съ видимымъ усиліемъ разспрашивалъ Назарыча объ артели, о Лисинѣ, объ Аггушкѣ, о братѣ Васильѣ, о матери и о всѣхъ вообще смуринскихъ дѣлахъ и съ видимымъ же усиліемъ выслушивалъ, какъ Назарычъ пространно повѣдалъ ему обо всемъ, что зналъ.

— Ну, утро вечера мудренѣе! — замѣтилъ, наконецъ, Кряжевъ, укладываясь на лавку.

Только утра ждать было ужъ не долго. Мѣсяцъ закатился, звѣзды меркли, и заалѣлъ востокъ.

Плохо спится Кряжеву.

То ему чудится, что тишь такая настала вдругъ, что все на свѣтѣ слышно. Онъ слышитъ, какъ трава растетъ, поднимается, какъ подъ ногой его притоптанный вздыхаетъ цвѣтокъ, какъ крошится рожь на сухую землю. А вотъ и грязная рогожа, она приподнимается сама собой. Изъ-подъ нея бѣлѣетъ знакомое, мертвое лицо, и черныя пряди, какъ змѣи, вьются по шеѣ, глаза открываются съ великимъ трудомъ и смотрятъ на Дмитрія таково ласково и любовно... „Сонъ! Ужо проснусь, и все пропадетъ!“—разсуждаетъ онъ въ полузабытьи. Сонъ и дѣйствительность на мгновенье для него такъ перепутываются, что не отличить одно отъ другого...

Вотъ муха бредетъ у него по лбу. Онъ открываетъ глаза,—муха улетаетъ. Нѣтъ! Значитъ, не сонъ. Все это было—и тихая, теплая ночь, отвратительная ночь, и красный мѣсяцъ, забрызганный чьею-то кровью, и это спокойное небо, эти крупныя звѣзды, эта бѣлая колокольня, какъ мертвецъ-великанъ, и эта страшная, дырявая рогожа—все, все это *было*. Было! „Коли ужъ разъ стало, такъ не сдѣлаешь такъ, какъ будто бы этого не было!“ — ровно кто-то въ уши шепчетъ Кряжеву.

Онъ поворачивается къ стѣнѣ и какъ будто засыпаетъ. А передъ нимъ, какъ живая, стоитъ Евгенія, какъ въ тотъ послѣдній вечеръ ихъ вѣчной разлуки. „Не спи, Митя! Не спи, голубчикъ! Мнѣ тошно, тошно безъ тебя!“ — шепчутъ ея уста, а рука протягивается къ его плечу. Онъ широко раскрываетъ глаза. Голубой разсвѣтъ уже сквозитъ въ окна. Крѣпко храпитъ Назарычъ. На деревнѣ поютъ пѣтухи.

Кряжевъ опять смыкаетъ глаза,—не то спитъ, не то бодрствуетъ, а она опять тутъ, передъ нимъ... И передъ нимъ снова тѣ же картины встаютъ, и снова быль и небыль путаются и перепутываются между собой, какъ въ горячечномъ бреду.

VII.

Это бываетъ.

По утру Кряжевъ пошелъ къ Аггушкѣ, и тотъ отрывочно поразсказалъ ему про сестру. Молча слушалъ Кряжевъ. Аггушка со всею проницательностью, на какую только былъ способенъ, и съ величайшимъ вниманіемъ взглядываетъ на Кряжева изъ-подъ своихъ нахмуренныхъ, рыжихъ бровей. Его, очевидно, занималъ вопросъ: каково въ тѣ поры было на сердцѣ у Митюхи? Для Аггушки были недоступны такія теплыя, мягкія чувства, какія подозрѣвалъ онъ въ Митюхѣ. Аггушка умѣлъ только лаять, да грызться. „Какъ только люди ухитряются напущать на себя всякую дурость!“—размышлялъ онъ — и дорого бы далъ, если бы Кряжевъ могъ вывернуть передъ нимъ всю свою душу такъ, какъ вывертываютъ, примѣрно, полушубокъ. Но Митюха не могъ и не хотѣлъ вывертывать свою душу. Аггушкѣ оставалось только слѣдить за игрой Митюхиной физіономіи.

— Евгенькѣ въ житво-то не одиножды плохо приходилось,—разсказывалъ Аггушка.—Исшо бы! Не успѣла родить и на поле погнали... Въ глазахъ, вишь, у ней все темнѣло. Встрѣчалъ, такъ сказывала... Разъ, говоритъ, почудилось мнѣ, ровно солнышко вдругъ по небу покатилось... Катилось, катилось, говоритъ, да и скатилось за болото, а замѣсто него по небу, говоритъ, пошли все темные круги и все

это больше да больше, чернѣе да чернѣе... Сдуру-то, говоритъ, и серпъ уронила, выпрямилась, гляжу... Ничего, говоритъ, свѣтло, солнышко на мѣстѣ стоитъ, припекаетъ этакъ, птицы въ лѣсу поютъ... Чудно это она сказывала.

Помолчали.

— Ну! Туда ей, знать, и дорога...— отводя съ Митюхи глаза, промолвилъ Аггушка и, махнувъ рукой, принялся насвистывать.

Кряжевъ ничего болѣе не спрашивалъ о лично близкомъ для него и долго проговорилъ съ Аггушкой про то, какъ закручьевцы перебѣжали артельщикамъ дорогу и подбили московскихъ торговцевъ не покупать гвоздь.

— Не завсегда на ихней улицѣ праздникъ будетъ! Погоди, вотъ установимся...—замѣтилъ въ заключеніе Кряжевъ.

— А больно, видно, охота тебѣ шиломъ воду-то нагрѣть, а?—съ кривой усмѣшечкой отозвался Аггуха.

— Ну, ты, невѣрующій! — съ досадой пробурчалъ Кряжевъ и привздохнулъ.

———

Никто изъ смуринцевъ не пришелъ на этотъ разъ провѣдать Кряжева, хотя на другой же день все село уже знало о его возвращеніи. Даже братъ Василій не шелъ къ нему, по наущенію своей Агафьи. Василій, сходя къ своей кузницѣ, не разъ оглянулся на Митюхину хату; хотѣлось ему и брата повидать, и любопытство-то его шибко разбирало, да махнулъ рукой и спустился съ берега.

Послѣ обѣда, когда Назарычъ спалъ подъ навѣсомъ сарайчика на дворѣ, а Кряжевъ, отдохнувши, сидѣлъ у края стола и собирался уже итти въ кузницу, приземистая старушечья фигурка, въ синей пестрядиной юбкѣ и въ синемъ же крашенномъ шугаѣ, съ темнымъ платкомъ на головѣ, входила въ Митюхины сѣнцы. Правая рука ея крѣпко прижимала къ дрожащимъ губамъ кончикъ темнаго платка, глаза были красны и слезились, все ея желтое, сморщенное лицо было заплакано, было въ пятнахъ, грязно, кончикъ носа также значительно покраснѣлъ отъ слезъ. Это шла мать-старуха къ своему несчастненькому сыну. Она готовилась переступить порогъ той хатки, въ которой не бывала еще ни разу, въ которую даже ни разу не заглядывала. Она шла къ сыну, съ которымъ уже много лѣтъ не говорила ни слова, съ которымъ видалась лишь мелькомъ, случайно, и на котораго при встрѣчѣ ея глаза смотрѣли искоса и недружелюбно. Она не находила для него достаточно рѣзкихъ ругательныхъ словъ. При всякомъ удобномъ случаѣ она брюзжала про его гордыню, про его забіячество и озорство. Она всѣмъ уши прожужжала, что Митька ей не сынъ, что она отказывается отъ него, что пускай бы отъ него и Богъ отступился, негодящій онъ, непутевый.

— Экую гордость-то въ него, подумаешь, нечистый вселилъ, а?—говаривала старуха.—Ровно онъ и нивѣсть что, ровно вотъ тѣ начальство какое выискалось... Такъ на всѣхъ и шугаетъ, во все свой носъ суетъ... Онъ-ли, не онъ-ли...

Кряжевъ никого зря не шугалъ, но старуха позволяла себѣ и прилыгать, и прибавлять малость, лишь бы пуще очернить да уязвить побольнѣе чѣмъ ни попало Митюху. Ужаснѣйшимъ образомъ ругала она Евгешу, когда узнала объ ея связи съ Кряжевымъ. „Змѣинымъ отродьемъ“ обзывала она въ минуты ярости и злости ея новорожденнаго сына — своего родного внука. Нельзя также сказать, чтобы тихо и ладно жила она съ домочадцами: доставалось отъ нея порой и смиренному Васильюшкѣ, и его дѣвченочкѣ, а съ Агафьей у нихъ чуть не каждый день выходили баталіи то изъ-за помела, то изъ-за кочерги, то просто „за здорово живешь“. Неуживчивая, жесткая, сварливая была старуха. Брюзжанье и ругань не сходили съ ея тонкихъ, сухихъ губъ: казалось, довольство ни на минуту не сходило на ея безпокойную душу. Злость кипѣла въ ней и била ключомъ. Въ самомъ, повидимому, пріятномъ и веселомъ явленіи она непремѣнно находила темныя пятна и была счастлива и рада, если такихъ пятенъ набиралось побольше. Она съ горечью подсмѣивалась холоднымъ, беззвучнымъ смѣхомъ надъ всякою живою радостью живого человѣка. Дѣтскій беззаботный смѣхъ, дѣтскую беззавѣтную веселость она, казалось, считала для себя личнымъ оскорбленіемъ.

Вотъ эта-то злющая старуха, ненавидѣвшая Дмитрія и постоянно изливавшая на него свою злобу, теперь, плача и тихо всхлипывая, тащилась къ нему. Что ее вело къ этой хатѣ, на которую ей недавно было еще „наплевать“, что вело ее къ Митькѣ—къ этому шальному, удержу не знающему человѣку? Старуха знала, что Дмитрій въ острогѣ сидитъ и можетъ уйти въ каторгу и говорила; „таковскій и есть, самъ себѣ яму рылъ! Не кто его толкалъ!“ Старуха знала, что умеръ его сынъ, умерла Евгенія. И ни гугу! Старуха прослышала, что Митюха возвратился и

никто къ нему не навѣдался, даже родной братъ отъ него сторониться сталъ. Онъ несчастливъ, онъ одинъ въ горѣ оставленъ. Тутъ и самъ бѣсъ, мучившій старуху, прикусилъ языкъ. Она плакала украдкой отъ домашнихъ, но жалости своей не выдала ни словечкомъ. Ворча, по обыкновенію, и хмуря брови, обряжалась она въ то утро у печки, и лицо ея краснѣло, и краснѣли глаза, какъ бы отъ жара топившейся печи. Она такъ пнула подвернувшуюся ей подъ ноги кошку, что та рявкнула во все горло. „Балавесомъ" и „жиденкомъ" обругала она свою внучку, когда та попросила ей испечь оляпышекъ, и уже задрала, было, ей рубашенку, готовясь нахлопать ее, но остановилась, заслышавъ на дворѣ голосъ Агафьи. Со злостью очистила она печной подъ отъ уголья и золы, сердито уткнула помело въ ведро съ помоями, съ сердцемъ прихлопнула заслонкой устье и накрыла уголья. Заслонка дребезжала, чашки, горшки и кринки все дребезжало и, казалось, готово было въ то утро распасться и развалиться въ дребезги въ ея костлявыхъ пальцахъ.

Въ тѣ минуты въ старухѣ происходило небывалое: на днѣ души ея закопошилась жалость къ одинокому дѣтищу. „Каково это ему? Легкое-ли дѣло? Ахъ, Царица Небесная!.." ворочалось у нея въ головѣ. За повиданье Митюхи, за перемолвку съ нимъ двухъ-трехъ словечекъ она въ ту пору отдала бы и не знать что. И не удержали бы ее отъ этого ни разбойнички, ни волки, ни псы Кудряшевскіе, что рвутъ добрыхъ людей среди бѣлаго дня...

Отобѣдали. Агафья пошла дожинать полоску во ржаное поле, дѣвочка побѣжала съ ней, Василій поѣхалъ снопы возить. Старуха обдернула платокъ на головѣ разъ, обдернула въ другой и, схвативъ замокъ, торопливо вышла изъ избы, заперла ее и съ оглядкой, какъ тать, побрела огородами по-за плетнемъ къ Митюхиной хатѣ. Повстрѣчай ее кто-нибудь въ ту пору, спроси у нея: куда она путь держитъ? Старуха не сказала бы правды, соврала бы что ни на есть, пробрюзжала бы и пошла бы себѣ въ сторону...

Но ей никто не встрѣтился, — и вотъ она въ сѣнцахъ; отворила дверь, вошла. Дмитрій, заслышавъ шорохъ, поднимаетъ голову и видитъ: къ нему подходитъ мать. Онъ откидываетъ назадъ волосы и съ такимъ глубокимъ изумленіемъ смотритъ на старуху, какъ будто бы она къ нему съ того свѣта пришла. Не успѣлъ онъ еще ничего промолвить, какъ старуха уже навалилась на него всѣмъ своимъ тѣломъ, обняла его за шею и своею дрожащей головой крѣпко припала къ его головѣ.

— Болѣзный ты мой... Соколикъ ты ясный... Митюшка!—причитала она несвязно, все крѣпче и крѣпче обнимая его и кропя его волосы и смачивая ему щеку своими старческими слезами.—Пришла я къ тебѣ... вотъ... Сердечушко надорвалось... А ты думаешь... мать... Охо-хо-хо...

И видно было, что сердце ея разрывалось отъ горя, отъ боли поздняго, жгучаго раскаянія. Старуха всхлипывала и съ глухимъ рыданіемъ опустилась съ нимъ рядомъ на лавку, не выпуская все-таки его изъ рукъ.

— Ну, мать... чего ты ровно по мертвомъ воешь!—хмуро промолвилъ Кряжевъ и, не высвобождаясь изъ крѣпкихъ объятій, не то удивленно, не то досадливо посматривалъ на старуху.

Ему, видно, тоже приходилось жутко... Онъ чувствовалъ у себя на вискахъ, на волосахъ, на щекѣ теплыя материнскія слезы и чувствовалъ, какъ къ горлу у него что-то подступало, тяжко давило...

— Охъ, Митя! Прости ты меня, грѣшную! А тебя ужъ Богъ проститъ...—сквозь слезы бормотала старуха.—Глупая я, неразумная... Митюшка! А, Митюшка? Скажь что-нибудь!..

— Да что!—молвилъ тотъ не безъ усилія.—Сама видишь, живъ-здоровъ...

— Вижу, вижу я...—запричитала старуха.—Думаешь, ужъ совсѣмъ ослѣпла... Все вижу... Вижу, какъ тя, ровно холеры, всѣ боятся... Агашка-то... Подь-ко, говоритъ, подь-ко... грозитъ это... А тотъ и слюни распустилъ... А я... вотъ тѣ Христосъ... моченьки, моченьки моей не стало!..

— Да и пущай! Никто ихъ не тащитъ... —возразилъ Дмитрій.—А тебѣ убиваться попусту нечего...

Старуха, молча, плакала.

— Ужъ оставь ты, Митя, этотъ міръ! Что тебѣ? Грѣхъ только на душу принимаешь за него... А они, вишь, и въ сторону норовятъ, какъ только что... Объ своей головѣ всякій думаетъ...

Старуха говорила поспокойнѣе и тихо гладила сына по головѣ и по спинѣ, и мутные, покраснѣвшіе глаза ея засматривали въ его задумчивое, серьезное лицо. Не надѣялась-ли она, что ея уговоры найдутъ доступъ къ Митюхиной душѣ? Не ожидала-ли она, что Митюха на всѣ ихъ „обчественныя дѣла" рукой махнетъ?

— Нѣтъ, мать!.. Что ужъ тутъ... Сдѣлано, такъ не воротишь! Пустое это!- тихо, но твердо промолвилъ Кряжевъ.

Вѣдь не почету какого, алибо не награжденья я и дожидался отъ нихъ. Мнѣ что!..

— Да ты то подумай... — приставала мать.—Для коего ляду ты этакъ-то распинаешься за нихъ? Пущай сами вѣдаются... Ты думаешь: они чувствуютъ, наши-то? Гмъ! Э-эхъ, Митя, Митя! Пропади ты пропадомъ, имъ и горюшка мало...

Кряжевъ помалкивалъ. Видно было, что разговоръ для него непріятенъ. Невеселая улыбка отражалась на его грустномъ, осунувшемся лицѣ, какъ блѣдный, негрѣющій солнечный лучъ, скользящій изъ-за снѣжныхъ сѣрыхъ облаковъ въ мглистый, зимній день. Кряжевъ, видимо, не хотѣлъ спорить со старухой и разувѣрять ее. Затѣмъ мать принялась разспрашивать его о заключеніи, о судѣ... Дмитрій разсказывалъ ей обо всемъ ровнымъ, спокойнымъ голосомъ, словно заученную сказку сказывалъ, словно не про себя, а про кого-то другого говорилъ. Долго сидѣла у него старуха и, вѣрно, долго бы еще просидѣла, ежели бы не заглянула въ окно. Солнце уже спускалось къ землѣ, и длинныя тѣни протянулись черезъ всю улицу. Того и гляди, паужинать придутъ. Старуха поднялась и пошла.

— Ваську-то я зашлю къ тебѣ!—сказала она Дмитрію на прощанье.

— Не трожь его! Коли больно заохотится, и самъ придетъ!—замѣтилъ тотъ.

— Ну инъ ладно! А я-то побываю ужотко!

„Вотъ-то чудное дѣло!—подумалъ Кряжевъ, проводивъ глазами незванную, нежданную гостью.—Чего ей? Столько лѣтъ путнаго слова не молвила, а тутъ накось —приплелась, разрюмилась... А-ахъ, старуха, старуха! И знай себѣ свое толчетъ". Кряжеву, конечно, невдомекъ были всѣ тонкости духовнаго міра. Онъ смотрѣлъ на всѣ явленія прямо, просто, непосредственно и, конечно, ему казалось удивительно, что мать, до сей поры не любившая его, всячески костившая его на всѣхъ перекресткахъ, вдругъ—какъ бы ни съ того, ни съ сего—приходитъ къ нему, плачетъ, обнимаетъ его и добрыя слова говоритъ. „Никакъ старуха-то совсѣмъ тронулась! Притча!" размышлялъ Кряжевъ. Онъ не зналъ, что „это бываетъ"... Но мать напомнила ему о многомъ своимъ нежданнымъ приходомъ и слезами. Ему припомнилась грязная рогожа на полѣ, припомнилось ему круглое сиротство-одиночество, и не безъ тайнаго чувства ужаса сознавалъ онъ, что односельчане отшатываются отъ него, словно отъ холеры, какъ говорила мать...

А рогожа, между тѣмъ, на другой день была убрана съ поля. Пріѣзжалъ становой, докторъ съ фельдшеромъ. На полѣ же и анатомировали покойницу. Лѣвое легкое нашли переполненнымъ кровью—слишкомъ сгущенною... Трупъ свезли на погостъ, похоронили. Назарычъ самъ сдѣлалъ не очень раженькій крестъ и крѣпко, хотя немного криво, вбилъ его въ могильную насыпь.

VIII.

Начало конца.

Враги Кряжева не унимались. Они готовили ему еще напасть. Писарь толковалъ закручьевцамъ, что хотя Митька по суду и оправданъ, но общество его, какъ человѣка безпокойнаго, не однажды замѣченнаго начальствомъ, то и дѣло сидящаго подъ арестомъ за всякія дѣла, можетъ просто исключить изъ своей среды...

Прошло мѣсяца два. Митюхино поле стояло пустое; озимь на немъ не зеленѣла. Кряжевъ работалъ въ кузницѣ, въ досужее время больше сидѣлъ дома, рѣдко показывался на селѣ. Между тѣмъ, подговоры писаря сдѣлали-таки свое дѣло.

Въ одно изъ воскресеній въ концѣ сентября собрался сходъ по вопросу объ исключеніи изъ общества Дмитрія Михайлова. Передъ кабакомъ на грязной улицѣ толпился народъ,—и сказывали, что будто бы прокудовскій приказчикъ даромъ угощалъ въ то утро крестьянъ водкой, а Чирковъ будто бы для той же потребы прислалъ старшинѣ со своимъ „молодцомъ" двадцатипятирублевую. Народу собралось много, благо полевыя работы уже были закончены. Приплелся даже со своей мельницы ветхій Андрей—рѣдкій гость. И красногоркинскій учитель расхаживалъ по улицѣ. Даже Людмиленька пріѣхала въ тотъ день въ гости къ смуринской попадьѣ. Словно какъ бы нарочно, на прощанье собрались еще разъ передъ читателемъ всѣ наши смуринскіе знакомые—близкіе и дальніе.

Денекъ выпалъ сѣрый, пасмурный. Уже нѣсколько разъ начиналъ итти дождь и стихалъ. Мужики промокли и продрогли. Каждый норовилъ забраться въ питейный или присосѣдиться куда ни на есть къ самоварику. И бабы толкались по улицѣ, и дѣвки. Ребятишки, заголившись по поясъ, хлюпали по лужамъ. Много было толку, шуму и гаму. Трудно было разобрать, кто за кого стоитъ, что говорится въ пользу Кряжева или противъ него. Самъ же виновникъ этой суматохи сидѣлъ

у своей избы на приступочкѣ и покуривалъ трубку. Назарычъ не разъ уже ходилъ спровѣдывать, на чемъ порѣшилъ сходъ.

— Галдятъ,—и не разбери Боже!—говорилъ служивый, возвращаясь съ своихъ развѣдокъ.—Только Андрея мельника слышалъ, колдуна-то того...—Не дѣло, говоритъ, вы, ребята, затѣяли... Кричитъ, осерчалъ таково... А, надо быть, будетъ у нихъ сегодня баталія важная!

Наконецъ, старшина вышелъ на крыльцо правленія и гаркнулъ:

— Что жъ? Али до ночи не столкуемся? Сказывайте толкомъ! Не для баловства, чай, сходъ-то собирали... А то на голоса пойдемъ, коли ужъ такъ...

— Напрасно! Погодить бы надоть...—шепнулъ старшинѣ Прокудовъ.

— Нѣту! Ничего, посчитаемъ! — вполголоса возразилъ тотъ.

Толпа прихлынула къ крыльцу и вдругъ притихла. Болѣе трехъ четвертей голосовъ оказалось за Кряжева. Морды у закручьевцевъ вытянулись едва не на полъаршина.

— У-у, сволочь окаянная!—сквозь зубы прошипѣлъ Прокудовъ и, запахнувшись въ тулупъ, пошелъ въ правленіе.

Старшина также скрылся.

— Промоетъ вамъ дождикомъ кости-то—важно!—съ усмѣшкой говорилъ писарь толпѣ.—Ишь языки-то ужъ больно расчесались... Сказано, что человѣкъ безпокойный, у начальства на отмѣткѣ значится... Чего еще тутъ!

Сходка опять зашумѣла. И старики не запомнятъ этакой бурной и многолюдной сходки. Крестьяне то заходили въ кабакъ, то уходили домой погрѣться, то снова собирались. Пьяныхъ стало замѣтно больше. Бабы уже голосили на всю улицу, что „доколѣ же это будетъ“, что „мужики, надо быть, всю ночь пропьянствуютъ“— и ругали же онѣ своихъ муженьковъ и косоглазаго Костенкиныча, и Митьку, и писаря со старшиной за то, „для чего тѣ не пужнутъ мужиковъ“. Всякому свое горе.

— Мой-то, видѣла, какъ назюкался, а?—кричитъ одна.

— А мой-то, мой-то! глянь, кума,—на колоду валится...—взываетъ другая.

— Ну, вотъ этакъ-то лучше!—саркастически добавляетъ третья, когда пьяненькій шлепнулся черезъ колоду брюхомъ прямо въ грязь и заругался, что есть мочи.

Парнишки со смѣхомъ бѣгали по улицѣ взадъ и впередъ, задирая другъ друга и пьяныхъ, и получая за то отъ тѣхъ затрещины. Откуда-то изъ Закручья слышалась пискливая, протяжная дѣвичья пѣсня. Опять пересчитали голоса: за Митюху оказалось на этотъ разъ уже менѣе голосовъ.

— Ты, Лександра Констенкинычъ, винища-то имъ давай лакать! Пущай! Заплачу за все! Не жалься!—пыхтя, шопотомъ говорилъ Прокудовъ цѣловальнику.—Праздникъ-то не частый. Надо имъ дать, дуракамъ, покуражиться! Что съ ними подѣлаешь!

Аггушка, какъ извѣстно, никогда не ходилъ на сходки. Поэтому шибко удивились, когда завидѣли, что Аггуха идетъ по улицѣ прямо къ волостному правленію.

— Это еще что за потѣха! Гляди-ко, и этотъ выползъ! — Не на сходку-ли ужъ пожаловалъ? — переговаривались бабы, глядя вслѣдъ нелюдимому парню.

Аггушка узналъ, какъ идетъ дѣло,—и мигомъ вскарабкался на правленское крылечко. Онъ былъ въ своемъ всегдашнемъ сѣромъ азямѣ, подпоясанномъ веревкой, босой и безъ шапки. И вѣтеръ вздымалъ его косматые, рыжіе волосы.

— Такъ-то! вдругъ зарычалъ онъ.—Это вы кого исключать-то собрались, а? Митюху? Эхъ вы, дурьи, вы, дурьи головы! За что же исключать этто вы его станете, а? За то, что онъ за васъ себя не жалѣлъ? За то, что ходокомъ вашимъ завсегда былъ? За то, что онъ деньги свои кровныя вамъ же въ кассу да въ лавку положилъ? Ну! Ужъ коли исключите, такъ и впрямь, что молодцы! Плюнуть на васъ, на вислоухихъ, да растереть...

Невзрачный, непригожій Аггушка былъ хорошъ въ тѣ минуты, съ его свирѣпымъ, почти дикимъ взглядомъ, съ его всклокоченными, рыжими волосами, раздувавшимися по вѣтру, съ его жилистыми, смуглыми руками, размахивавшими надъ толпой.

— Что исшо тутъ за аблакаты! Пшелъ! Не твое здѣсь мѣсто!—рявкнулъ старшина, показываясь изъ сѣнецъ въ сопровожденіи кулаковъ.

Аггушка соскочилъ съ крыльца и пропалъ въ толпѣ. Хоть его краткая рѣчь обозлила и не однихъ закручьевцевъ, да въ прокъ пошла, отрезвила. Аггушка былъ уже не нуженъ: дѣло было сдѣлано. Ни въ одной пьяной башкѣ даже и въ помышленіи не было итти противъ міра, всѣ стояли за одно... Полуслѣпой старикъ, стоявшій все время безмолвно, опершись о крылечныя перила, прослезился и полой

своего полушубка утиралъ себѣ лицо.

Толпа иной разъ, повидимому, бываетъ глупа и неподвижна, словно не сознаетъ своей силы, не знаетъ, куда ей дѣвать ее. Но выпадаетъ такая минута, когда крикни кто-нибудь, скажи слово, и толпа двинется, пойдетъ, куда хочетъ и сдѣлаетъ все, что нужно...

— Шабашъ! Считай голоса!—провозгласилъ старшина.

Смеркалось. Дождь пошелъ сильнѣе... По счету оказалось, что сходъ высказался противъ исключенія Кряжева. Старшина ушелъ, сильно хлопнувъ дверью. Прокудовъ плюнулъ. Закручьевцы, какъ не солоно хлебавши, разошлись по домамъ. Улица опустѣла. Въ избахъ засвѣтились огни, и тамъ шла толкотня.

Лександръ Констенкинычъ за этотъ день не остался въ накладѣ и знай себѣ хихикалъ въ кулакъ, стоя за прилавкомъ. Въ кабакѣ у него много еще слонялось народу.

— И жену пропью, и тебя, Констенкинычъ, пропью... Ей-Богу, право...—бормоталъ пьяный Абрамка. — Хошь побожиться... какъ то ись передъ Богомъ... Во-о! А Митюху не пропью!.. Ни! Потому человѣкъ... И себя не пожалѣю! Хошь задери! Ну дери, дери!.. На!

— Не срамись, Абрамъ! Полно!—молвилъ цѣловальникъ.

— А за Митюху пойду... потому, не обидь! Вотъ что!..—И Абрамка съ визгомъ пристукнулъ по столу кулакомъ.— Знай нашихъ!..

— Ну-у, комедь да и полно!—говорилъ Констенкинычъ, словно любуясь на расходившагося Абрамку.—Абрамка-то, Абрамка-то, а! И-и-и, Боже мой!..

Вечеромъ поразъяснило. Въ воздухѣ посвѣжѣло, и звѣзды ярко засвѣтились тамъ и сямъ изъ-за разорвавшихся сѣдыхъ облаковъ. Кряжевъ съ Назарычемъ сидѣли на крылечкѣ. Служивый покуривалъ свою носогрѣйку съ медвѣжьей головой, а Дмитрій наигрывалъ на гармоникѣ. И чудно играла въ тотъ вечеръ въ его рукахъ гармоника—больно ужъ хорошо. Въ Закручьи допозда гулявшія дѣвушки слышали, какъ пѣла, ныла, надрывалась гармоника,—и никакъ не могли сообразить, съ горя-ли, съ радости-ли такъ разыгрался Митюха.

— Бѣсы, надо быть, его тѣшатъ!—толковали на Закручьи.

А гармоника плачетъ и смѣется, точно съ ней вмѣстѣ чье-то человѣческое сердце надрывается. Вдругъ дикій, раздирающій душу вопль проносится въ воздухѣ, что-то охнуло и смолкло. То порвалась гармоника. Она не будетъ ужъ больше играть. Кряжевъ положилъ ее рядомъ съ собой, посмотрѣлъ на вербы, качавшіяся за плетнемъ рядомъ съ его хаткой, прислушался, какъ шумитъ и посвистываетъ въ ихъ вѣтвяхъ ночной вѣтеръ и, вставъ, ушелъ въ избу. Онъ, казалось, на что-то рѣшился, простился съ чѣмъ-то.

На что онъ рѣшился въ тѣ минуты, съ чѣмъ простился онъ,—читатель увидитъ въ концѣ этой книги.

Въ тотъ же вечеръ прокудовскій приказчикъ Гаврюха приходилъ на бугоръ къ Аггушкѣ и объявилъ, что Григорій Иванычъ лишаетъ его своей милости, приказываетъ его хату раскатить на дрова, а чтобы Аггуха убирался на всѣ четыре стороны, куда знаетъ. Посланный повернулся и пошелъ, а Аггушка вслѣдъ ему крикнулъ: „ладно!“

Не вздувая огня, впотьмахъ, просидѣлъ Аггушка съ часъ на лавкѣ, о чемъ-то раздумывая. Вытащилъ онъ, было, изъ-подъ лавки топоръ, посмотрѣлъ на него пристально, долго, потрогалъ пальцемъ острее его и опять засунулъ его на прежнее мѣсто. Потомъ поглядѣлъ онъ въ окно, побарабанилъ пальцами по разбитому оконцу, началъ было что-то насвистывать—свое, чудное, нескладное. Вдругъ всталъ онъ, постоялъ середи хатки, схватился за шапку и порывисто вышелъ вонъ, словно боясь куда-то опоздать. Онъ шелъ на деревню. Въ немногихъ избахъ на Смуринѣ еще горѣлъ огонь: зато Закручье было почти все освѣщено. Тамъ горѣли свѣчи, а кое-у-кого даже свѣтились керосиновыя лампочки.

Аггушка перешелъ по камнямъ Вожицу и, оставивъ Медвѣдку за околицей, пробрался къ Прокудову на дворъ. Работница съ чѣмъ-то возилась на повитяхъ, Гаврюха уже всхрапывалъ на печи въ избѣ. Въ горницѣ, на лѣтней половинѣ, за перегородкой, сидѣла сама Прокудиха. Петюшка стоялъ передъ нею, положивъ къ ней на колѣни свою голову. Мать старательно шарила у него въ волосахъ. Григорій Ивановичъ въ одной ситцевой, розовенькой рубахѣ, съ разстегнутымъ воротомъ, стоялъ у стола лицомъ къ образу и готовился молиться на сонъ грядущій. Только никакъ онъ не могъ еще собраться съ мыслями, то-есть, не могъ счесть окончательно: сколько онъ въ тотъ день „профершпилилъ“. Онъ почесывалъ поясницу и разсѣянно посматривалъ на образъ. Маленькій огонь въ лампѣ чуть-чуть го-

рѣлъ; смутный полусвѣтъ распространялся по избѣ.

Григорій Ивановичъ уже складывалъ крестное знаменіе, какъ вдругъ за дверью кто-то заворошился, ища впотьмахъ скобку. Григорій Ивановичъ такъ и пріостановился въ ожиданіи, не успѣвъ еще осѣнить себя крестомъ. Дверь отворилась; вошелъ Аггушка. Прокудовъ быстро обернулся и очутился лицомъ къ лицу съ племянникомъ. Отъ неожиданности его даже всего передернуло. Испугомъ и злостью исказилось его лицо, губы дрогнули. Онъ хотѣлъ было тотчасъ же крикнуть Гаврюшку, но пока удержался...

— Что шапку-то не скидаешь? Не въ кабакъ зашелъ!..—тяжело дыша, заговорилъ Прокудовъ.

— Не въ томъ дѣло...—молвилъ Аггушка, по разсѣянности или нарочно еще пуще нахлобучивая на лобъ свою мѣховую, кудластую шапку.—Пришелъ я къ тебѣ счеты свести...

Тутъ на мигъ глаза дяди и племянника встрѣтились, и оба они сразу поняли, что ненависть ихъ другъ къ другу велика, зашла уже далеко и отступить имъ трудно. Григорій Ивановичъ, не поворачиваясь, протянулъ руку къ стѣнѣ и сорвалъ съ нее нагайку, но пустить ее въ дѣло поколебался.

— Какіе такіе счеты? Нѣтъ у насъ съ тобой счетовъ!—дрогнувшимъ голосомъ проворчалъ Прокудовъ, высокомѣрно задирая голову и сжимая въ рукѣ нагайку.

— А вотъ какіе счеты... старые!—ровно по пальцамъ заотсчитывалъ Аггушка.—Не одиножды ты меня парнишкой до полусмерти стегалъ. Я на тебя всю жизнь работалъ, а ты... Ты меня на міру чортомъ завсегда представлялъ, хуже исшо... Отцомъ попрекалъ; не слыхалъ я отъ тебя путнаго слова. Ты сестру издовелъ, ребенка ейнаго съ голоду поморили... Ты съ теткой-то изъ меня не человѣка, собаку сдѣлалъ... Бери теперь свою баню, обирай и землю, все... Вотъ и пришелъ я для того... чтобы, значитъ, за все-про все разсчетъ съ тебя получить...

Нагайка свистнула, но мимо. Аггушка наклонился и, какъ кошка, прыгнулъ на Прокудова. Одна рука его впилась, какъ клещъ, въ жирное плечо Григорія Ивановича, а другая вцѣпилась ему въ бороду. И Аггушка, ровно ополоумѣвъ съ ярости, изо всей моченьки задергалъ эту холенную, почтенную бороду. Прокудовъ ревѣлъ и весь корчился отъ боли, а голова его такъ и покачивалась на плечахъ изъ стороны въ сторону. Наконецъ, дернувъ еще разъ за бороду и выхвативъ изъ нея порядочный клокъ волосъ, Аггушка оттолкнулъ Прокудова...

— А ну тя... до грѣха!—прошепталъ онъ, запыхавшись.

Прокудовъ повалился на лавку. Лицо его страшно побагровѣло. Онъ задыхался. Отъ половины своихъ богатствъ отказался бы Григорій Ивановичъ, чтобы видѣть въ ту минуту Аггушку мертвымъ у своихъ ногъ и порвать ему волосья и потоптать его ногами...

— Ножъ, ножъ подайте мнѣ! Ножъ!—вопилъ онъ, въ безсиліи сжимая кулаки и неистово стуча объ полъ ногами.—Зарѣжу... Зарѣжу...

Крупный потъ выступилъ у него на лицѣ. Никогда еще, кажется, отъ роду не испытывалъ Прокудовъ такой жестокой встряски, такого униженія. Столько лѣтъ почета, уваженія—и вотъ... Прокудовъ съ ужасающею ясностью созналъ все безсиліе своихъ деньжищъ.

Онъ оглянулъ комнату. Аггушки уже не было. Тутъ Прокудовъ далъ полную волю своему бѣшенству: онъ брякнулся головой объ столъ и заскрипѣлъ зубами. Слезы душили его...

Его хозяйка причитала за перегородкой, думая, что и ей послѣдній часъ приспѣлъ. Она, вѣдь, тоже не забыла, какъ мучила Аггушку, какъ мучила его сестру... Петюшка, забившись съ испугу въ уголъ, оралъ благимъ матомъ, заслышавъ, какъ отецъ страшнымъ голосомъ запросилъ ножъ и стращалъ кого-то зарѣзать.

IX.

Аггушка стружитъ спички.

На другой день поутру, Григорій Прокудовъ отправился въ правленіе и принесъ старшинѣ жалобу, а писарю что-то ужъ слишкомъ долго, чувствительно жалъ руку. Туда же вскорѣ на зовъ старшины собрались и старики. Посудили-порядили и стали на томъ, что Аггушку за озорство и за разбойные его поступки съ дядей, его благодѣтелемъ, призвать въ воскресенье въ расправу и наказать двадцатью-пятью ударами розогъ. Тутъ же десятскому былъ и приказъ отданъ: представить въ воскресенье Аггушку на сходъ.

Кряжевъ, узнавъ поутру про Аггушкино нашествіе, отправился къ нему на бугоръ. За нѣсколько шаговъ отъ хи-

какъ водится, съ радостнымъ лаемъ повстрѣчалъ его Медвѣдко и, помахивая своимъ взъерошеннымъ хвостомъ, проводилъ его къ хозяину.

— На что тебѣ экое мѣсто спичекъ-то?—спросилъ Дмитрій, усаживаясь на лавку.

— На что! Извѣстно, пригодятся...— отвѣчалъ Аггушка, стругая спичку за спичкой, беря ихъ кучей въ горсть и обмакивая ихъ въ разведенную въ черепкѣ сѣру. Бабье лѣто, слышь, кончилось... Темное времячко подошло... Вотъ и засвѣтимъ!..

— Такъ! А для чего такую кутерьму-то затѣялъ?—немного погодя, заговорилъ Кряжевъ.—Съ чего на Гришку-то вечоръ полѣзъ, а?

— Было съ чего! Даромъ и чирей не сядетъ...—проворчалъ нехотя Аггушка.

— И на сходкѣ опять тоже... Э-эхъ, Аггуха!—продолжалъ Дмитрій.—А, вѣдь, я, братъ, и самъ здѣсь не останусь, пойду... Бѣлый-то свѣтъ, чай, не клиномъ сошелся! Свѣтъ—штука не малая...

— Такъ-то такъ... да какъ кому... Иному и во всемъ-то свѣтѣ мѣста, какъ будто, не хватаетъ...—возразилъ Аггушка.

— Это ты насчетъ себя?

— Да и насчетъ себя, и тебя...

И пошло время своимъ чередомъ.

Кряжевъ работалъ въ кузницѣ. На гумнахъ по утрамъ молотила стучали. Въ полѣ бабы ленъ стлали. Аггушкина хатка еще не была раскачена, и стояла она на бугрѣ, ровно дожидаясь только своего смертнаго часа.

Прошла и пятница. Наступила ночь— ночь угрюмая, осенняя, безъ мѣсяца, безъ звѣздъ. Темныя облака сплошь задергивали небо. Тихо было на Смуринѣ, только вѣтеръ гулялъ кругомъ него по полю, по перелѣскамъ. Смуринцы уже залегли на покой. Огни вездѣ были погашены...

Григорій Ивановичъ, укладываясь спать и потягиваясь на своей мягкой перинѣ, купленной имъ задешево въ одной изъ барскихъ усадебъ, простуканной съ аукціона, уже представлялъ себѣ, какъ ужо зареветъ Аггушка, какъ онъ поклонится въ ноги ему, Прокудову, и запроситъ у него прощенія. Пріятная и лестная то была картина для его игриваго воображенія! Засыпаетъ Прокудовъ, а Аггушка все реветъ и реветъ — ахъ, славно! а прутья такъ и свищутъ, потрескиваютъ— ахъ, прекрасно!..

— Горитъ! Пожаръ! — слышится Прокудову спросонокъ.

И, дѣйствительно, гдѣ-то близко, что-то глухо шумитъ и потрескиваетъ... Григорій Ивановичъ, нехотя, лѣниво открываетъ глаза, а зловѣщее, красное зарево такъ и пышетъ во всѣ окна...

— О, Господи! Ужъ не близко ли гдѣ! Смородомъ такъ и несетъ... Эй, вставай скорѣе! Бѣжи!—бормочетъ Прокудовъ, толкая жену, и, накинувъ тулупъ, распахиваетъ дверь.

Его обдаетъ дымомъ, жаромъ... Сквозь дымъ кое-гдѣ мелькаютъ огоньки. Внизу, на дворѣ, огонь уже шибко гуляетъ и трещитъ на славу. Мгновеніе Прокудовъ не знаетъ, что дѣлать: бѣжать-ли въ избу за сундукомъ, въ горницу-ли, или выскочить на улицу народъ скликать.

— Согрѣшили!—кричитъ его приказчикъ, проносясь мимо него на улицу чуть-чуть не нагишомъ.

Прокудовъ бросился за нимъ.

На колокольнѣ сонный сторожъ изо всей моченьки уже трезвонилъ въ набатъ. Смуринцы—кто съ чѣмъ, а больше все съ пустыми руками — бѣжали въ Закручье... Головни и искры разлетались по темному небу, густой дымъ валилъ клубами, изъ него прорывался огонь и, поднимаясь все выше и выше длинными языками, такъ, казалось, и лизалъ низко нависшія надъ землей облака. Нѣсколько потревоженныхъ со сна бѣлыхъ голубей носилось въ дыму пожара, то высоко взвиваясь вверхъ и едва лишь бѣлѣя въ темнотѣ, то быстро опускаясь внизъ надъ самымъ почти огнемъ... Ночное небо надъ Смуринымъ краснѣло, багровѣло все пуще и пуще. Вся задняя сторона прокудовскаго двора пылала. Вожица въ своихъ озаренныхъ пламенемъ берегахъ текла, казалось, какими-то огненными струями. На улицѣ шла давка и толкотня. Съ трудомъ выгоняли коровъ, лошадей, свиней, овецъ. Все это дико мычало, ржало, блеяло и хрюкало. Куры, какъ сумасшедшія, метались на стѣны, на изгородь; пѣтухъ завалился въ колодецъ.

Прокудиха съ растрепанными волосами, въ одной рубахѣ, бѣгала кругомъ дома съ образомъ въ рукахъ и съ какимъ-то продраннымъ рѣшетомъ подъ мышкой. Григорій Ивановичъ, споткнувшись, свалился въ грязь и въ безсильномъ страхѣ и отчаяніи рвалъ на себѣ волосы, теребилъ себя за виски. Онъ уже измаялся, бѣгая безъ толку взадъ и впередъ...

— Помогите! Охъ, помогите, православные! Спасите... голубчики! Въ жисть не забуду! Охъ, охъ!—взывалъ онъ къ толпѣ.

— Всяко, братъ, случится: и богатый

къ бѣдному постучится! — внушительно замѣтилъ кто-то въ толпѣ, глядя на ползавшаго по землѣ Прокудова.

Нѣсколько смуринцевъ взобрались на крышу и рубили постройки. Другіе раскатывали баграми горѣвшія стропила и балки. Третьи, какъ могли, заливали огонь. Вѣтеръ, ровно бѣшеный, рвался туда и сюда, то метнетъ на деревню и обсыплетъ деревню искрами и головнями, то заворотится вдругъ на поле и почнетъ-почнетъ чесать.

Къ утру отъ прокудовскаго двора остались только пять бревешекъ, груды уголья да выжженное мѣсто. Самый же домъ кое-какъ отстояли, только одна стѣна пообгорѣла маленько, да крыльцо разломали.

— Ну-у, дешево отдѣлался Гришка! Будь-ко вѣтеръ-то на домъ, только бы и видали...—разсуждали поутру смуринцы, смотря на пепелище, по которому кое-гдѣ еще валялись головешки, и вился сѣрый дымокъ.

Прокудиха, сгорбившись, почти весь слѣдующій день бродила съ палкой по пожарищу и, словно бы что-то отыскивая, тыкала палкой въ выжженную землю и разгребала уголья.

— —

Кряжевъ не спалъ всю ночь, почти до свѣту проработавъ на пожарѣ, спасая съ прочими село. Когда пожаръ сталъ стихать, въ толпѣ послышались толки о поджогѣ, и имя Аггушки при этомъ упоминалось часто. Кудряшевъ говорилъ, что Аггушка у него въ лавкѣ надняхъ покупалъ сѣру, и когда его жена спросила у Аггушки: для чего ему столько сѣры?—такъ онъ сказалъ, что Медвѣдко у него боленъ, и онъ хочетъ сѣрой полѣчить его. Кудряшевъ въ ту пору на это вниманія не обратилъ. Одна баба видѣла, какъ вечеромъ передъ пожаромъ Аггуха шелъ вдоль Вожицы отъ своей избы, но куда онъ затѣмъ прошелъ—на Закручье или на Смурино,—не видала...

Кряжевъ на разсвѣтѣ пошелъ на бугоръ. Аггушка по многому былъ ему близокъ и дорогъ. Отъ толковъ, прошедшихъ по толпѣ, больно защемило ему сердце. Странно, что Аггухи не было на пожарѣ! Да вѣдь, впрочемъ, онъ съ Прокудовымъ во враждѣ. Онъ могъ и такъ, просто, не притти. Можетъ, сердце его еще не уходилось!.. Съ такими мыслями Дмитрій вышелъ въ поле. По полю на ту пору разгуливалъ холодный передутреній вѣтеръ. Поблекшая трава грустно желтѣла по сторонамъ. Вербы глухо шумѣли. Унылый, тусклый полусвѣтъ лежалъ на всемъ...

Первое, что поразило Кряжева, былъ трупъ Медвѣдки, попавшійся ему шагахъ въ трехъ отъ Аггушкиной хатки. Медвѣдко, очевидно, умеръ насильственною смертью. На шеѣ у него еще болтался обрывокъ веревки. Кряжевъ посмотрѣлъ на его мутные, застывшіе глаза, на его бѣлые, оскаленные зубы—и слегка тронулъ его ногой въ бокъ Медвѣдко не ворохнулся. Кряжевъ сорвалъ съ него веревку,—Медвѣдко не вздохнулъ... Недоброе въ этомъ почудилось Кряжеву. „Что за притча?—промелькнуло у него въ головѣ.—Кто его удавилъ? Не самъ же Аггушка? Вѣдь онъ любилъ Медвѣдка, самъ же часто говорилъ, что его только Медвѣдко одинъ любитъ и не оставитъ его ни за что!..“

Дверь хатки оказалась припертою снаружи коломъ. Кряжевъ отдернулъ колъ, распахнулъ дверь и вошелъ...

Хатка пуста. На подоконцѣ на синей сахарной бумагѣ разсыпаны для сушки муравьиныя яйца; у печки на варевкѣ висятъ связки какой-то сухой травы съ желтенькими цвѣточками. Нѣсколько длинныхъ, неуклюжихъ сѣрныхъ спичекъ валяется по полу... А хозяина и слѣдъ простылъ. „Не натворилъ-ли ужъ онъ что ни на есть надъ собой? Станется! Отчаянная головушка!..“ помыслилъ Кряжевъ и, еще разъ оглядѣвшись по сторонамъ, пошелъ вонъ. Заглянулъ, было, онъ на вышку, но и тамъ пусто... Сквозь щели вѣтеръ подуваетъ да подъ самой крышей двѣ-три бѣличьи шкурки висятъ на шестѣ. Только Кряжевъ очень хорошо замѣтилъ, что въ хаткѣ не оставалось ни ружья, ни топора. Эти два предмета скрылись...

Теперь—ясное дѣло! Аггушка поджогъ прокудовскій дворъ и пустился въ бѣга.

Приперши попрежнему дверь коломъ, Кряжевъ быстро зашагалъ по направленію къ Борковскому лѣсу. „Такъ это онъ самъ, значитъ, и Медвѣдку-то придушилъ!—раздумывалъ Кряжевъ.—Собака отъ него никогда не отставала и не отстала бы, покуда жива... Онъ, значитъ, боялся, что Медвѣдко лаемъ могъ бы выдать его, помѣшать... Т-а-акъ!“ Кряжевъ тихо шелъ по лѣсу, съ оглядочкой и чутко прислушивался. Таинственный, скрадывающійся шорохъ расходился кругомъ. Дятелъ гдѣ-то долбилъ дерево. Въ дикой сосновой чащѣ проухалъ сычъ. Простонала иволга. Змѣя заползала въ кустъ. Все подмѣчалъ зоркій глазъ и слухъ человѣка, привыкшаго къ лѣсной пустынѣ, къ жизни трущобной.

Выйдя на маленькую прогалину, Кряжевъ тотчасъ подмѣтилъ въ одной сторонѣ ея у сломанной ели небольшое, слегка вытоптанное мѣстечко съ помятою травой. Сухія осочины, очевидно, прилегшія къ землѣ подъ давленіемъ какой-то тяжести, не успѣли еще выправиться. Подойдя къ ели и ворохнувъ ногой груду сухихъ прошлогоднихъ листьевъ, Кряжевъ подъ ними нашелъ выжженное мѣстечко и нѣсколько разбросанныхъ мелконькихъ угольковъ. Вѣроятно, Аггушка здѣсь былъ недавно и зачѣмъ нибудь разводилъ огонь.

Долго пробродилъ Кряжевъ по лѣсу, возвратился домой уже въ сумерки, опечаленный, угрюмый, и никому не говорилъ про свои поиски, про то, что онъ видѣлъ и встрѣтилъ въ лѣсу. Эта — впрочемъ, простая — тайна осталась навсегда при немъ.

Объ Аггушкѣ же съ той поры не было ни слуху, ни духу.

X.

Послѣдняя дума.

Съ виду Кряжевъ противъ прежняго не перемѣнился, только развѣ на гармоникѣ не игралъ, пѣсенъ не пѣлъ, сталъ неразговорчивѣе, посдержаннѣе на слово, поскупѣе на откровенность, да въ будни и въ праздники ходилъ все въ одномъ и томъ же старомъ полушубкѣ съ заплатами. Попрежнему, работалъ онъ въ кузницѣ, домолачивалъ съ Назарычемъ послѣдній хлѣбъ, ходилъ по воскресеньямъ въ кассу,—хотя изъ правленія уже выписался давно, навѣдывался въ лавку къ Горѣлому, въ досужее время толковалъ со смуринцами про артельныя дѣла. Все казалось бы попрежнему. А если въ душу заглянуть, такъ у него тамъ за послѣднее время много *не попрежнему* стало. Какая-то дотолѣ невѣдомая ему истома напала на него, не отчаяніе, а холодное, полное равнодушіе—близкое, впрочемъ, къ отчаянію,—равнодушіе ко всему тому, что онъ прежде думалъ, чувствовалъ и дѣлалъ. Затрещи, напримѣръ, надъ нимъ потолокъ, задрожи земля у него подъ ногами, вались на него бревно, лейся огненная лава,—онъ и шагу бы не ступилъ въ сторону, чтобы спастись отъ опасности. Онъ словно усталъ, намаялся отъ непосильной работушки. Молотъ отяжелѣлъ въ его рукѣ, рука не попрежнему бойко ходила, ѣда иной день на умъ не шла. Спина и бокъ начинали побаливать. Особенно же мучили его безсонныя ночи и страшныя грезы во время сна. Только просыпаясь, онъ никогда не могъ припомнить свои сны. Они были нелѣпы, ужасны, безобразны. Кряжевъ почти вовсе не смѣялся; смѣхъ просто претилъ ему. И не было въ его думахъ и рѣчахъ прежняго жара и задора.

Дѣло въ томъ, что съ каждымъ новымъ переживаемымъ днемъ Кряжевъ все яснѣе и яснѣе начиналъ понимать смыслъ и значеніе тѣхъ невеселыхъ картинъ, что давнымъ-давно уже стояли передъ его глазами.

Онъ явственно, живо увидалъ—ну, просто, могъ руками ощупать, что въ ту пору, какъ онъ со смуринцами изъ кишекъ выбивался перетянуть у закручьевцевъ полушку, тѣ вытягивали у нихъ, шутя и балагуря, по цѣлковичкамъ. Смуринцы, примѣрно, шагъ шагнутъ, а закручьевцы махнутъ на версту впередъ ихъ.

„Не угоняешься! Не перетянешь!“ пробѣгало у него въ головѣ.

А картины вотъ въ какомъ родѣ вставали передъ нимъ...

Общественная лавка не могла тягаться съ закручьевскими магазинами, чуть-ли не торговавшими даже птичьимъ молокомъ.

Артель попала въ руки Ильи Петровича Лисина. Ужъ извѣстно, что худо овцамъ, гдѣ волкъ воевода. А Лисинъ былъ еще волкъ-то не простой, въ овечьей шкурѣ да съ лисьими ухватками. Значитъ, самое послѣднее дѣло.

А касса... Много ждали отъ этой кассы, да мало дождались. За послѣднее время и кулаки перестали враждовать съ кассой, даже сами въ нее записывались. Они находятъ за себя поручителей, сколько угодно,—и берутъ изъ кассы денежки для своихъ оборотовъ, когда нѣтъ дома свободныхъ капиталовъ, а платить большіе проценты не охота. А для неимущихъ, для бѣдняковъ, то-есть для тѣхъ, кому деньги-то и нужны преимущественно, касса скупа... Вонъ Василій Кряжевъ ужъ которое воскресенье теряетъ, все ходитъ сердечный въ кассу за деньгами. Не выдаютъ да и шабашъ! Онъ, видите, уже долженъ 20 рублей 55 копеекъ. А до смерти ему нужно бы еще рубликовъ 15 до Михайлова дня. Вонъ Лизавета, хозяйка Абрамкина ,бабане пьющая, работящая, безъ мужа кое-какъ справляющая свое крохотное хозяйство,—тоже сколько времени ужъ проситъ 10 рублей. Не даютъ! Ставь поручителей! А кто за Лизутку поручится? Только смѣхъ одинъ. А сынку Безпалова въ позапрошлое воскресенье 50 руб-

лей до слова выдали (на покупку скота понадобилось), а въ прошлое собраніе Захару Ведровскому 75 рубликовъ отвалили... За что—про что, когда завѣдомо Захаръ самъ отдаетъ деньги подъ большіе проценты?

Вотъ и все, что подѣлали смуринцы для себя. Потуги были, а не родилось ничего... Такъ себѣ,—по воздуху руками помахали...

Теперь нужно посмотрѣть съ другой стороны,—что успѣли за это время кулаки натворить. Кулаки успѣли много...

Антонъ Кудряшевъ уже вездѣ, по всѣмъ трактамъ, по всѣмъ улочкамъ и закоулочкамъ, понасовалъ своихъ кабаковъ, понатыкалъ своихъ елочекъ. Теперь ужъ окончательно весь уѣздъ черешинскій у него въ рукахъ. Прокудовъ собирается уже другую лавку открывать и устраиваетъ крупяной заводъ и солодовню. Кузьма Ивановичъ Чирковъ землю скупаетъ, хутора строитъ, собакъ заводитъ, „молодцовъ" принанимаетъ и все новыя да новыя распашки дѣлаетъ. Теперь у него закуплено уже до 20 тысячъ десятинъ. Да относительно покупки земли и другіе прочіе не отстаютъ отъ него. И много было такихъ... Большинство помѣщичьей земли въ уѣздѣ—въ ихъ рукахъ.

Ни одному барину, можетъ быть, и въ голову не приходило того, о чемъ вслухъ толкуютъ кулаки. Ихъ мечты—по истинѣ — величественны, ихъ замыслы — обширны, планы чудовищны...

Закручьевская молодежь тѣмъ временемъ веселилась, тѣшиться изволила. Молодцы спаивали смуринскихъ дѣвокъ и бабъ, ленточками да платками сманивали ихъ на развратъ. И рыбка шла, клевала обрывокъ червячка и попадалась... И старики правду говорятъ, что нынѣ въ смуринской сторонѣ пошло такое распутство, какого они не запомнятъ, какого даже при барахъ не бывало. Отцы обираютъ, а сынки на тѣ же деньги любовницъ себѣ покупаютъ. Такъ и выходитъ, что смуринцы сами даютъ имъ деньги на покупку своихъ же женъ, сестеръ и дочерей. Вонъ самъ чортъ, надо быть, надоумилъ Антошку Кудряшева взять да и устроить въ своемъ домѣ при питейномъ заднее помѣщеніе — нарочно для женщинъ. Охотницы, конечно, нашлись. Заходили къ Кудряшеву съ задняго крылечка бабы и дѣвки, заньянствовали, а что съ ними—съ пьяненькими—закручьевскіе молодцы тамъ продѣлывали,—и сказать нельзя... Антошку проклинаютъ на Смуринѣ. А ему—ничего: деньга идетъ своимъ законнымъ порядкомъ.

Помѣщики, какъ извѣстно, посократились. Они стали ужъ не господа, а просто, „дворяне—поджареные таракане", какъ говорятъ кулаки. Усадьбы либо пустыя стоятъ, догниваютъ, либо обитаетъ въ нихъ какой-нибудь анахронизмъ, нѣчто среднее между полоумнымъ и Іовомъ многострадальнымъ.

Помѣщики помоложе, побойчѣе, а слѣдовательно—поподвижнѣе, разомъ смекнули, откуда и куда дуетъ вѣтеръ,—и приноровились къ общему теченію дѣлъ. Они поѣхали на однихъ полозьяхъ съ кулаками. Благо имъ!

Помѣщикъ Бирюлькинъ, напримѣръ, проживавшій отъ Смурина верстахъ въ трехъ, преспокойно открылъ лавочку въ нижнемъ этажѣ своего барскаго дома и дѣйствуетъ нынѣ такъ мило, что просто посмотрѣть стоитъ,—не уступитъ въ надувательствѣ ни Прокудову, ни Кудряшеву, только поменьше божится и построже покрикиваетъ на мужичье. Разница между его обращеніемъ съ покупателями и обращеніемъ прочихъ торговцевъ именно и заключается лишь въ томъ, что онъ держитъ голову высоко; передъ покупателями не забѣгаетъ, не позволяетъ съ собой фамильярничать и сто на сто беретъ, какъ должное. Лавочникъ за лишній пятиалтынный передъ покупателемъ согнется въ три погибели и двери настежь растворитъ такъ, что даже стекла задребезжатъ. А баринъ-торговецъ за тотъ же пятиалтынный только головой кивнетъ покупателю... А во всемъ прочемъ господинъ Бирюлькинъ такъ же, какъ Прокудовъ и Кудряшевъ, то-есть лупитъ съ покупателей не на животъ, а на смерть. Порохъ, напримѣръ, стоящій 40 коп. фунтъ, у него продается по 65 к. четверть фунта. И все такъ... Фунтъ постнаго масла какимъ-то чудеснымъ образомъ уходитъ у него въ небольшой чайный стакашекъ. Совсѣмъ какъ фокусникъ... Отпуская товаръ на чистыя деньги, Бирюлькинъ—по его собственному признанію—беретъ полтину на рубль, а отпуская на счетъ, получаетъ рубль на рубль.

И всѣ бары такъ... Кто лавочку, кто магазинъ, кто погребокъ въ городѣ открылъ, кто винокуренный, кто пивоваренный, кто сахароваренный или иной какой-нибудь заводъ устроилъ. Иные завели дѣло побарски, на широкую ногу, вели его неумѣючи, безъ расчету, и вылетѣли зато въ трубу. Другіе же, получая сто на сто, блаженствовали. И между кресть-

янами въ смуринской сторонѣ за послѣднее время завелся обычай: нацарапать рубликовъ до 500 и лѣзть въ купцы. И торговцевъ поэтому развелось видимо-невидимо...

Вотъ какія картины вставали повседневно, повсюдно передъ глазами Кряжева.

Артель устроилась, есть и лавка своя, и касса. Ужо опять школа откроется. Добрая барыня при помощи земства хочетъ на Смуринѣ больницу заводить, можетъ быть и заведетъ. Явится фельдшеръ съ аптечкой—одинъ фельдшеръ на 16 тысячъ слишкомъ душъ. Начнетъ фельдшеръ оспу прививать, направо и налѣво раздавать касторовое масло, мяту и иноземцевскія капли. А тѣхъ, кто въ „нехорошей болѣзни“ гніетъ, кто на колѣняхъ ползаетъ, тѣхъ фельдшеру не вылѣчить. Гдѣ же тутъ лѣчить, если изъ 100 ребятъ 50 родится зараженныхъ „нехорошею болѣзнью“!..

А закручьевцы не робѣютъ, не зѣваютъ и дѣло свое дѣлаютъ ловко...

„Одной кассой, лавкой, алибо артелью тутъ горю не помочь! Бери выше, хватай глубже!“ — созналъ, наконецъ, Кряжевъ, въ безсиліи опуская руки передъ тѣмъ адомъ кромѣшнымъ, который разверзался кругомъ него со всѣхъ сторонъ. И чувствовалъ Кряжевъ, что антихристовой или какой-нибудь другою страшною печатью запечатана его родная сторонка. Воздуху, кажется, вольнаго много, солнышко свѣтитъ днемъ, ночью выступаетъ мѣсяцъ и звѣзды, мѣста много, просторъ; лѣса, рѣки—раздолье... А людямъ жить тѣсно, душно. Кто наложилъ эту печать, и какъ снять ее? того Кряжевъ не зналъ. Объ этомъ не сказывали ему ни люди, ни книги... И въ будущемъ, какъ Кряжевъ ни усиливался разглядѣть его, не видѣлъ ничего иного.

А между тѣмъ здѣсь—именно здѣсь—онъ ухлопалъ себя, по крайней мѣрѣ, лучшія силы свои. Онъ увидалъ, что онъ, какъ слѣпой, бродилъ по пряслу,—и ему стало не въ моготу. Легко-ли сидѣть у изголовья близкаго, дорогого мертвеца, смотрѣть на него и мучиться, вспоминая о томъ времени, какъ онъ жилъ, былъ силенъ, и не видѣть возможности воскресить его. А Кряжевъ, между тѣмъ, принужденъ былъ оставаться постоянно съ глазу на глазъ съ мертвецомъ,—и этимъ мертвецомъ онъ былъ для себя самъ, онъ—прежній, молодой, могучій. И потянуло его со Смурина, захотѣлось ему уйти куда-нибудь или въ степи дальнія, за „большую рѣку“, или въ Питеръ, только бы подальше, только бы *все это* съ глазъ долой. Сталъ онъ помышлять объ этомъ все чаще и чаще—и днемъ, и темной ноченькой. Наконецъ, онъ рѣшился уйти. Необходимаго знанія у него не было; онъ считалъ себя безполезнымъ. И жизнь, и смерть его, казалось ему, ровно ничего не могутъ принести. Конечно, онъ остался бы и не пожалѣлъ бы себя, если бы зналъ, что изъ того выйдетъ прокъ...

Помѣхи ему, разумѣется, не было ни откуда. Только уходи, пожалуйста! Сдѣлай милость! Живой рукой ему выдали паспортъ. „Скатертью дорога!“ про себя напутствовалъ его Лисинъ. Закручье тоже повеселѣло...

Кряжевъ предложилъ Назарычу жить въ его хаткѣ и просилъ высылать ему въ срокъ паспортъ... Наконецъ, день насталъ,—Кряжеву пришлось сказать „послѣднее прости“.

— А на могилки-то нѣшто не сходишь?—спросилъ его служивый, подразумѣвая могилы его отца, Евгеши и ея ребенка.

— Что могилки! Развѣ травушкѣ поклониться? Никто, вѣдь, тамъ не отгаркнется мнѣ!—пасмурно замѣтилъ Кряжевъ.

Попрощался онъ съ матерью, съ братомъ, съ Назарычемъ (съ міромъ онъ простился еще наканунѣ), перекинулъ на спину хотули, взялъ въ руки свою дорожную палку и пошелъ, оставивъ за собой лишь порванную гармонику, висѣвшую въ пыли и паутинѣ...

Осенній денекъ выпалъ сѣренькій, хмурый. Легкая изморозь стояла въ воздухѣ. Сырой, холодный вѣтеръ подувалъ Кряжеву въ лицо. И вдругъ съ чего-то припомнился ему вечеръ того зимняго дня, когда онъ бродилъ разъ по берегу Вожицы, какъ тихо и бѣло было кругомъ него и какія хорошія, свѣтлыя надежды роились въ ту пору въ его бодрой и сильной душѣ. Тогда Дмитрій былъ молодъ, теперь онъ постарѣлъ,—жизнь постарила его прежде времени. Укатали, знать, бурку крутыя горки... Пройдя съ полверсты, Кряжевъ пріостановился на мгновеніе наверху бугра и, опершись на палку, еще разъ глянулъ оттуда назадъ, внизъ, на разстилавшуюся передъ нимъ печальную сторонку. Вѣтеръ со стономъ проносился надъ равниной, и похоронно шумѣли голыя деревья своими поникнувшими вѣтвями. Вдали чернѣли смуринскія хаты, чернѣли лѣпившіяся по берегу кузницы. „Все такъ же, какъ и прежде,

коли не хуже!..“ подумалъ Кряжевъ. Хатки тѣ же и такъ же валятся онѣ на сторону, тѣ же растрепанныя соломенныя крыши, та же грязная, неприглядная улица; та же тощая скотинка шляется по задворкамъ и гложетъ травку съ землей. Вонъ и дядя Панфилъ такой же оборванный, одерганный, въ старыхъ лаптишкахъ, стоитъ у своей избы на приступочкѣ. Вонъ баушка Акимиха такая же несчастненькая, жалкая, надсажается у колодца надъ неподатливой бадьей. Ребятишки такіе же грязные, чумазые, мѣсятъ по улицѣ грязь за одно съ поросятами... Э-эхъ!

И страшная, скорбная мысль осѣнила Кряжева. Она уже давно слагалась у него въ головѣ, но теперь лишь впервые предстала ему во всей своей ужасающей наготѣ. „Ни лѣшаго не сдѣлано!“ помыслилъ Кряжевъ. „А я-то... э-эхъ!.. да развѣ въ корытѣ море переплывешь!..“

И чѣмъ долѣе, чѣмъ пристальнѣе Кряжевъ всматривался въ Смурино, тѣмъ горше, больнѣе становилось у него на душѣ. Словно, вдругъ темная, черная ноченька застигла его,—и было не видать той ноченькѣ конца. Тутъ впервые въ жизни слеза прошибла Кряжева... Сквозь слезы, какъ сквозь сѣдой туманъ, еще разъ мелькнуло ему родное, бѣдное Смурино и низко нависшія надъ нимъ темныя облака.

Кряжевъ отворотился, смахнулъ слезу рукавомъ своей сермяги и побрелъ по дорогѣ къ лѣсу, тяжело опираясь на посохъ.

Кряжевъ прошелъ въ городъ.

Въ городѣ, на базарѣ, говорятъ, его видѣлъ кто-то изъ Ведровскихъ. Куда онъ пропалъ оттуда? сказать не могу...

129000/
11ЗЗ

PG 3470 .Z34 K5 1906 C.1
Khronika sela Smurina :
Stanford University Libraries
3 6105 039 585 190

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRAI
STANFORD, CALIFORNIA 9430: